

КОНТИНЕНТ 3

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ



«Я вернусь еще раз в эти горы — набираться сил, учиться Сопротивлению, познавать себя, искать ответа на вопрос: «Кто еси?»

Валентин Мороз

Главный редактор: Владимир Максимов
Ответственный секретарь: Игорь Голомшток

Редакционная коллегия:

Раймон Арон · Джордж Бейли · Сол Беллоу
Александр Галич · Ежи Гедройц
Густав Герлинг-Грудзинский
Милован Джилас · Вольф Зидлер
Эжен Ионеско · Артур Кестлер
Роберт Конквест · Наум Коржавин
Виктор Некрасов · Людек Пахман
Андрей Сахаров · Игнацио Силоне
Андрей Синявский · Странник
Иозеф Чапский · Зинаида Шаховская
Александр Шмеман · Карл-Густав Штрём



КОНТИНЕНТ

**Литературный, общественно-политический
и религиозный журнал**

3

**Издательство «Континент»
1975**

«НАСЕДКА»

Повесть

I. Линия поведения

Парадоксально, но факт: я жаждал этого допроса, я стремился, как на любовное свидание. Со мной творилось что-то невообразимое. Малейшее движение за дверью, любой шорох — и я готов, лечу на выход, замираю, вот-вот завизжу. Но никого нет и я возвращаюсь, понуро, поджав хвост, и жду минут пятнадцать-двадцать, и снова мчусь, все сначала.

Я сходил с ума; просто поразительно, как это никому в камере не приходило в голову взять меня в конце концов за глотку, урезонить: сиди, без тебя тошно. Им было не до меня, все ждали, чем кончится эта несчастная история. Только двое, две пары глаз — мне казалось, они наблюдают за мной неотступно, за каждым моим шагом: наш патриарх Максим Максимыч, и он — Борька. Тоже, вероятно, моя фантазия; скорее всего. Они плюнули, забыли о моем существовании, ибо им двоим предстояло расхлебывать кашу, в первую очередь.

Я безумствовал — меня не вызывали к следователю, несмотря даже на мою записку. Я передал

«Наседка» — тюремный провокатор.

ее еще утром, просился на допрос, набивался, — никакого впечатления. Меня знать не хотели. Был семнадцатый день моего следствия.

Воображаю, после этого, что вы можете обо мне подумать. Ваши словечки, выражения: «ничтожество», «дерьмо», «подонок» — я нисколько не сомневаюсь. Хочу только предупредить вас: вы не побывали в моей шкуре.

Представьте на секунду: вы попадаете с корабля на бал. Вас везут в тюрьму прямехонько после городского актива. Вас взяли тепленьким, вы не успели с женой попрощаться, белье сменить, — машина поджидала вас у подъезда. Вас подхватывают под обе руки два товарища. Они ведут вас, усаживают в машину, везут на Лукьяновку, в тюрьму. Ситуация, согласитесь, не из легких. Сколько бы вы ни долбили себе: недоразумение, ошибка, день-два подержат и выпустят. Все равно, кошки скребут.

Утверждают, будто в тридцать седьмом году все тряслись, поголовно, все ждали, чуть не у каждого сухари под подушкой. Поверьте, все это — основательно раздуто; я, по крайней мере, ничего похожего не испытывал. Скажу больше — это была пора моего расцвета, восхождения моего на Олимп. Судите сами: я заканчивал свою кандидатскую, у меня завязывалась замечательная тема по Институту, я был на виду, меня выдвигали, Обком, Министерство. Кроме того — семья, у нас как раз появился сын. Я дышал, в общем, полной грудью.

Не отрицаю, я знал — помаленечку подчищают, берут. Но в этом тоже не было ничего такого, из ряда вон. За плечами у меня было, как-никак,

без малого двадцать лет партстажа, все мы научились понимать кое-что с полуслова, — партийные указания, директивы — мы схватывали с намека. Потому что в наше Великое Время, надо прямо сказать, натыкаешься сплошь и рядом, попадаешь — противоречия всякие, переплеты — тебе начинают мерещиться тупики, ты теряешь почву под ногами. А жизнь — она не ждет, она требует. Тогда-то и приходит на выручку это магическое слово: директива. Директива Партии и Правительства! У нас директива! Установка! Установочка! С тебя сваливается груз, тебе не надо мучиться, думать, легко становится жить — вам не надо объяснять, вы сталкивались сотни раз. Давайте вспомним тридцатый год, хотя бы коллективизация, — я места себе не находил. Почему вдруг «сплошная»? Куда девался ленинский кооперативный план? Принцип добровольности? Проценты! Как можно в таком деле — проценты? В голову лезла всякая дребедень — потемкинские деревни, крепостное право, чушь какая-то. Другой пример из той же оперы: ликвидация кулака как класса — еще чище. Само по себе слово — ликвидация! Какими методами? Что означает «под корень»? Середняк, как быть с середняком? Жены, дети, наконец — куда девать семьи? Какие-то ни с того ни с сего сентиментальности. Спрашивается, с такими вот настроениями, как, интересно, будете вы план выполнять, хлеб выколачивать, колхозы строить, попробуйте! Нет уж, вытряхните вон из головы все эти «почему» да «как», — у вас директива, действуйте!

К слову сказать — на этом как раз и сломал себе шею Борька Ткач. По любому поводу — углуб-

латься, все перещупать своими руками. Мне никак не удавалось ему внушить: существует ЦК, наш генеральный штаб, мы всего-навсего исполнители, солдаты, ты должен усвоить. Кроме того: политика, пойми ты, это тебе не агрохимия — все взвешивать на аптекарских весах. Он слышать не хотел: «Перестраховщики! Приспособленцы!» Всегда напролом; всех на ноги, вплоть до ЦК партии. С истерикой, со скандалом. А толку? В тридцать пятом году, когда выяснилось, что Борька расстрелян еще по Кировскому делу, стало понятно: человек сползал по наклонной плоскости с самого начала; конечно, доля нашей вины, никуда не денешься. Нянчились мы с ним, носились, не додумались: вовремя остановить, отсечь, если на то пошло...

Я, однако, отклонился, мне хотелось только подчеркнуть: в тридцать седьмом году, когда начались кривотолки всякие, паника — я не очень поддавался. Товарищи, говорил я, подождите каркать, потерпите, будет установка, все станет на место. Действительно, после процессов у всех глаза открылись. Если уж такие головы, как Зиновьев, Каменев, Бухарин, маршалы наши — Тухачевский, Блюхер — если эти переметнулись, не устояли, что же удивляться: какой-нибудь Хохлов, директор ВНИИМСХа, тот же Борька Ткач! Короче говоря, в обморок падать по поводу всего этого я не собирался, а если уж говорить начистоту, я старался не прислушиваться, у меня хватало дела у себя, в Институте.

Так или иначе, в эту ночь, возвращаясь домой, я был застигнут врасплох. Кто мог думать, что вот так, на улице, возле твоего дома, подойдут двое, возьмут тебя за руки... Что угодно, только не это,

не меня... Уже в машине, втиснутый между ними, я все еще не отдавал себе отчета: что, собственно, произошло? Я еще как следует не понимал. В голове у меня бродили всевозможные ошметки из доклада секретаря Обкома, выступления ораторов, разговоры всякие в кулуарах, слухи, перемещения, — желудок продолжал перемалывать. Один из провожатых в машине вдруг осведомился: «Партбилет? При себе?». До меня, наконец, дошло, я заметался, как пойманная муха.

Партия никогда не была для меня кормушкой, можете быть уверены. Никогда во мне не преобладали чисто личные интересы. И в эти критические минуты все как-то отодвинулось, отошло на задний план: моя диссертация, мой Институт, мое положение — меньше всего. Даже, представьте, семья, сын! Одна-единственная идея — она сковала меня по рукам и ногам: линия поведения! Что же дальше, спрашивал я себя. Была у тебя жизнь, были устои. Все годы, с тех пор как ты себя помнишь: комсомол, партия. Теперь что же: ты сам по себе, партия сама по себе? Через какие-нибудь минуты, ты не успеешь опомниться, тебя поместят в тюремную камеру. Дни и ночи вместе, заодно с ними... В одной компании, за общим столом, с врагами народа... Как оно будет выглядеть? Поворот на сто восемьдесят градусов? Я обливался холодным потом.

Было ясно одно: никаких контактов! Что бы там ни было — никаких разговоров, любезностей, ничего, словом, общего, один как перст! Есть у тебя партбилет, нет партбилета — дела не меняет. Твое партийное лицо — превыше всего!

Лихорадочно, по крупицам выискивал я в себе то, что называлось моей большевистской выдержкой. Надо было собраться в комок, подготовиться к прыжку, — мы подъезжали к воротам Лукьяновской тюрьмы. Тут случилось нечто, спутавшее мои карты и — на какой-то момент — выбившее меня из занятой позиции. Это нечто оказалось призраком, выходцем с того света, привидением.

Вы, однако, не верите ни в каких покойников, леших и тому подобную чертовщину.

II. Призрак

Не уверен, задавались ли вы когда-либо понастоящему такого рода вопросом: тюрьма, ее судьбы — после победы социализма? Про себя скажу: мне как-то в голову не приходило. Читал, конечно, всякую всячину, штудировал: марксистская теория права, детская болезнь левизны... Слышал — трудколони, Соловки — весьма туманно, так, взгляд и нечто, отживающие категории. Во всяком случае, в такой конкретной, осязаемой постановке: тюрьма при социализме — я не задумывался.

Вполне естественно поэтому, — первая моя реакция была чересчур панической, я не был подготовлен. Камера 264: деревянные настилы, два штабеля трупов, откуда-то запах хлорки... Я отшатнулся, ухватился за косяк: мне показалось — морг! Само собою — известная доля воображения, потом-то я притерся, привык, но — первое впечатление... Я стал у порога, не смея шелохнуться. Я не увидел, скорее догадался: камера просыпается. Трупы зашевелились, десятки голых черепов обо-

рачивались в мою сторону, впивались в меня. Я стоял, как перед судом, мял в руках шляпу, как вор, пойманный с поличным. Неизвестно, как долго продержался бы мой столбняк, если бы не сущий пустяк, случайность: мои ручные часы.

Излишне пояснять вам: ни при каких обстоятельствах я не стал бы посягать на тюремные порядки, подвергать их какому бы то ни было сомнению. Это вытекало органически из самой сути моих партийных позиций: наша, советская тюрьма — какие могут быть выпады? Мы обязаны поддерживать решительно всё! Тем более — такая пустяковина: ручные часы! Почему-то, как ни странно, оно возмущало больше всего другого — именно часы! Ножи, вилки, бритвы, режущий, в общем, инструмент, еще можно согласиться, отбирайте! Пояски, ремешки всякие, подтяжки — шут с вами, берите, хотя, если здраво рассуждать, повеситься можно и на полотенце, на собственной рубашке. И ухитряются, вешаются... Но часы, помилуйте, зачем отбирать часы? «Грабеж, разбой на большой дороге»! Чепуха, конечно, несусветная чепуха! Тюрьма есть тюрьма! Арестант, заключенный, при часах... вы можете себе представить?

Яснее ясного, мне никогда в жизни не пришлось бы на ум — припрятать, утаить, это произошло помимо моей воли, по недосмотру охраны. Трудно было предположить, что оно вызовет такую сенсацию в камере. Я слышал громкий шепот:

— Чума, гляди, кто пришел?

— Чума, а Чума! Будильник! Хи-хи...

— Дывись, Чума...

Я машинально поднял к глазу левую руку, приложил к уху: тик-тик-тик-тик...

Первым моим побуждением было: кинуться к дверям, поднять тревогу, сдать эти паршивые часы, избавиться. Однако — слишком поздно. На меня накатывалось коротконогое чудовище, обрубок какой-то, страшилище, действительно Чума — он подползал, как хищник, с разинутой пастью, у него, по-моему, даже слюна стекала. Я не заметил, откуда взялись остальные, меня окружили. Чума держал на весу мою руку, он еще ничего не делал, только скулил от восторга. Остальные облепили меня, как муравьи, начали рыскать, щупать. За мной замкнулся круг, я был отрезан от мира, перенесен в другой век, к неандертальцам. Куда меня сунули?

И тут, должен сознаться, я оказался не на высоте. Я готов был ринуться, завопить: куда хотите, с кем угодно, с врагами народа, с диверсантами, двурушниками, только бы человеческие лица, не эти хари. Минута падения, иначе я расцелить не мог. Потом-то я спохватился, взял себя в руки, и когда Чума, наконец, потный, вонючий, прилип ко мне, почти обнял, и стал слюнявить мой кулак, срывая часы, я толкнул его в грудь. Он зашатался, кто-то позади вцепился в меня, стал валить на пол.

— А ну, хлопцы! — Я не видел, кто произнес, я еще не думал ни о каких привидениях, но у меня ёкнуло сердце. — А ну, ребята, полегше!

Я рванул, мне хотелось обернуться, взглянуть, но меня держали, крутили мне руки. Я услышал:

— Нехорошо же, Чума... Свой брат, арестант!

Он подошел, взял мою руку, на которой болтались часы. Я успел разглядеть: стриженная голо-

ва, гимнастерка навывпуск. Он оттащил меня, повел в противоположную, правую сторону камеры. Я попытался взглянуть ему в лицо, но он в эту минуту отступил, пропуская меня и, следуя позади, шепнул:

— Социально-близкие... Лучше не связываться.

Этот голос! Наваждение какое-то... Мы остановились у края нар. Здесь было посветлее, лампочка была у нас над самой головой. Тут, кстати, я впервые увидел Максим Максимыча, мне бросилась в глаза его грива, одна на всю камеру, — его почему-то не остригли. Он подвинулся и сказал:

— В тесноте, да не в обиде. Милости просим.

Он сидел на нарах, поджав ноги, совсем крошка, просто ребенок, — потом я догадался: все дело в сорочке. На нем была ночная рубаша, он в ней помещался весь, с коленками, она, видно, была ему до пят. Мне показалось невероятным: в тюрьме — ночная сорочка; я, признаться, впервые в жизни наткнулся: мужчина — в ночной рубаше.

Он еще потеснился и прибавил весело:

— Не смущайтесь! НКВД перевыполняет план. Борис, — обратился он к моему покровителю, — помоги товарищу.

Ошеломленный, я застыл не в состоянии двинуться с места. Борька! Точнее — Борькины глаза на чужом, скуластом лице. Никогда у Бориса не было таких обтянутых скул, и нос был помельче, и не было этих тараканьих усиков! Он уставился на меня своими глазищами, они стали вдвое шире, — он, кажется, был ошарашен не меньше моего. Однако — он не подал виду.

— И ты, Брут? — сказал он развязно, скороговоркой.

Борька Ткач, его повадки! Но позвольте... В тридцать пятом году, после убийства Кирова, Борис Ткач был расстрелян — тоже факт! Нам сообщил во всеуслышание секретарь Горкома, я хорошо помню. Зачитывалось секретное письмо ЦК, секретарь Горкома приводил примеры, называл имена. Борис Ткач, агент иностранной разведки. Я глядел на него во все глаза, он стоял с протянутой рукой, говорил:

— Лапу, что ли...

Я не в силах был шевельнуть пальцем. Миллион догадок, одна другой нелепей: побег, подкуп, летаргический сон... Я ведь слышал сам, своими ушами! Не кто-нибудь, секретарь Горкома партии, на пленуме! Он сказал: приговор приведен в исполнение.

Я стоял как изваяние. Борис все еще протягивал мне руку, я не смел поднять на него глаза.

— Понятно, — произнес он, наконец. — Bravo-браво... Узнаю почерк, как же! Гррранит! Сто процентов!

Он исчез, оставив меня в глупейшем положении.

Что говорить, эта встреча перевернула во мне все вверх дном. В голову полезли самые бредовые идеи. А что, размышлял я, если не только Борька, если все, о н и ? Живут себе, в ус не дуют. И никакой там высшей меры. И не пахнет! Просто так, условность, трюк с воспитательной целью. Пройдет какой-нибудь год-два, и все они вернутся как ни в чем не бывало. На свои места. Вот ведь Борька, жив оказывается! Вспоминать будут и посмеи-

ваться, все вместе, включая Вышинского. Над нами же смеяться будут: разыграли вас, дурачье эдакое, а вы и поверили. Чему, главное, поверили? Братоубийство, физическое уничтожение, товарищей своих, учителей своих, соратников Ленина, коммунаров, героев Октября. Как вы могли? Принять за чистую монету, мириться. Я распалился настолько, что готов был тут же, не рассуждая, кинуться к Борьке, растормошить его, броситься на шею. Как-никак, мы с ним отгрохали, нога в ногу, добрый кусок жизни. Откровенно говоря, я и тогда не мог себе представить: Борька Ткач — агент разведки...

Конечно же, к утру мои ночные фантазии развеялись, как дым. Я проснулся с твердым намерением: объясниться с Борькой, теперь же, не откладывая в долгий ящик. Поставить все на место без всяких-яких. Было — да сплыло. Нас разделило время, мы, по сути, не знаем теперь друг друга. Три года! И нет смысла делать какие-то попытки, реставрировать, — все равно, прошлого не вернуть.

Борис, должно быть, что-то заподозрил, разгадал мои планы, когда под утро, еще до поверки, подошел меня будить. Я не спал.

— Вставай, проклятьем заклейменный, — весело протрубил он мне в ухо, но, взглянув мне в глаза, осекся. — Ого, — сказал он с деланной беззаботностью, — мы, кажется, в форме...

Он отошел прочь. Тут разыгралась снова история с этими дурацкими моими часами — второй акт комедии.

Камера выстраивалась на утреннюю поверку. Я потянулся тоже, без всякого энтузиазма, вы

представляете себе. До чего же это богомерзкое зрелище — арестанты в строю! Обшарпанные, несчастные, особенно утром, после ночи. Стоило, однако, показаться мне, как все в миг преобразилось, они вдруг озверели — стадо дикарей! Я не сразу сообразил, что это может иметь какое-то отношение ко мне; потом вспомнил с ужасом: мои часы! Я успел уже позабыть об их существовании.

Меня пустили по рядам, из рук в руки, затискивали куда-то на задворки, подальше от глаз начальства, которое вот-вот должно было появиться. Они обращались со мной, как с марионеткой, меня рвали на куски, и я как-то поддался, я не смел. Тщетно ловил я взгляд Бориса — он отвернулся и не глядел в мою сторону. Волнение, наконец, улеглось, в дверях появился надзиратель, меня заслонили от него плотной стеной.

Не знаю сам, как я решился, это сделалось само по себе, по наитию. Я растолкал людей и, вырвавшись вперед, очутился в переднем ряду, рядом с Борисом. Он сделал попытку меня прикрыть, шепнув мне на ухо: «Не сходи с ума... раньше времени!» — я отстранил его и с неожиданным упрямством выставил напоказ свои часы, демонстративно. Через минуту надзиратель был уже рядом со мной. Меня щупали, пошлепывали, шарили по карманам, залезали в рукава, приговаривая: лезвия! иголки! перочинные ножи... Потом меня вытолкали за дверь.

В камеру я возвращался как после выигранного сражения. «Нет худа без добра!» Эти грошовые часики, они сыграли свою роль, они явились в какой-то мере прелюдией. Я убедился наглядно, до чего легко в этих условиях свихнуться, поте-

рять голову. Мне показалось: не ночь, месяцы уже я варюсь в этом котле. Я входил в свою 264-ую, готовый ко всему. «Самое правильное, — подбадривал я себя, — сразу! точки над и...»

Все же, войдя в камеру, я содрогнулся, прижал уши. Содом и Гоморра! Все разворочено, перемешано, пыль столбом, все рыщут, мечутся, узлы, сундучки, как после пожара. Я пробирался незаметно, прикрываемый Борисом, — он выследил меня у дверей.

— Ничего особенного, — сказал он. — Шмон! Твоими молитвами...

Кто-то все же заметил нас, громко сплюнул в мою сторону: — Ку-урва!

— Ноль внимания, — прошептал Борис, подталкивая меня вперед. Он присел рядом со мной на пустующей постели Максим Максимыча. Тот носился по камере, распоряжался, командовал, можно было подумать — он-то и поднял всю суматоху. Впоследствии я понял — это он старается ради меня, выгораживает меня, отвлекает внимание.

— Ничего не скажешь, — произнес Борька, с любопытством разглядывая меня. — Великолепный старт...

Я промолчал, и он прибавил: — Что ты хотел доказать? Ставка на лояльность? Насколько я понимаю в медицине...

Я продолжал упорно хранить молчание. Он явно затевал объяснение, но у меня уж пропала охота, я считал, что все прояснилось само по себе. Не дождавшись ответа, он сказал:

— Им твоя лояльность... — он похабно выругался. — Не тот профиль, понял? Им нужны стукачи, в чистом виде. У тебя шансы...

Я не выдержал: — Кому, «им»? «Они», «им»... С каких это пор?

Мне показалось, я попал в точку. Борька вдруг завертелся, хотя и сделал вид, будто реплика моя ужасно его развеселила. Он хватался за голову, ерошил, ерошил, как если бы на ней была копна волос.

— И вообще, — сказал я, — откуда ты, собственно, взялся?

Он скорчил гримасу и, соскочив с нар, вытянул руки по швам:

— Разрешите доложить! З/к Ткач, Борис Степаныч! Девятьсот пятого года рождения! КРТЗД! Срок пять лет! Начало срока — май 1935 года! Конец срока...

Его тон показался мне отвратительным. Никогда прежде я не замечал в нем никакого кривлянья, фиглярства. Кроме того, мне казалось более чем странным: каким образом, все-таки, попал он, почему вдруг здесь, именно со мной, в одной камере? И вообще его история сплошная загадка... Как раз тогда, в первое же утро, впервые закрался в мою душу этот червь сомнения...

— Что, не нравится? — сказал Борька. Он как-то ухитрился проникать в мои сокровенные мысли. — Стреляный воробей, будьте уверочки. К чертям собачьим! У меня новая специальность! Прошу прощения, ассенизатор! Шестьсот грамм, без дураков! Ты что смотришь?..

Я действительно вылупил на него глаза, во мне что-то дрогнуло, растаяло. Борька Ткач, гор-

дось Тимирязевской академии, будущее светило. У меня ком подкатил к горлу.

— Борис, — начал я и запнулся.

— Душечка! — воскликнул Борька, соскальзывая с нар. Я шарахнулся от неожиданности. — Душканчик, — повторил он, протягивая обе руки.

Я оглянулся. К нам приближался этот Максим Максимыч, мой сосед по нарам. Он шел не спеша, подтанцовывая, не такой уж малютка, как это показалось мне ночью. Он был шикарно одет: тройка, даже жилет, даже подобие бабочки, каким-то образом он пристроил ее у воротника. Его грива распустилась и выглядела особенно вызывающей. Вообще, весь его облик, что-то в нем было ликующее, такое впечатление — человек просто в восторге от этих нар, от Чумы, от проверок и шмона, он что-то нашел для себя, здесь, в Лукьяновской тюрьме.

— Ну-тес, молодые люди, — сказал он, присаживаясь, тщательно подвернув при этом край одеяла, — надеюсь, нашли общий язык?

Он взглянул на меня с насмешкой, — глаза у него были веселые, а лицо дряблое, в морщинах, усталое.

— Главное, Борис, без горячки, — продолжал он, внимательно ко мне присматриваясь. Мне стало неловко. — Дай человеку опомниться. Процесс адаптации, учти...

— Дуракам счастье, — сказал Борька и, не оборачиваясь в мою сторону, спросил: — такое соседство... ты способен оценить? Ты хоть встань, покажись!

Он подтолкнул меня к Максим Максимычу и, сделав церемонный жест в его сторону, провозгласил:

— Имею честь... Юдин, Максим Максимыч! Из породы социал-предателей. Плеханов, Мартов и прочие эпигоны. Желтый интернационал, нас с тобой учили. На данном этапе — староста камеры... Сила! Рекомендую не портить отношения.

Я готов был провалиться сквозь землю. Борька измывался надо мной, надо было дать сдачи, но вид этого опрятного старика сковывал меня, обезоруживал как-то.

— Взгляните на этого младенца, — сказал Борька, обращаясь к Максим Максимычу. — Не завидую... Из категории трудновоспитуемых...

III. Лицом к лицу

Мое боевое крещение — первый допрос — состоялся на третьи сутки после ареста. Я получил таким образом возможность прохождения предварительного курса обучения в тюремной камере. В течение первых двух дней своего арестантского стажа я насмотрелся и наслушался. Не то, чтобы ко мне особенно приставали с разговорами, распинались бы, — наоборот, походило скорее на то, что все кругом до смерти напуганы, играют в прятки и в общем стараются держать язык на замке. Речь идет, конечно, о пятьдесят восьмой, — Чума со своей командой, те в ус не дули. Они оккупировали левую половину камеры и устроили там настоящую барахолку: день и ночь возня, дележка, менка, гаданья какие-то, игры, — как сыр в масле.

Правая же сторона — сплошь пятьдесят восьмая статья — жила особой жизнью, зашифрованной и таинственной. С первого взгляда было видно: какая-то шахматная игра, замысловатая, с фокусами и уловками, с болельщиками, советчиками и тренерами, стговор какой-то, — я не сразу сообразил, кто противник.

Душой всей этой смуты был, по-видимому, Громов, Борода, он занимал на нарах место рядом с Максим Максимычем, по другую его сторону.

Я с одной стороны, Громов — с другой. Он задавал в камере тон, хотя ex-officio главенствовал Максим Максимыч, каким-то непостижимым образом ставший старостой камеры. Фактически парадом командовал Громов, иначе и быть не могло, достаточно было взглянуть на него, на рыжую бороду, на шрам вдоль левого виска, — вожак от рождения. Вся камера знала про Громова: герой гражданской войны, командир запаса. К тому же, он был всех старше по тюремному стажу; следствие у него тянулось уже больше года, он сменял трех следователей, в одного запустил чернильницей, он плевал на всех и на всё, в том числе и на карцер. Конечно, он был вне конкуренции: Борода — на правом крыле, Чума — на левом.

В камере Громов знал наперечет всех до одного: когда, откуда, по какой статье, однодельцы — всю подноготную. Он забирался во все щели, обсасывал детали с каждым в отдельности, вырабатывал планы, вопросы, ответы, очные ставки, ходы, контрходы, подвохи всякие — настоящие тактические учения, — я ничего в них не смыслил. Какая-то война с саламандрами. Само собою, кухня эта не могла вызвать во мне ничего, кроме от-

вращения. Что за альянс такой? С каких позиций? И кто они, в конце концов, эти следователи? Людоеды? Не наши, советские, люди?

В меня Громов впился, как клещ. Сразу, в первый же день, — он питал особую страсть к новичкам. Фронтовик? Голосовал? Исключался? Что слышно «там», на воле? Закрытые письма, пленумы? Перемены в руководстве? Кого посадили? Он делал пометки, производил подсчеты, у него был огрызок карандаша и замусоленная тетрадка — своя тайная канцелярия. Какие-то у него были свои гороскопы, он заявил мне, например, что к концу года число арестованных по городу, с учетом ноябрьского набора, перевалит за десять тысяч. Что пикантнее всего — прогнозы эти, судя по всему, его как-то вдохновляли: чем хуже, тем лучше. У него была своя концепция, он проповедовал ее громогласно: в НКВД засели фашисты, во главе с железным наркомом; у них задание — истребление партийных кадров, в первую очередь старых большевиков; уже добираются до верхушки, членов Политбюро. Сталин не знает, к нему никого не допускают, на пушечный выстрел. Командует всем Ежов, их человек, гитлеровец. Разоблачить эту шайку, сорвать маски! Прорваться к Ворошилову, лично...

— Главное, братцы, — настаивал он, — не поддаваться! Бить будут, жечь, ребра ломать — ни звука! По-большевицки!

Он называл сроки, когда что: Ежова долой, чрезвычайный съезд партии, амнистия, чистка, полная перетасовка карт — он приходил в неопи-суемый восторг.

— Ну, Каутский, — гремел он, хватая медвежьими лапами Максим Максимыча и поджимая его, как соломинку, — всё смехуёчками... Думаешь — амба? Вре-о-шь! Мы еще покажем кузькину мать! Еще тебя в партию принимать будем! Поручительство дам! Что, не веришь?

Судите как хотите: клоун, шут гороховый — мне было не до шуток. Ибо дело было, в конечном счете, не в Громе и не в Максим Максимыче, — тот действительно посмеивался и, кажется, наслаждался, — ужас был в другом: кругом были люди, они называли себя коммунистами. Они в рот ему глядели, слушали, как апостола, подпевали. Члены партии! Пусть припомнят, что они пели там, на собраниях? Клялись, руки поднимали? Теперь, оказывается, всё под откос? «Клевета! Липа!» Убийство Кирова, выходит, липа? Шпионаж, диверсии — липа? Промпартия, троцкизм, все подряд! Какая, в этом случае, цена вашей партийности, коммунизму вашему?

Как ни странно, с Борькой они как-то не спелись, я это почувствовал в первый же день. Какая-то между ними кошка пробежала. Борька называл Громова не иначе, как Гапон, ничего лучшего он не мог придумать. «Что, Гапон, воюем?», «Как там, Гапоша, насчет Ежова? На обе лопатки?» Он, возможно, ничего не вкладывал, просто шпилечки, а все же: Гапон, какая-то двусмысленность... Меня удивлял Громов, он не реагировал, и вообще, вопреки буйному нраву своему, держал себя с Борисом более чем сдержанно, уступал дорогу. Борька, наоборот, не упускал случая. Он, в частности, воспользовался моим появлением в камере. Присев ко мне на нары, он начал безо всякого повода,

громко, чтобы Громову слышно было: он хотел бы меня предупредить, у нас тут водятся пастыри всякие, пророки. Он не имеет ничего против, кое у кого потребность командовать, пускай, командуйте на здоровье! Зачем же вводить в заблуждение, создавать иллюзии? Ежов, видите ли, продался! Заговоры против ЦК! Пробиваться к Ворошилову, к Сталину. На что это похоже? Гапон. Не хватает только выйти на Красную площадь, с хоругвями, с портретами вождей. Громов мечтает.

Громов пропустил мимо, притворился, будто и не слышит. Вечером он меня все же перехватил, затащил к себе. Его интересует Ткач, все-таки, что за фрукт? Скользкий какой-то, язык без костей. Он, Громов, предпочитает не иметь дела. И мне рекомендует, подальше.

Меня корбило, оба они были мне одинаково чужды, что тот, что другой. Я все больше убеждался: надо быть начеку.

Особенно потряс меня разговор Громова с Максим Максимычем, в эту же ночь. Я старался не вникать, тем более, что сама по себе тема разговора показалась мне несостоящей, пустяшной. Максим Максимыч, в своей ночной рубаше, восседал на нарах, похожий на большую куклу. Громов ворочался с боку на бок, ему не спалось, он был чем-то возбужден, возможно — после Борькиного наскока. Он стал придирается к Максим Максимычу: эта его дурацкая ночная «распашонка», в тюрьме-то! И бабочка на шее! И полотенце за обедом! Салфетка, видите ли... ему все снятся рестораны!

— Фокусы твои, — пилил он Максим Максимыча, — консерватизм твой... твой меньшевизм! Вьелся в тебя!

Максим Максимыч отшучивался, я не стал слушать, обычное пустозвонство. Вдруг я насторожился, мне послышалось — «Ленин»! Это произнес Максим Максимыч.

— Эмигрантские привычки, — говорил он, — традиции... Ленин, между прочим, не отвергал... Ленин уважал традиции...

Наступила длительная пауза. Потом Громов произнес с мрачным пафосом: «Ленин!»

Он вскочил, сел и молча уставился на Максим Максимыча.

— Жил бы Ленин, — прибавил он, — а?

Я заволновался, Максим Максимыч сдержанно молчал.

— Всё по-другому, — выпалил Громов с внезапным восторгом.

— Весьма возможно, — неопределенно сказал Максим Максимыч.

Громов набычился, склонил голову, — ему, видно, не понравился тон Максим Максимыча.

— Никогда! — угрожающе прорычал он.

Максим Максимыч промолчал, потом начал с осторожностью.

— А вы не могли бы себе представить, — он остановился в нерешительности, — Владимира Ильича здесь, среди нас... Ну, скажем, в отдельной камере, с комфортом...

Громов не дал ему закончить.

— Бреешь! — прохрипел он, у него даже заклокотало в горле, — ты все-таки лиса! Старый лис! Я вижу тебя... насквозь!

— Что вы, дорогой! — Максим Максимыч положил ему руку на плечо, Громов смахнул ее.

— Не доби́ли вас, чертей, — выдавил он, — оставили, себе на шею...

— Ну, вот видите, — Максим Максимыч развел руками, без тени обиды.

Он придвинулся к Громову, вглядывался в него, с какой-то даже влюбленностью. — «Не доби́ли», повторил он с неподдельным восхищением.

— Дудки, — упрямо воскликнул Громов, отодвигаясь, — шестая часть планеты!

Он задыхался. Максим Максимыч примирительно сказал:

— Кто же спорит? Победа социализма, я согласен. И насчет того, что не доби́ли... Спор идет о другом, старый, по сути, спор.

Он пустился в пространные рассуждения. Важно договориться о какой-то последовательности, что ли, об элементарной логике. Были, вот, меньшевики, во время оно, — меньшевиков к ногтю! Это он, Громов, усвоил. Какие могут быть разговоры? Эсеры — к ногтю тоже! Во имя социализма! Вредители, так называемые, кулаки, середняки — на Соловки, в Сибирь, к комарам. Нормально. Революция требует жертв... И вдруг, пожалуйста: караул! Насилие! Что случилось? Задели, оказывается, Громова, дошла очередь... Просто поражаешься, до чего люди забывчивы, каких-нибудь двадцать лет всего-навсего! Ну, что особенного, подумаешь! Сто тысяч Громовых, есть о чем говорить. Вы же сами, Ленин, государство и революция, надо же, товарищи, придерживаться.

Я не все улавливал, но было ясно — ересь от начала до конца. Я поражался Громову, как он терпит кощунство это. Имя Ленина здесь, в тюремной камере! Максим Максимыч закончил:

— Следует отдать справедливость — великий был выдумщик, слукавил... Вы, дескать, мерзавцы этакие, прихвостни буржасные, двум богам сразу — социализм плюс демократия. А мы — расчленим! Сначала социализм, потом демократия! Обойдем, с черного хода... И обошел. Вот мы с вами, дорогой мой, и встретились в камере 264...

Громов наконец очнулся.

— Тут тебе и место, — прошипел он, — больше нигде!

Максим Максимыч опешил, он, видимо, не ждал. Придя в себя, он растерянно сказал:

— Хорошо, я — еще можно понять! Но прочие все? Товарищ Громов, к примеру? Чистокровной породы...

— НКВД, — отрезал Громов, — сверху до низу... Сталин доберется! Дай сроку...

Он снова обрушился на Максим Максимыча.

— Все вы, я знаю, ненавидите его! Бельмо на глазу! Повторение дела Кирова, вы жаждете! Не дождетесь!

Он дергался, дрожал от негодования, изрыгал ругательства, угрозы, рычал, не находя слов. Максим Максимыч покачивался, в тон ему, он уступал, казалось, поле боя, и я посчитал уже диалог исчерпанным. Дождавшись, однако, когда Громов поостыл, Максим Максимыч разразился новой тирадой, без всякого, правда, подъема. Громов, заявил он, ломится в открытые двери. Как социал-демократ он, Максим Максимыч, никогда не склонен был акцентировать роль личности. Сталин, другой ли на его месте, — не в этом суть. Наоборот, надо отдать должное, Сталин выполнил свою миссию, довел до логического конца. Его называ-

ют продолжателем. Пожалуй — слишком тенденциозно... Исполнитель, прораб — вот что такое Сталин. Принимайте объекты: промышленность, группа А, группа Б, совхозы, колхозы. Досрочно, сверх плана! Плюс тюрьмы, сорок сороков лагерей. Не обижайтесь, согласно проекта...

Я онемел от ужаса. До меня не совсем дошел смысл заключительной фразы Громова.

— С корнем надо было! — рявкнул он, — всех вас до последнего!

Максим Максимыч хохотнул.

— Конечно, Ленин, — произнес он задумчиво, — ничего не скажешь. При нем все это выглядело бы куда талантливей...

...Эти тюремные разговоры ввергали меня в трепет, мне не следовало бы слушать, надо было заткнуть уши, отгородиться китайской стеной. Я потом терзался, проклинал себя. Я говорил уже: все эти годы я шел по проторенной дороге, в едином строю, меня подпирало со всех сторон; я мог положиться, идти с закрытыми глазами. Кто-то вел. Я узнал: наш советский строй — самый передовой строй во всем мире; народ наш — в авангарде человечества; нас ведет по верному пути лучшая в мире партия, во главе с испытанным соратником великого Ленина. И не надо открывать больше никаких Америк — за нами будущее! Трудно было представить себе, что в нашей стране возможно нечто подобное — высказывания, мысли какие-то наедине с собой. Я рылся в памяти, пытался восстановить, как оно происходило тогда, во время партийных дискуссий. Неужели так вот, запросто, люди поднимались на трибуну, выкладывали что у кого за душой... Конечно нет, быть

не могло! Партия, как известно, не дискуссионный клуб! Во всяком случае — с этим живо покончили. Теперь снова: разногласица, разброд, кто в лес, кто по дрова, — меня брала оторопь! Максим Максимыч, Громов, Борька Ткач — я столкнулся лицом к лицу...

Утром, после этой ужасной ночи, оба они — Громов и Максим Максимыч — к великому моему изумлению, орудовали как ни в чем не бывало, каждый по своей линии. Максим Максимыч, по должности старосты, наблюдал за раздачей паяк, Борода носился, как угорелый, выуживая подробности ночных допросов. Я не находил себе места, старался не попадаться на глаза Борису, который охотился за мной весь день, не давая проходу. Вечером, когда меня вызвали на допрос, он бросился следом и, настигнув меня уже в дверях, поймал за локоть.

— Ты все-таки... Не слишком усердствуй! — шепнул он.

Я вырвался. Нервы мои были на пределе. Я крикнул:

— За кого ты меня принимаешь? Заруби себе на носу: я коммунист!

Он успел бросить мне вдогонку:

— Невинность соблюсти? Артель «напрасный труд»!

IV. Следствию известно

Эти двое суток в камере — они меня в чем-то укрепили. Громов, его замашки, весь этот священный союз против следователей — меня оттолкнули

с самого начала. Для себя я решил: никакой игры в кошки-мышки. Честно, по-партийному: карты на стол! Откровенно говоря, я не совсем отдавал себе отчета, что все это должно означать в переводе на практический язык. Какие «карты»? И что значит «честно»? Я вообще не чувствовал за собой решительно никакой вины и мне, по сути, не в чем было — ни таиться, ни виниться. Признаться, я не очень представлял себе характер предстоящего разговора, точнее — мне все это рисовалось в определенном свете. Кому из нас не приходилось: проборка у секретаря райкома, нагоняй, вызов к партследователю, кляуза какая-нибудь. Разговор, в общем, по душам, ничего другого я и не мог себе представить. Правда, при чем тогда черный ворон? Во мне начинало накапливаться, но я тут же пресекал себя: не дури, помни, политический момент, приходится считаться... В конце концов — партследователь, следователь НКВД, — какая уж такая разница? Что мы — два лагеря? Я постепенно остывал. Главное — правдивость! Партии нужна правда!

Все это я намерен был выложить своему следователю сразу же, без проволочек. Я подбирал слова, смаковал, представляя, какое произведет впечатление. Я прикидывал: человек моего возраста, скорее всего. С юридическим образованием, возможно даже — в одно время заканчивали — он юрфак, я агрохимический. А быть может — старый чекист, времен Феликса Эдмундовича, тоже неплохо.

Все это полетело вверх тормашками в первую же минуту. Меня как будто током обожгло. Собственно — почему? Почему это должно было потря-

сти? Женщины-летчицы, женщины-хирурги, отчего нельзя себе представить: женщина-следователь НКВД? Глупость, очередная моя дурость! Я обмер, как если бы меня бросили в клетку к тигру. Мне показалось — девчонка: крашенные губы, косички... Я опустил глаза. Она разглядывала меня вдоль и поперек, я чувствовал. Заранее подготовленные слова застряли у меня в глотке.

— Интересуюсь, — услышал я, — долго мы будем играть в молчанку?

Я украдкой взглянул еще раз: действительно, косы, они молодили ее. Офицерский китель, во рту папироса. Она рылась в ящике стола, доставала какие-то папки.

— Ну-у, — сказала она, — разговаривать будем? Или вам, может быть, нечего сообщить следствию?

— Нет-нет, — всполошился я, — выслушайте меня!

Я заговорил. Я высказал ей все, что во мне накопилось за эти двое суток. Рассказывал о себе, о моей работе, о последних событиях в ВНИИМСХе. Я не щадил себя, говорил о своих промахах как секретаря партбюро, о политической близорукости, о бывшем директоре, Хохлове, — мы проглядели врага народа, вовремя не разоблачили, — о засоренности Института, тоже наша вина, моя, в частности. В общем, я повторил почти дословно свое выступление на последнем активе. Она не перебивала, и это как-то подбадривало. Воодушевляло меня. Я чувствовал — с меня сваливается стопудовая ноша.

Воспользовавшись секундной паузой, — я собирался еще говорить и говорить, — она шлепнула

на стол стопку бумаги и, не давая мне опомниться, засыпала вопросами. Фамилия? Имя, отчество? Год рождения? Образование? Бегло, ловко, я не успевал утнаться. И вдруг, с разбега, без всяких переходов:

— Когда вступили в контрреволюционную группировку ВНИИМСХа?

Меня сразило, я как будто напоролся на чугунную тумбу, лбом. Я не был подготовлен к такому лаконизму, такой ясности вопроса. Она что же, всерьез? Меня, выходит, подозревают, по-настоящему?

Я снова пустился в объяснения. Я стал путать, сбиваться, с ужасом замечая, что топчусь на месте, повторяюсь и начинаю выдыхаться. Она, тем не менее, не останавливала меня, выслушала до конца, еще подождала, после чего повторила свой вопрос, слово в слово, прибавив одно-единственное прилагательное:

— Что-о-о?! — я крикнул не своим голосом.

— Когда вступили в контрреволюционную троцкистскую группировку ВНИИМСХа? — твердо повторила она.

— Троцки-истскую? — я почувствовал прилив энергии. Чего-чего, а уж по этой линии...

Я перечислил ей по пальцам: свои выступления устные, в печати, выезды с докладами, командировки ЦК, в 25-ом году, в 26-ом, в 27-ом. Не колебался, не воздерживался, всегда за генеральную линию... Я снова обрел дар речи. Она слушала спокойно, без звука. Один только раз, когда я взмолился: «Вы же знаете, вы все знаете!» — на лице у нее я уловил подобие улыбки. Я ухватился, как утопающий за соломинку.

— Запросите! — воскликнул я, — характеристики, мнение Горкома... Какой я троцкист, помилуйте! — прибавил я. Она оборвала меня с неожиданной резкостью.

— Вы сознались, — начала она, подчеркивая каждое слово, — что: будучи секретарем парторганизации ВНИИМСХа, покрывали вредительскую деятельность Хохлова, бывшего директора Института. Доложите следствию о подрывной деятельности врага народа Хохлова...

Мою спесь как рукой сняло. Против меня — моим же оружием.

Я вспомнил — мы выделяли в свое время комиссию, после ареста Хохлова, я был председателем. Мы копались, как мыши, перерыли все на свете, искали, надо было найти, хоть что-нибудь! Все без толку, он замел следы. Я все же что-то докладывал, мы состряпали, дай Бог памяти. Я делал отчаянные усилия, пытаюсь вспомнить.

— Вы показали, — продолжала она ледяным голосом, не дождавшись от меня ответа, — что: в бытность свою секретарем ВНИИМСХа вы способствовали засорению Института классово-чуждым элементом. Назовите, кто именно был завербован вами в контрреволюционную группировку Института?

У меня помутилось в голове. «Вы сознались!», «Вы показали!». Что она, с луны свалилась? Не слыхала никогда таких слов, как критика, самокритика? Да, я заявлял на собраниях, на пленумах, везде и всюду. Мы все, как один, выступали, ничего удивительного. Новая фаза, социализм победил окончательно и бесповоротно. Само собою — обострение классовой борьбы! Новая тактика вра-

га, мимикрия, двурушничество. Ротозейство, как главная опасность! Беспощадная критика, невзирая на лица. Конечно, я говорил! Но что значит — назовите? Кого я могу назвать? Нужны же какие-то факты...

Допрос продолжался битых три часа, мы топтались вокруг да около, я не мог бы, при самом горячем желании, объяснить толком, о чем, собственно, шла речь. У меня все перемешалось — группировки, задания, сообщники, центр — двадцать раз одно и то же, до одурения. Я перестал возражать, спорить, и к концу допроса был окончательно выведен из строя. Представьте себе, девчонка, смотреть не на что, — она вышибла у меня почву из-под ног, я ушел от нее с подбитыми крыльями. Мне стало казаться — она что-то обо мне знает, очень существенное, я сам, возможно, не догадываюсь. У меня пропала всякая уверенность, самые бесспорные, казалось бы, истины стали лопаться, как мыльные пузыри. Представления о долге, о чести, об ответственности — все вдруг пропало, повернулось в новом свете...

В частности, понятие о непреднамеренности и субъективной ответственности. Как разграничить: ошибки, так называемые, отсутствие умысла, и — преступления явные, караемые по всей строгости закона? Притупление бдительности, например: как прикажете трактовать? Промак? Или соучастие? Антипартийное высказывание: заблуждение? Или выпад, камень за пазухой? Вообще, просчеты всякие — и антигосударственная практика: где, собственно, грань? Весьма скользко, неправда ли? Принимая во внимание специфику нашего строя. Скажем — знакомства, связи, как их принято

именовать, куда прикажете отнести, в какую рубрику? Если, конечно, подходить не с обывательской меркой, а принципиально, с позиций государственной безопасности? Чего-то я в этом плане не додумал, факт. Не такая уж она простушка, эта моя особа с косичками. Она все приговаривала: «Думайте! Думать надо!». У меня мозги лопались от натуги. Черный ворон мчал меня по ночному городу, ревел нахально во всю глотку, я возвращался после первого допроса не ахти как весело, лаврами не пахло!

— Выкиньте из головы! — услышал я.

В машине было темно, я с трудом разобрался. Какое-то существо, мне показалось, карлик. Он скользил по скамейке, жался ко мне, сопел, старался изо всех сил обратить мое внимание, — я и не замечал, что нас двое.

— Я тоже поначалу, — сказал он, — теперь всё, рассчитался!

У него, видимо, было превосходное настроение, он жаждал поделиться. Растормошив меня в конце концов, он окончательно развеселился.

— Полный расчет! — ликовал он, — вольный казак! Отмучился...

— То есть как? — я задохся от волнения, — совсем?

— Расквитался! По всем статьям! — выпалил он и спохватился: — что вы сказали?

Он уставился на меня и вдруг залился по-детски, счастье переполняло его, било через край. Он даже забыл про конвоира за перегородкой.

— А что, — сказал он, — можно считать — на волю... Все-таки — лагерь! Не тюрьма...

Успокоившись, он стал мне нашептывать. Слава Богу, конец, он подписал. Форменная чепуха, разговоры, анекдоты, подписывать нечего. Недонос, пятьдесят восемь десять — он понятия не имел. Следовательно обещает три года, никаких судов, Особое совещание, заглазно — самое милое дело! Следовательно гарантирует: работа по специальности. Счетные, говорит, работники в лагере на вес золота. Слава Богу, зубы съел. Восемнадцать лет! На самостоятельном балансе! Будет кадры готовить, ему что? Холостяк, слава Богу, не обзавелся... Три года, как-нибудь! Зима-лето, зима-лето...

У него, видимо, гора свалилась с плеч, ему не сиделось. Он захлебывался, перескакивал с пятого на десятое, впадал то и дело в телячий восторг и не умолкал ни на секунду. Он не обижается, нет, — попался, терпи. Теперь ученый — никаких там приятелей, товарищей, всё! На пушечный выстрел! Видишь, люди разговаривают, шепчутся — беги от греха подальше, не слушай! Самое страшное: даже здесь, в каталажке этой, тебя уже скрутили по рукам и ногам, кому ты сдался? Все равно, ловушки на каждом шагу, никогда бы не поверил. Наседки, стажеры какие-то. Как тараканы, обнюхивают тебя, шарят. Он было уши развесил, спасибо следователю, подсказал. Закругляйся, говорит, не тяни резину, попадешь как кур во щи! Ты, говорит, не представляешь, что значит в лагере главбух. Правая рука, кум королю. Мировой дядька попался, лейтенант этот, лейтенант этот, следователь. Шутник! Мы, говорит, невесту тебе подберем, замуж выдадим...

Он молот ерунду, было тошно слушать, я остановил его.

— Вздор, — сказал я. — Наседки, тараканы, белиберда какая-то!

Он, бедняжка, скис, стал оправдываться, лепетать. Он не знает всех тонкостей, но, что касается наседок, это точно, на собственном опыте. Главное, никогда не разгадаешь. Человек как человек, распинаясь, слова всякие — веришь. Липнет к тебе, в душу лезет. Стажеры, те рангом пониже, мелкая сошка...

Я перестал слушать, мне стукнуло в голову: «липнет, в душу лезет». Неужели Борька Ткач?

Он все еще висел у меня над ухом, мой попутчик, втолковывал мне, когда с грохотом открылись ворота тюрьмы. Он заторопился:

— Гоните в шею! Всех, подряд! Утопят в ложке воды...

...Я пробирался вдоль нар на цыпочках, мечтая об одном: нырнуть незамеченным. Не успел я, однако, улечься — Борис, как тень, тут как тут. Он впивался в меня, как будто в этом мраке можно было что-нибудь увидеть.

— Ну, — выдавил он наконец, — правосудие наше... На высоте?

— Спать хочу, — проворчал я. У меня действительно слипались глаза.

— Ты, по крайней мере, — начал он снова, — того... не наплел?

Я вскочил, меня подбросило, как мяч. Этот малыш, бухгалтер в черном вороне, он не выходил у меня из головы. Я запомнил все, до последнего.

— Что тебе нужно? — прошептал я, едва сдер-

живаясь. Меня подмывало сказать ему тут же, в упор, всё.

— Пардон, — сказал он. — Тебя, кажется, можно поздравить?

— Я знаю, чего ты добиваешься! — воскликнул я. — Ты... ты...

Мой голос оборвался, чей-то истошный вопль, позади меня, заглушил мои слова и потряс камеру:

— За партию, за Сталина!

Я судорожно ухватился за Борькину руку. Кругом все спали как ни в чем не бывало. Только в углу, у самых дверей, возле параша, что-то происходило. Кто-то грохнулся с нар на пол, так и остался лежать враспяжку. Несколько человек поблизости заворочались на нарах, тупо уставились в угол и снова, чертыхаясь, завалились спать. Никто не тронулся с места.

Борька сказал с издевкой:

— Редактор областной газеты, всего-навсего. Шестая держава... Любуйся!

Я не мог прийти в себя и продолжал вглядываться в темноту камеры, с содроганием наблюдая, как этот, рухнувший с нар, ползает по полу на четвереньках, цепляется за парашу, стремясь подняться.

— Обрати внимание, — продолжал Борис — без Мудрого — ни шагу! Трогательно, неправда ли?..

Он помолчал и прибавил:

— Твоего поля ягода!

На левой половине, у Чумы, кто-то громко выругался:

— Мать вашу... Дышать не дают! Контра вшивая!

V. Пятая колонна

Надо было подготовиться к отпору. Я предвидел, атака будет с двух сторон: Борька Ткач и Громов. Впрочем, что касается Бориса, я рассчитывал, что он, пожалуй, отпал после нашего ночного столкновения. Как-никак, я дал ему понять; вряд ли, после такого афронта, человек полезет. Ну, а Громов, пусть! Он все-таки из породы бумажных тигров...

— Выкладывай, кого-чему, — начал он безапелляционным тоном. — Чего шьют? Дискредитация вождей? Троцкизм? Террор?

Он сыпал, как из пулемета. — Что? Я не знаю фамилию своего следователя? Видали фраера? По крайней мере, внешность, морда? Я могу изобразить? Длинноносый, может быть, глиста этакая... Стражник? Пивоваров — лысый, рябой, с золотой челюстью?

Он перечислил всех по пальцам, я ждал с замиранием сердца: ни одного женского имени, однако, названо не было.

— Да нет же, — проямлил я, чтобы как-нибудь отвязаться. — Обыкновенное лицо, бритый. Вообще, дела, по существу, никакого, одни рассуждения.

Он не дал мне досказать.

— Что?! Дела нет? Видали фраера? Была бы шея, статья найдется. Надо знать, с кем имеешь дело. Слушай меня...

На меня обрушился шквал глупейших инструкций. Не подписывать, самым категорическим образом! Будут подсовывать, угрожать — не поддаваться! Им только зацепиться бы, вырвать под-

пись — не вздумай! Покупать будут — партия, родина — плюнь в рожу! Мошенники, один на одном, воры! Показания сексотов — грош цена! Требуй: документы, очные ставки! На законном основании! Прокурора! Знаю, одна лавочка, все равно — вызывай! Они не любят! Произвол, беззаконие, учить их, сволочей! Ежова песенка спета.

Спорить с ним было немыслимо, он не признавал. «Командовать буду я!» Он возомнил себя пророком, чревовещателем, фельдмаршалом, как угодно, только не арестантом. Конечно, его нельзя было принимать всерьез. Как и всю его болтовню по поводу беззакония, прокурорского надзора и тому подобных проблем и ритуала судопроизводства. Ему, старому большевику, партизану, вовсе уже непростительна была, с моей точки зрения, подобная абракадабра.

Правосудие! Законность! Как будто кто-нибудь спорит. Все это освящено Конституцией СССР, все знают, Сталинской Конституцией. Уголовный кодекс, судебные коллегии, прокурорский надзор... Чего вам еще? Гласность? Презумпция невиновности? Неприкосновенность личности, быть может, этого вы добиваетесь? Звучит, ничего не скажешь. Однако, вы должны согласиться, наряду с хваленной этой презумпцией и священными правами личности, существует нечто не менее святое — престиж государства! Нашего, социалистического государства! Здесь именно и раскрывается существо проблемы, во всем ее объеме. Пусть он, Громов, поставит в один ряд: какую-нибудь кражу со взломом или, возьмем худшее, убийство, растление малолетних и — обвинение в подрывной деятельности, в идеологической диверсии. Пусть ска-

жет, есть разница? Нельзя же, на самом деле, во всех случаях жизни жевать одно и то же: закон, произвол, прокуратура. Вам предъявили пятьдесят восьмую статью, речь идет о безопасности государства, о политической вашей благонадежности, а вы трубите: факты! улики! вещественные доказательства! Несерьезно и беспредметно. Ибо в данной ситуации, если на то пошло, не вам, наоборот, — вы, вы сами призваны предъявить факты, свидетельства, доказательства своей непричастности, иначе и быть не может, поскольку на первый план выдвигается момент доверия, вы согласны? Меняется сама природа понятий — виновен, невиновен, преступление, преступник. Противник, враг, вот вы кто, возможно даже — потенциальный враг, — роли не играет.

Все это казалось мне совершенно очевидным. Бухгалтеришка этот в черном вороне, и тот как будто усвоил. Оставалась, правда, в моей схеме одна-единственная брешь: гарантия объективности. Каким аршином мерить? Громов, к примеру, враг он или не враг? Тот же редактор? Аз, грешный? Это уже были дебри. Здравый смысл подсказывал простое решение: есть Партия, правительственный аппарат, его органы — разберутся! Должны разобраться. Я не предполагал, что по этому, как раз, пункту мне предстоит схватка со вторым моим преследователем, с Борисом.

Он и не думал оставлять меня в покое, напрасно я надеялся. Он повел наступление в обход, не чета Громову. По вечерам, после поверки, он усаживался у Максим Максимыча, и начинался диалог у меня над самым ухом. Ораторствовал, главным образом, Борька, ему для чего-то понадоби-

лось откровенничать, раскрываться, именно в моем присутствии. Он поминутно оборачивался в мою сторону, делая вид, что обращается ко мне, хотя я всеми способами подчеркивал свое отношение. Он и выражения подбирал соответствующие, чтобы как следует меня поддеть, разжечь: «партийные боссы», «клика», «казарменный социализм» — сплошное хулиганство. Однако Господь с ними, со словами, дело не в выражениях. У него, оказывается, была какая-то доморощенная доктрина, с которой он носился как с писаной торбой. Он, видите ли, подобрал отмычку, он в состоянии объяснить вам, откуда все пошло: хамство это, коррупция, убийства из-за угла. «Нам говорят — разложение, пережитки — какого чёрта! Почитайте программу, устав, любую передовицу: все заложено с самых пеленок, начиная с коммунистического манифеста. Материализм, только и слышишь! Материально-техническая база, материальные стимулы, материальное изобилие. Бытие определяет! Голая материальная идея, ничего духовного. Что же удивляться? Все ринулись: портфели, квартиры, дачи, вырвать, урвать — это называется «первая фаза». Человек, любовь к ближнему — за борт! Классы, классовая борьба, до полного уничтожения. Уклонисты, правые, левые, право-левацкие. Ненависть, через поколения, все против всех! Мы пожинаем плоды. И вы, Максим Максимыч, ваша лепта, не отрекитесь. Большевики, меньшевики — одно кодро. Он, Борис Ткач, поставил крест: никакой политики! С него хватит!

Максим Максимыч просто потешался, ему доставляло громадное удовольствие, я заметил. Все же он считал необходимым как-то возражать, по-

хоже — проформы ради, мне, по крайней мере, так казалось. Он начинал издалека: «Прошу не смешивать Божий дар с яичницей». Они, социал-демократы, никогда не разделяли этой узколобости, прямолинейности. Не делали ставки на низменные инстинкты, им это было чуждо. Самое же главное — выбор средств. К этому, собственно говоря, и сводится существо вопроса, его квинтэссенция: средства достижения. Большевики всегда были неразборчивы, цель оправдывает, отсюда все качества. Что же касается политики как таковой, пусть он, Борис, не зарекается. Со своим темпераментом — никуда он не денется. Рано сжигать корабли...

Я был убежден: какая-то у них игра в бирюльки, рассчитано на дураков, я не верил ни одному слову. И тем не менее — меня как-то захватывало, какой-то в меня вселился бес. Я ждал каждый вечер, как манны небесной, когда они заведутся снова. Я перестал, в конце концов, различать, где у них начинается правда и кончается ложь. Спектакль этот повторялся изо дня в день.

Был у Борьки еще один коронный номер — заигрывание с ксендзом. Он нянчился с ним, как со слепым котенком, вместе спали, ели вместе, чуть ли не из одной миски. Не мог же я допустить, что все это придумано ради какого-то паршивого куска сала (ксендз получал из деревни роскошные передачи, которые, кстати, тут же сводил на нет, раздавал, все дочиста). Вообще, мне никогда раньше не попадались такого рода ксендзы. Длиннющий, тощий, восковой какой-то, прозрачный — «бледнолицый брат мой» в буквальном смысле. И невероятно застенчив. Днем он прятался, не пока-

зывался вовсе; только вечерами, когда все засыпали, он становился на колени. Борис прирос, я не мог постичь, что общего. Он принялся, ни с того, ни с сего, обучать ксендза химии. На полу, где-то в грязи, часами шла зубрежка — мне тоже показалось подозрительным. Действительно, очень скоро Борька стал приставать ко мне: у них, видите ли, нет учебников, они решили меня пристегнуть, я когда-то считался знатоком. Для чего-то я им понадобился в компанию. Я с трудом отбилсЯ, я попросту заявил ему в самой категорической форме: не намерен, мол, путаться со служителями культа.

Тем не менее, улучив момент, ксендз подошел ко мне, подкатился все-таки, к этому все, видно, и клонилось. Он сидел у меня на краешке нар, улыбался и сам, видимо, не знал, что от него требуется. Я ждал, мне просто любопытно было, какие же у нас с ним могут быть общие темы, химия, что ли? Наконец он решился, заговорил, и тут начались самые удивительные вещи. Тихоня этот, красная девица, и вдруг — Гегель, диалектика природы, эмпириокритицизм. Он прочел мне лекцию по истории философии, я слушал раскрыв рот от изумления. Спыхватился я, когда он заговорил вдруг о Сталине, он каким-то образом связал. Я сорвался с места: остановить его, прервать сию же минуту! Однако его было не так просто сбить, проповедник все же. Он понес такое — ничего похожего я не мог ожидать. Представьте себе, он превозносил Сталина, как Папу Римского. Репрессии, преследование духовенства, — утверждал он, — дань времени. Надо глядеть в будущее. Реставрация веры — она неминуема, народ изголодался, жаждет.

Коммунизм переживает эволюцию: от атеизма Ленина к авторитарности нового режима. Историческая миссия Сталина — взрыхлить почву, путем испытаний, слез, даже крови. Сталинскому государству не обойтись, оно заключит союз с церковью, оно призвано. Тогда закончится эра насилия, наступит синтез.

— Хватит! — крикнул я в бешенстве, — можете не стараться!

Он сморщился весь, увял и попятился, выставив вперед ладони. Хорошо еще — не стал отkreщиваться. Он ушел, грубо говоря, не солоно хлебавши. Ничего хорошего, конечно, визит этот не принес, пропасть между нами, между мной и Борькой, стала еще глубже.

Как-то Борис попытался сравнить меня с Громовым. Они расположились втроем неподалеку от меня, Борька, Громов и Максим Максимыч, грызли сухари из ксендзовской передачи. Громов жевал громче всех и, по обыкновению, поносил почем свет своих исконных врагов, энкаведешников.

— Ничего, братцы, выйдем, наведем порядочек... Мы им покажем, где раки зимуют.

— Кому «им»? — ехидно спросил Борис. Максим Максимыч ухмылялся.

— Мерзавцам этим... фашистам!

— Допустим, — согласился Борька. — Ну, а в отношении нас какие у тебя планы?

Громов насторожился, бросил жевать.

— Вообще, по части мест заключения... Тюрем, лагеря, как ты себе представляешь?

— Не морочь голову, — огрызнулся Громов.

— Ты не увиливай, — настаивал Борька. — Скажи, Максим Максимыча куда? Ксендза, например? Меня, кстати...

Он явно глумился над Громовым. Перехватив мой взгляд, он подмигнул мне. Я отвернулся.

— К чертям! — рывкнул Громов, снова принимаясь за сухари. — По домам! Амнистия!

— Эх ты... фантазер, — сказал Борька, — сидишь, ласы точишь. С кем, главное, сидишь? Ты соображаешь? Товарищей нашел...

Громов вспыхнул. — Иди, стучи, — буркнул он.

— Мне что, — возразил Борька. — Тебе идти, ты коммунист... Обязан сообщать куда следует — он метнул глазом в мою сторону и прибавил: — у него спроси, он подтвердит!

Громова он довел до белого каления, но ему нужен был не Громов, весь этот шарж разыгрывался для меня, исключительно. Мне следовало дать отповедь, раз навсегда, но увы! пороку не хватало и я отмалчивался, до поры до времени.

Был момент, когда я готов был махнуть рукой, сдать позиции; это было незадолго до второго моего допроса, накануне, вечером. Я сидел впотьмах, ломая голову: как, все-таки, мне быть со следователем. Надо было на что-то решиться. Поза у меня была, должно быть, не такая уж геройская, когда появился Борька — он подошел незаметно, подкрался, я вздрогнул.

— Не трудись, старина, — сказал он, — не думай. Нехай начальство думает. У начальства голова большая...

Что-то он, показалось мне, затеял. Возможно, найти общий язык, нащупать почву? Меня отпуг-

нуло с первых же слов: жаргон этот, манеры... Он, очевидно, заметил.

— Я вполне серьезно, — сказал он, — ты напрасно. Погляди на себя... Поседел за какую-нибудь неделю...

Я насторожился: бояся данайцев дары приносящих. Оба мы молчали, он, видимо, прилаживался, не знал, как подойти. Наконец, он спросил:

— Почему ксендза прогнал? Человек с открытой душой. Без задних мыслей...

— Марксист, — съязвил я. — Кстати, эта затея с химией... Ты не объяснишь?

Он повеселел вдруг, перетнулся ко мне, стал заглядывать в глаза.

— Слушай, Алексей, — он впервые назвал меня по имени, — только честно... Боишься? Меня, ксендза... Глупо же!

— Откуда ты взял? — сказал я уклончиво. — Ты знаешь, я не трус.

Он брезгливо поморщился:

— Трусость ни при чем. Страх... Подлый собачий страх, как при бешенстве. Трус, не трус, все заражены...

— Ты все-таки не ответил, — перебил я, — насчет ксендза. Почему вдруг химия?

— А-а... — он потускнел. — Готовлю парня в Академию, неужели непонятно? Латынь знает, немного химии, лагерным аптекарем будет. Все-таки, сыт будет... — Он вскинул на меня глаза: — Еще вопросы будут?

— Будут, — отрезал я, решительно поднимаясь с места. — Коль скоро пошло на откровенность... Как, все-таки, получилось, что ты здесь, со мной? Вообще, метаморфозы твои? Высшая мера!

Оказалось — лагерь... Вдруг — в тюрьме! — Мне почудилось, что он побагровел, я не спускал с него глаз.

— Всё допросы, — процедил он с ненавистью, но тут же остыл. — Иди знай, что у них там на уме... Пять лет, детский срок, все-таки, кому-то жалко стало. Будут шить по-новой...

Он взглянул на меня, что-то прикидывая, и прибавил:

— Возможно, спаровать решили. Почему я знаю...

— Как, то есть? — я не сумел скрыть свой испуг: — с кем паровать?

Он усмехнулся и сказал с какой-то даже нежностью.

— Ну да... Женят нас, тоже не удивляйся. Ничего хитрого.

На мне, должно быть, лица не было. Он подошел, протянул мне обе руки:

— Не шарахайся, ей-Богу. Пойми ты, нам, чего доброго, братскую могилу готовят, не сегодня-завтра... А мы? В жмурки играем? Опомнись...

Что-то во мне заколебалось, у меня зачесались руки, сгрести его, по-старинке, обнять, придушить. Мне стоило немалых усилий устоять, не поддаваться.

— Постой, постой, — сказал я, отстраняясь, — разве так паруют? В одной камере? Два кота в мешке...

Он отшатнулся, по лицу у него поползла гримаса, несчастная какая-то.

— Так не бывает, — продолжал я наступать. — Ты все выдумываешь... Басни Крылова...

У него перекосилось лицо, он сказал:

— Тебе бы следователем быть. Есть хватка!

— Зарапортовался, — перебил я, торжествуя, — решил дешево купить...

Он выругался сочно, во все этажи, я еще такого от него не слышал. Мне стало не по себе, но я решил, что так все же будет лучше, по крайней мере, отвяжется. Он, однако, разъярился еще больше. Скандал разразился уже на следующее утро.

День был банный, нас повели кучей, как стадо баранов. В камере остались двое: Чума, под каким-то предлогом он остался дежурить, и Редактор, тот с утра не поднимался, объявился больным. Все утро, с самой поверки, Чума подозрительно охаживал его, перешептывался, никто как-то внимания не обратил. Когда мы вернулись из бани, Редактор лежал пластом, на спине, грудь была поверху прикрыта рубашкой. Маленькие его глазки были устремлены вверх, в потолок, он ничего не замечал.

Надо сказать, он был у нас уникам, этот Редактор. Он занимал место возле параша, его туда заткнули, когда прошел слух, что никакой он не редактор вовсе, а пом. прокурора — его тогда принялись перебрасывать, как футбольный мяч, с места на место, пока он не очутится у параша. Самое пикантное: соседями у него оказались эти двое, Сократ и Виктор, два троцкиста; они, представьте, не стали возражать, им было как будто наплевать — прокурор, редактор, сам Ежов. Но о них особо. Редактор, кстати, тоже обладал ангельским терпением, и физиономия у него была соответствующая: круглое личико, ушки, глаза тоже — две бусинки, херувимчик. Однако все дело, очевидно, было в

этих бусинках, они у него вечно пылали, что-то от Савонаролы.

Он лежал распростертый, недвижимый, как мумия, не сводя глаз с потолка. Его тоже заметили не сразу. Потом уже, когда поостыли, разобрались с тряпьем, началось паломничество. Я решил не трогаться с места, что-то удерживало меня, предчувствие... Борька шнырял мимо меня, взад-вперед, ему не терпелось, он был в состоянии крайнего возбуждения. Наконец, он не выдержал.

— Тебе будет полезно, — сказал он, хватая меня за руку и подтаскивая, почти силой, к Редактору.

Мне бросилась в глаза эта жалкая, истерзанная грудь. Рубашка сползла на пол, обнажив голое тело. Поперек груди, во всю ее ширину, как зияющие раны, горели шесть букв, крупным шрифтом, свежепротравленным: С Т А Л И Н. Никто не допытывался, кто, когда все это смастерил, все топтались, как над покойником. Кое-кто, отходя, сплевывал.

— Ну? — сказал Борька, не выпуская моей руки. — Впечатляет?

— Пусти! — я рванулся уходить, но Борька повис на мне гирей:

— Удирать? Не-эт, братишка, — он говорил громко, во всеуслышание. Вокруг нас стали собираться. — Такие вещи запоминать надо...

— Тише, — прошептал я, вырываясь, — нашел место митинги устраивать...

Я кивнул головой в сторону двери, но ему было нипочем: решетки, глазок, надзиратели, — ему как-то сходило.

— Памятник эпохи, — выкрикнул он, одной рукой удерживая меня, другой, свободной рукой, тыча в грудь Редактора, — учись...

Я, наконец, вырвался и устремился к себе, он не отставал и следовал за мною по пятам, увлекая по пути кого только можно. Его уже нельзя было остановить.

— Гапон! — крикнул он, зазывая Громова. — Ты видел?

— Псих! — отозвался Громов. — Есть о ком говорить!

Борька упрямо мотнул головой:

— Неправда! Никакой он не псих! Деятель нового типа! Святоша. Спроси у него, сколько он людей погубил?

Он снова переключился на меня. Этот феноменальный редактор, откуда берутся такие уроды? Я должен расшифровать, какие-то у меня с ним все-таки общие корни. Вообще, что происходит? Коммунисты, с позволения сказать, в тюремных камерах, битком набито. На карачках ползают, молятся Великому. Возрождение идолопоклонства, кто бы мог думать? Двадцать лет советской власти — не хватает тюрем. Тысячи тысяч, миллионы врагов народа. Кто же народ и кто враги его?

Это пахло открытой провокацией, но уклониться было невозможно, он припирали меня к стенке, вокруг нас столпились, ждали. Я поднял брошенную перчатку.

— Если ты так настаиваешь, — сказал я, — изволь... Пятая колонна, этим все сказано. Новая ступень: двадцать седьмой год — разгром троцкизма; тридцатый год — ликвидация кулачества;

тридцать седьмой — пятая колонна. По-моему — ясно...

Он даже побледнел, кругом стало тихо.

— Вот оно что? — сказал он, растерянно оглядываясь. Он, видимо, не был подготовлен к подобному обороту. — Я, значит... И ксендз... И Борода... Пятая колонна?

— Дело не в лицах, — перебил я.

— ...и редактор, — продолжал он, не слушая меня. Голос у него окреп, стал уверенней. — И ты сам, тоже...

Он трубил уже вовсю, призывая всех в свидетели, мы были окружены плотным кольцом, он тыкал в каждого пальцем, называл по фамилии.

— И Соловьев, Миша, экономист, любитель анекдотов, 58 десять, агитация... Молоканов, инженер, ярый преферансист, 58 одиннадцать, группировка. Клименко, колхозник, бычка зарезал, вредительство, 58 семь... Курочкин, Митя, матрос, вопросы на политзанятиях, подрыв авторитета, КРТД. Красницкий, комсомолец, бежал от Пилсудского, переход границы, 58 шесть, шпионаж... Риневич, портной, получил посылку из Риги, ПШ, подозрение в шпионаже. По-доз-рение, — повторил он.

Он вошел в экстаз и поднял на ноги всю камеру, со стороны можно было подумать — идет торжественное вручение почетных грамот. После каждой фамилии он провозглашал, снова и снова: пятая колонна! пятая колонна!

— Юдин, — продолжал он, — Максим Максимыч, видный советский этнограф, ученый, бредит Марксом, сами видите! Туда же, пятая колонна.

КРД, КРТД, чеэсы, указники... Избиение младенцев, охота за ведьмами...

Я ждал, охваченный жутью. Над камерой нависла гроза, на заднем плане где-то, во владениях Чумы, начались подозрительные передвижения, туман застилал мне глаза, но мосты были сожжены, пути отступления отрезаны. И я защищался как мог, я бормотал что-то о догматизме, о противоречиях переходного периода, о диалектике. Тридцать седьмой, дескать, это вам не семнадцатый год; тогда было просто: белые, красные, все на ладони. Сейчас по-другому, враг невидимый, скрытый. Никакой линии фронта, уличный бой, не различишь, свои, чужие. Потому и говорится — пятая колонна. Последний рубеж, без жертв не дается...

Турнир оборвался внезапно и окончился вничью, грозу пронесло мимо. Разрядка наступила как только показались белые лохмы Максим Максимыча, они развивались, как флаг перемирия. Я заметил, как он перешептывается с Борькой. Тот вдруг взмахнул рукой и, самым бесцеремонным образом прерывая мои излияния, возвестил: «Концерт окончен!». Аудитория стала быстро таять, и Борька пошел прочь, бросив в меня под конец ком грязи.

— Начетчик, — сказал он. — Ты всегда был ханжа и начетчик.

Я еще нашел в себе силы отпарировать:

— Ты-то кто? Еще надо разобраться...

Он не ответил и я прибавил:

— Дзуликий Янус, нет хуже...

По-моему, он великолепно расслышал, однако не подал виду, не обернулся, и я подумал, что вся

его прыть и пафос — еще неизвестно, что там кроется. Он уходил в каком-то замешательстве. Гора, в общем, родила мышь.

VI. Работа с людьми

Воистину на второй допрос я отправился, как на заклание. Во мне оставался горчайший осадок после этого позорного поединка с Борькой. Это не было капитуляцией, в отдаленной даже степени, отнюдь нет. Все пребывало, по-прежнему, незыблемым и непоколебимым, я не собирался ничего пересматривать. Но я смутно чувствовал, что повисаю в воздухе, один, среди этого взбудораженного моря житейского. Окружающий мир никак не укладывался в мои стандарты, меня захлестывало, сбивало с ног, живые какие-то человеческие судьбы бились рядом со мной, на этих деревянных нарах, они взывали. Несмотря на безгласность и замкнутость, все вокруг меня было обнажено до мозга костей, никаких прикрас, и я ловил себя на том, что самым гнусным образом завидую всем этим Соловьевым, Молокановым и прочим «овым» и «евым», даже фанатику этому, газетчику, не говоря уже о таких зубрах, как Максим Максимыч. Все они в этом церемониальном марше, все без исключения, шагали как-то налегке, никакого груза за плечами, у всех у них было в чем-то преимущество передо мной. У меня рябило в глазах от бесконечных этих цифирей — 58-десять, шесть, одиннадцать, восемь, семь — от этих КРА, СОЭ, КРД, КРТД, ЭТД, ПШ, ЧС. Меня мутило, я утрачивал ощущение реальности. Между тем, за этими

зловещими и бессмысленными кодами мне начинал мерещиться иной какой-то, неразгаданный смысл Века, скрытая сущность вещей, статьи иного Кодекса и приговор другого Суда. Мои собственные доводы тускнели и глохли перед лицом этого грядущего Судилища, в котором будут стерты грани между подсудимыми и судьями, обвинителями и обвиняемыми.

— Чо-орный во-орон, — загнусавил кто-то рядом со мной, и в ту же секунду со всех сторон зашикали, затопали, а в решетку, из конвойной кабины, ворвалось:

— Я вам попою... Артисты!

Кто-то возле меня произнес:

— Артисты, это точно. Человеческая комедия.

Машина на этот раз была набита, как бочка сельдей. Люди сидели, стояли, цепляясь друг за дружку, валялись на полу, в ногах, тьма была крошечная, но все переговаривались, на ощупь, как слепые. Торопились, ловили каждое слово на лету. В темноте кузова швыряли наобум: Костя, Шевченко, Костя! Я Радков, по делу Кривицкого, кто по делу Кривицкого? Саша, где ты, дай пять...

Меня сдавили два моих соседа, они слиплись, их невозможно было отодрать. Оттеснив меня к стенке, они переговаривались через мою голову, мне слышен был каждый вздох.

— Вам говорят — оч-ная ставка! — сосед справа трепетал от негодования. — Вы можете поверить?

Другой, слева, спокойно возразил:

— Вы что, ребенок, не знаете, как делается?

— Восемнадцать лет! — прошептал первый, — двое детей... Бессовестная!

Второй сказал:

— А что, по-вашему? Караганда лучше? С ребятами в ссылку?

Сосед справа заволновался, стал заикаться:

— Т-тысячи женщин... Н-ничего, выходят из положения.

— Не говорите глупостей, — перебил другой.

— Дети вырастут, спасибо скажете!

Первый замолчал, стал сморкаться. Вдруг он снова вцепился, задержался:

— Ладно, передач не носит, Бог с ней. В газету написала отречение, — мне следовательно показывал — пиши, чёрт с тобой! Но в глаза мне, очная ставка... Я говорю ей: Вера, опомнись! Какой пример детям! Не надо мне таких детей! Распустила сопли, заплакала...

— Дети есть дети, — сказал сосед слева. — Поймут. Главное — перебиться, пережить...

Оба замолчали и было похоже, что первый, наконец, образумился. Тут второй вдруг перегнулся к нему и выдохнул едва слышно, в самое лицо:

— Хозяин, говорят... Семьянин! Обожает детей!

Сосед справа взорвался, в него как будто прыснули кипятком. Он стал плевать по-верблужьи, всего меня забрызгал слюной.

— Обожает, — передразнил он. — Отцов в могилу, детишек на трибуну... Букеты! Иу-уда... Жен, сыновей — в доносчики!

Слова у него застревали в горле, потому что тот, другой, зажимал ему рот.

— Семьянин, — прохрипел он. — Аллилуеву, жену свою, собственными руками... Убийца!

В кузове началась какофония, хрип, чих, кашель, свист, кто во что горазд, только бы заглушить, заткнуть ему глотку, не слышать этого богохульства. И сильный голос конвоира — он ворвался, как бич, машина подпрыгнула и стала.

— Кровью! — прошипел он, — кровью захаркаете!

Все замерли, стало тихо, как в гробу. — Вы у меня, сволочи, попляшете!

Машина снова тронулась в путь. Я не мог прийти в себя, как после ночного кошмара. Истерики этот, справа, все еще теснил меня, он, видимо, выбился из сил и припал ко мне головой. Меня тошнило.

— Уберите колени, — процедил я, пытаюсь от него оторваться. Меня так и подмывало толкнуть его, отшвырнуть, он продолжал висеть на мне, как труп. — Раскудахтался, — сказал я, не скрывая своей ненависти. — Жена, видите ли, плюнула на него, этого, оказывается, достаточно... Хулить, поносить всех и вся... Ничего святого!

В машине началось брожение, в мой огород полетели камни, хорошо еще — меня не видно было в темноте:

— Болельщик...

— Забыть, оказывается, не может! Отца родного...

— Холуев мало, что?..

— Ничего, научат уму-разуму!

— Сосо научит...

Вот они, — подумал я, — без вины виноватые! Все на ладони. Борька Ткач, ликуй, твои собратья,

единомышленники твои. Мои мысли постепенно принимали реалистическое направление. Надо было что-то срочно продумать, подготовиться к допросу. Я с ужасом обнаружил, что за эти несколько дней позиции мои как-то пошатнулись, что-то вторглось между нами, между мной и следователем, налипло на меня, я не мог еще с точностью определить, в чем, собственно, дело. Разговоры эти в камере, ночные бдения, Борькины наскоки. Я вовлечен волей-неволей. Я поёживался, пытаюсь подбодрить себя: — А я причем? Ничего общего.

— Москва слезам не верит, — прогремел надо мной голос моего следователя, непреклонно, отчетливо, как будто вот она, здесь, моя барышня, рядом со мной, в машине. Он стал препираться со мной, ее голос, уличать меня: — Все вы одним миром мазаны!

— Моя биография, — возразил я. — Вы знаете каждый мой шаг...

— Мы видим, — поправил меня голос. — Я вижу вас! Как облупленного!

— Что вы видите, — я дрогнул. — Помогите мне, в таком случае...

— Думайте! — голос неожиданно возвысился. — Думать надо!

— О чем вы говорите? — взмолился я, но, вспомнив про Борьку, схватился за голову.

— Отлично знаете, — злорадно произнес голос, — не притворяйтесь!

— Нам с ним не по пути! — вспыхнул я и выкрикнул во весь голос: — Никогда!

На меня зашипели со всех сторон, в кузове снова поднялся переполох, я испуганно оглянулся

и умолк. Голос не отставал, он продолжал преследовать меня, не давая передышки:

— Шуры-муры, — нашептывал он, — с врагами народа... И нашим, и вашим!

— Вас ввели в заблуждение, — оправдывался я. — Я возражал! Я спорил!

— С врагами не спорят! — провозгласил голос. — Азбука коммунизма!

Я поник в отчаянии. — Тюрьма же, — прошептал я, — политические трупы...

— Они не смирились! — голос негодовал. — Они шипят! Если враг не сдается...

— Я не враг! — простонал я.

— Вы увиливаете, — уличал меня голос. — Не помогаете нам! Хотите выбраться сухим из воды! Вы двурушник!

— Клянусь! — запротестовал я. — Всегда с партией! До гроба!

— Замолчите! — обрушился на меня голос. — Вы упорствуете! Вы не разоружились! Выйдите!

«Выйди» повторили рядом, и чья-то рука грубо потянула меня за ногу — я еле удержался. Мы, оказывается, находились уже во дворе следственного корпуса, я не заметил, как въезжали. Через несколько минут я предстал перед лицом своего следователя.

Впрочем, лица ее мне не видно было, она сидела спиной к двери, не узнал я также голоса ее, в нем не было ничего общего с пилой, истязавшей мою душу несколько минут назад, в кузове черного ворона. Она ворковала, как голубь, склонившись над трубкой телефонного аппарата.

— Что, малышечка, ням-ням? Попей, золотко, молочка... Что? Купали киску? Умничка...

Я попятился, мне неловко было топтаться за спиной у нее, подслушивать. Она, видимо, увлеклась, не заметила моего прихода. Я не знал куда деваться.

— Сядьте же, наконец! Что вы стоите!

Она, оказывается, видела меня, уж не знаю каким способом, зеркала у нее, что ли? Она снова пропела в трубку:

— Ну, Кутенька, бай-бай... Спи, детка.

Вот какая получилась увертюра ко второму допросу, ничего подобного, конечно, я ожидать не мог. Затем последовала длительная пауза — внимательно изучала меня, и я не выдержал, опустил глаза. Когда я снова покосился, мне показалось, по лицу у нее блуждает странная какая-то усмешка. Она заметила, нахмурилась.

— У вас дочь? — спросила она небрежно.

— Нет, сын, — пробормотал я, не готовый к такого рода темам. Вообще — этот ее телефонный разговор расстроил меня.

Она спросила: — Сколько ему? — Я промолчал, и она, перегнувшись через стол, с внезапной горячностью сказала: — Какой вы отец? Вы не отец...

Я старался не слушать, пытаюсь как-то отгородиться. Она продолжала:

— Звонит мне каждый Божий день. Добивается, свиданки просит. Что я могу ей ответить? Вы не очень, кажется, беспокоитесь. Жена, сын...

Я крепился изо всех сил, она следила за каждым моим движением.

— Вы неправильно себя ведете, — сказала она, — жметесь... Что мы, волки, не знаем, кто чем

дышит? Ну, запутался человек, подправить надо... Вы что-то плохо выглядите...

Она сунула мне папиросу и, переходя на совсем уже фамильярный тон, предложила:

— Ну, вот что! Давайте-ка выбратья из этой дыры... Насмотрелись, хватит!

Я насторожился:

— Куда выбратья?

— К нам, в подвальчик, — развязно продолжала она. — Тюр-под! Тюремный подотдел. Уверю вас, одно название! После Лукьяновки — рай земной! Во всяком случае — публика...

— Ради Бога, не надо! — вырвалось у меня. Я стал упрашивать, доказывать ей: мне, мол, хорошо, ничего не надо, великолепные условия. Она недоверчиво улыбалась, но не возражала, ситуация получалась в высшей степени критическая. Мне не хотелось ее отталкивать, восстанавливать против себя, но я на самом деле ужаснулся — подумать только, мне показалось немыслимым потерять эту прелестную камеру 264, мое место на нарах, счастье мое... Она все-таки не возмутилась, вообще в этот вечер ее узнать было нельзя.

— Как хотите, — сказала она. — Наше дело — предложить. — Она опустила глаза и со вздохом прибавила: — Вам все мерещатся подвохи, ловушки... Фома неверующий...

Я молчал, не рискуя проронить лишнее слово, выдать себя взглядом, жестом каким-нибудь. Я с нетерпением ждал, когда начнется, наконец, обычная процедура допроса, но она медлила. Потом заговорила, просто так, в пространство, мысли вслух. «Не верят, хитрят, все до одного. Какая-нибудь неделя в тюремной камере, и человека нет,

пустил корни... Советская власть, Партия, какое там, никакого намека. Спрашивается, куда все это девается? И было ли вообще? Родина воспитала, вырастила, образование дала — никакой благодарности! Обман и предательство!»

Это было хуже всякого допроса, я готов был криком кричать, я чувствовал себя кругом виноватым. Помимо всего прочего, передо мной была женщина, мать, у нас, у обоих, дети, быть может — одногодки. Когда я поднял голову, ее не было на месте, косички мелькнули где-то в боковой двери, она исчезла, оставив меня наедине с моими терзаниями.

Появилась она таким же неожиданным образом, через ту же дверь — она оставила ее приоткрытой. Вид у моей покровительницы был озабоченный, без всяких следов эмоций. Поравнявшись со мной, она задержалась и спросила безразличным тоном, на-скорях:

— Ну как? Работать будем?

Я приподнялся с места, мне неловко было оставаться сидеть — она истолковала по-своему.

— Вот и хорошо, — воскликнула она и, показав на приотворенную дверь, похвасталась:

— Люди дело делают, пишут... Все работают, сами видите!

Я впоследствии не мог припомнить, как оно получилось, что я очутился в этой боковушке, за отдельным столиком с настольной лампой, со стопкой бумаги; все это выглядело неправдоподобно, похоже на уголок публичной библиотеки. Самое удивительное было то, что я был не один, в тылу у меня были еще трое, за такими же точно столиками, с лампами и с бумагой, они сидели один

к другому затылками, так что ни меня, ни друга видеть не могли, хотя ничто никому не мешало оглянуться, взглянуть. Тем не менее, когда я вошел, никто не стал оборачиваться, они строили все трое, как автоматы, не задумываясь и не прерывая. Это было поистине фантастическое зрелище, я не мог себе представить, чтобы эти дела делались в подобной обстановке, коллективно, так сказать, на одном пяточке. Я оглянулся на боковую дверь — она все еще была приоткрыта — и встретился с ее глазами, она наблюдала в щелку. В ушах у меня все еще звенел ее голос, последние слова ее напутствия:

— Поменьше беллетристики... Фамилии, факты!

Я решительно принялся за работу.

...Когда я очнулся, дверь в кабинете следователя была распахнута настежь. Я был в комнате в единственном числе, те трое исчезли, как в воду канули, я даже усомнился, были ли они вообще. Никаких следов, пустые столы — настольные лампы, и тех как не бывало. Было, должно быть, очень уж поздно, ни звука кругом.

— Ну? Долго еще? — она появилась в дверях мрачная, чем-то раздосадованная. Я вскочил с места. — Это же не диссертация, — недовольно проворчала она.

— Кончаю, — поспешно сказал я, хватаясь за ручку, — последняя глава...

У меня было исписано шесть-семь листов, оставался пустяк, концовка, надо было написать про Борьку, но я застрял, ни с места.

— Глава, — передразнила она, — тоже мне... Лев Толстой! — ее тон не предвещал ничего хоро-

шего. Она сказала: — У вас было времени больше, чем достаточно... Давайте!

Я поплелся следом, неся в руках свой труд, показавшийся мне ничтожным и жалким.

...Литературное наследие — одна из загадок столетия. Протоколы допросов, показания «свидетелей», записи очных ставок, признания, покаянные заявления, обращения-вопли в адрес ЦК партии и лично товарищу Сталину. Тонны бумаги, фолианты, над созданием которых в поте лица своего трудилось, вкуче с виновниками торжества — грешниками всех степеней и рангов — целое поколение следователей, старших следователей, прокуроров, членов коллегий, председателей и сопредседателей реввоен трибов и тысячи тысяч прочих рыцарей Фемиды. В чем, спрашивается, заключалось истинное назначение этого титанического труда, его сокровенный смысл? Сбор национального фольклора? Дань истории, отображение опыта эпохи, отчет современников перед лицом грядущих поколений? Или, может быть, пустая, ничего не значащая проформа, «техническая документация», без соблюдения коей вершители судеб, Ежов и Берия, постеснялись бы осуществить свой партийный долг, творя суд скорый и правый, без свидетелей и представителей защиты, без зала суда и традиционного прения сторон, без присутствия центрального героя пьесы — самого обвиняемого?

О нет, копайте глубже! Человек, нравственное его совершенствование, его перековка! Забота о человеке — святая святых сталинской Конституции! Работа с людьми — этот лейтмотив и символ веры нашей эры — не он ли нашел свое творческое

применение в дыму следовательских кабинетов, господствуя в равной мере на тюремных нарах и на занятиях политкружков, на открытых партсобраниях и в закрытых залах суда, в подвалах Лефортово и в лагерях далекой Колымы, найдя свое конечное воплощение в бессмертных литературных памятниках тридцатых-сороковых годов, в недрах которых захоронено столько таланта и сверкающей игры воображения?..

...Я вручил ей свои несчастные листки и стоял, в ожидании казни. Я ни минуты не сомневался: она высмеет меня, не оставит камня на камне! Я действительно разбил свое сочинение на три главы: 1) мои идеологические колебания, 2) мои партийные связи, 3) социальные корни моих ошибок. Я вытаскивал на свет Божий все, что попадалось мне под руку — знакомства, переписку, встречи — все взвешивалось и сортировалось и с каким-нибудь ярлычком бросалось на чашку весов. Получилось не очень жирно. Но кое-что я все же наскреб. Я, например, вспомнил, что в тридцать четвертом году побывал на банкете у Хохлова, того самого — в тридцать седьмом его посадили. Банкет прошел с помпой, обмывали докторскую, кто уж туда затесался — один Господь Бог ведает, конечно, — дружки всякие, нетрудно представить. Другой компрометирующий факт более раннего происхождения: в тридцать втором году секретарь Подольского района партии, Цыганков, рекомендовал меня на выдвижение, где-то должна была сохраниться составленная им характеристика, он возносил меня до небес. Впоследствии Цыганкова сняли, перевели на низовую работу, ну, а в данный момент — вряд ли он мог уцелеть. Я вспомнил этот

случай, записал тоже. Я раскопал еще какие-то фамилии — весьма отдаленное, правда, отношение — все это я включил в главу «антипартийные связи». В главе «идеологические колебания» я подчеркнул проявленное мной в двадцать седьмом году примиренчество, в самый разгар борьбы против троцкизма. Я указал, что в отношении колеблющихся допускал тогда методы уговоров, скатываясь, таким образом, в болото беспринципного либерализма. В разделе «социальные корни» я ограничился одним, правда, фактом, но все же. Я припомнил, что дед мой по материнской линии, земский врач и либерал, Альфред Германович Штюрмер, состоял в отдаленном родстве с родом Штюрмеров, к каковому принадлежал махровый монархист и царский министр А. В. Штюрмер, о чем мной не было сообщено в моей автобиографии. Документ получился не такой уж куцый, хотя и половинчатый и, до некоторой степени, беззубый: на каждом шагу оговорочки, вроде того, что «не мог я предполагать», «я не предвидел значения», «я никогда не допускал» и т. д., и т. п.

Всего же больше меня пугало то обстоятельство, что я не удосужился написать хоть что-нибудь про Борьку, я все откладывал под конец, все тянул — и дотянул. Я был почему-то уверен, что это именно ей бросится в глаза прежде всего и как, интересно, буду я тогда выглядеть? С моим характером — лучше не испытывать судьбу, не ждать, пока тебя потянут за язык. Тем более, что далеко нет уверенности, как Борька, не опередит ли, не побежит ли первый...

Я не сразу понял, что произошло. Вскочив с места, с искаженным лицом, она рвала на клочья

мою стряпню. Она не произносила при этом ни слова, она только рвала и бросала, и снова рвала. Она не спускала с меня глаз, как бы давая понять, что не показания мои, не листочки мои — меня самого, отношения свои со мной она разрывает, выбрасывает, как мусор.

Я в страхе пригнулся, ожидая, что она вот-вот начнет швырять в меня чернильницы, ручки, бросится сама. Она, действительно, замахнулась; я шарахнулся, но не опустила руку, бросила под стол.

— Все как один, — простонала она, — спелись! Одна шайка!

Она упала на стул. Не успел я опомниться, как конвоир, неизвестно откуда появившийся, уже подталкивал меня, выпроваживая вон из кабинета. Мы были в дверях, когда она скомандовала мне вернуться. Она сидела, склонившись над столом и прикрыв лицо руками. Вид у нее был какой-то потерянный.

— Пишите, — сказала она, сделав конвоиру незаметный знак выйти. — Пишите, — повторила она и остановилась. Через минуту, встряхнувшись, она решительно закончила: — Прошу назначить другого следователя... Понятно?

Я не шелохнулся. Меня охватило, как прежде, чувство вины и раскаяния. К этому примешалось, совсем уже неожиданно, еще что-то. Жалость какая-то вдруг вылезла.

— Пишите же, ну! — голос ее дрогнул.

— Поверьте, — осторожно начал я.

— Ваше право, — произнесла она менее уверенно, — можете требовать замены...

— У меня никаких намерений, — продолжал я, — изворачиваться, лгать... Маневрировать...

Я стал убеждать ее, вроде даже утешать. Она слушала мрачно, поглядывая на меня украдкой. Наконец сказала:

— С вами уху не сварить. — Она нажала кнопку и поднялась с места. — Вас оставят в покое, — прибавила она, — я ставлю точку, понятно? Вы больше не нужны... Уведите арестованного, — приказала она вошедшему конвоиру.

Я повернулся уходить и почувствовал в руке у себя пачку папирос.

Я возвращался к себе в совершеннейшем смятении. Несмотря на позднее время, я был уверен — Борька караулит, поджидает меня, и это, признаться, как-то даже импонировало мне. Я не собирался ни с кем делиться, плакать в жилетку, нет. Просто — сознание, что кто-то там, в камере, ждет тебя, интересуется тобой... очень уж тошно было после этой ночи. В частности, меня напугали последние ее слова, я не знал, как понимать: «вы больше не нужны».

...Никто в камере меня не встретил и не караулил, напрасно я вообразил. Все же, улегшись, я стал поджидать, засыпать не имело смысла — Борька все равно появится, разбудит. Он, однако, как на грех, не шел, и это вызывало щемящую тревогу, не вязалось с Борисом: не может этого быть, чтобы он, просто так, без особых причин, не воспользовался моментом после допроса. Я мучительно напрягал слух, мне не лежалось, я готов был уже взять инициативу на себя, подкрасться к нему, проверить: а спит ли он? Вдруг я услышал шаги, они приближались именно оттуда, со сто-

роны Борьки — я закрыл глаза, притворился. Он подошел к самому изголовью моему, стал рыться, шарить под подушкой. Я вскочил — надо мной склонялся ксендз, я мгновенно узнал его долговзую фигуру. Он подсовывал мне под подушку какой-то сверток в белой обертке. Я поймал его за руку:

— Что это значит?

— Спробуйте, — прошептал он, — домашнее...

— Уберите, — вырвалось у меня.

Борькины номера, подумал я со злостью. Парламентареры... Тоже неспроста!

Ксендз стоял с протянутой рукой, с этой белой тряпицей, как просящий подаяния.

— Из деревни, — оправдывался он, — мать прислала... Колбаса, пирожочек, покушайте...

— Спасибо, не надо, — проворчал я, отворачиваясь. — Он, должно быть, оставался еще, не уходил. Потом я услышал, он произнес очень тихо, шепотком:

— Помогите вам Бог!

(Продолжение следует)

БОГОРАЗ Иосиф Аронович — родился в 1896 году в городе Овруг Волынской губернии. В 1919 году вступил в партию. До 1936 года преподавал экономику в Харьковском и Киевском университетах. Затем был обвинен в троцкизме, арестован и осужден на пять лет лагерей (1936 — 1941). С 1941 по 1957 гг. отбывал ссылку в Заполярье.

В 1957 году реабилитирован, восстановлен в партии. В 1974 г. Богораз вышел из партии, мотивировав это в заявлении так: «В связи с убеждениями, несовместимыми с пребыванием в партии».

Писать начал в конце 50-х годов. В ближайшее время в одном из западных издательств выходит его роман «Отщепенец».

«SVĚDECTVÍ»

«СВИДЕТЕЛЬСТВО»

С 1956-го года выпускается (сначала в Нью-Йорке, затем в Париже) чехословацкий литературно-политический журнал *Svědectví*. Как и польская «Культура», выходящая в Париже, и венгерский «Irodalmi Újság», «*Svědectví*» выражает взгляды национальной интеллигенции. Многие из авторов журнала живут в Чехословакии и пишут под псевдонимом. В нем сотрудничают писатели, журналисты, ученые, художники всех политических течений, направленных против тоталитаризма и репрессий. Журнал подпольно распространяется в Чехословакии и пользуется большой популярностью.

Вот уже двадцать лет, как официальная пропаганда нападает на «*Svědectví*», но в то же время она вынуждена полемизировать с этим журналом.

Перерывом в этой полемике явилась восьмимесячная «Пражская весна», когда несколько отечественных газет положительно отозвалось о «*Svědectví*» и когда некоторые реформистские круги требовали, чтобы журнал свободно распространялся на родине.

В номере 48-ом этого журнала публикуются видные деятели в области политики и литературы из восточных и западных стран. Появление «Континента» поможет тесному сотрудничеству между журналами «*Svědectví*», «*Kultura*» и другими политико-литературными изданиями. Тем более, что у них одни и те же цели. Как уже заявлено нами: «Главной своей задачей «*Svědectví*» ставит перед собой обсуждение всех проблем, касающихся Чехословакии. Журнал служит трибуной, позволяющей чешской и словацкой интеллигенции свободно выражать свои мысли и печатать свои произведения. «*Svědectví*» осведомляет читателей, о чем думают их соотечественники за границей. Журнал также публикует неизданные статьи и перепечатывает тексты, представляющие особый интерес, и таким образом, «информирует общественность о главных политических и литературных вопросах нашего времени».

Стихи

Наум Коржавин

CREDO

Надоели потери.
Рознь религий — пуста.
В Магомета я верю
И в Исуса Христа.

Больше спорить не буду
И не спору давно,
Моисея и Будду
Принимая равно.

Все, что теплится жизнью,
Не застыло навек...
Гордый дух атеизма
Чту — коль в нем человек.

Точных знаний и меры
В наши нет времена.
Чту любую я Веру,
Если Совесть она.

Только чтить не годится
И в кровавой борьбе
Ни костров инквизиций,
Ни ночей МГБ.

И ни хитрой дороги,
Пусть для блага она, —
Там под именем Бога
Правит Суд сатана.

Человек не бумага —
Стёр, и дело с концом.
Даже лгущий для блага —
Станет просто лжецом.

Бог для сердца отрада,
Человечья в нем статья.
Только дьяволов надо
От богов отличать.

Могший верить и биться,
Той науке никак
Человек обучиться
Не сумел за века.

Это в книгах и в хлебе
И в обычной судьбе.
Чёрт не в пекле, не в небе —
Рядом с Богом в тебе.

Верю в Бога любого
И в любую мечту.
В каждом — чту его Бога,
В каждом — чёрта не чту.

Вся планета больная...
Может, это — навек?
Ничего я не знаю.
Знаю: я человек.

1957 г.

ДВАДЦАТЫЕ ГОДЫ

*Удрученный ношей крестной
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя.*

Ф. И. Тютчев

Крепли музы, прозревая,
Что особой нет беды,
Если рядом убивают
Ради Веры и Мечты.

Взлет в надеждах и в законах:
«Совесть — мать всех оков...»
И романтик в эшелонах
Вёз на север мужиков.

Вёз, подтянутый и строгий,
Презирая гнет Земли...
А чуть позже той дорогой
Самого его везли.

Но запутавшись в причинах,
Вдохновляясь и юля,
Провожать в тайгу невинных
Притерпелась вся земля.

Чьё-то горе, чья-то вера. —
Смена лиц, как смутный сон:
Те — дворяне, те — эсэры.
Те — попы... А это — он.

И знакомые пейзажи,
Уплывая в смутный дым,
Вслед ему глядели так же,
Как недавно вслед другим.

Равнодушно... То ль с испуга,
То ль, как прежде, веря в свет...
До сих пор мы так друг друга
Всё везём. И смотрим вслед.

Видно, правда, с ношей крестной,
Веря в святость наших сил,
Эту землю Царь Небесный,
Исходив, благословил.

Но за Ним — купаясь в славе
Не своей — сквозь чувств накал,
Срок спустя,
на тройке дьявол,
Ухмыляясь, вслед скакал.

1970 г.

В ЗАЩИТУ ПРОГРЕССА

(Западным левым и московским «славянофилам»)

Когда запрягут в колесницу
Тебя, как скота и раба,
И в свисте кнута растворится
Нерайская с детства судьба,

И всё, что терзало, тревожа,
Исчезнет, а как — не понять,
И голову ты и не сможешь,
И вряд ли захочешь поднять,

Когда все мечты и загадки,
Порывы к себе и к звезде
Вдруг станут ничем — перед сладкой
Надеждой: поспать в борозде,

Когда твой погонщик, пугаясь,
Что к сроку не кончит урок,
Пинать тебя станет ногами
За то, что ты валишься с ног,

Тогда, — перед тем, как пристрелят
Тебя, — мол, своё отходил! —
Ты вспомни, какие ты трели
На воле резвясь, выводил.

Как, следуя голосу моды,
Ты был вдохновенье само —
Скучал, как дурак, от свободы
И рвался — сквозь пули — в ярмо.

Бунт скуки! Весёлые ночи!
Где знать вам, что в трубы трубя,
Не Дух это мечется — хочет
Бездушье уйти от себя.

Ища не любви, так заботы,
Заняться — страстей не тая...
А Духу хватило б работы
На топких путях бытия.

С движеньем веков не поспоришь,
И всё ж — сквозь асфальт, сквозь века, —
Всё время он чувствует, — сторож! —
Как топь глубока и близка.

Как ею сближаются дали
Как — пусть хоть вокруг благодать, —
Но люди когда-то пахали
На людях — и могут опять.

И нас от сдирания шкуры
На бойне — хранят, отделив,
Лишь хрупкие стенки культуры,
Приевшейся песни мотив.

...И вот, когда смыслу переча,
Встаёт своеволия волна
И слышатся дерзкие речи
О том, что свобода тесна,
Что слишком нам равенство тяжко,
Что Дух в мельтешенье зачах...
Тоска о заветной упряжке
Мне слышится в этих речах.
И снова всплывает, как воля,
Мир прочный, где всё — навсегда:
Вес плуга... Спокойствие поля...
Эпический посвист кнута.

1971 г.

**
*

Люди могут дышать
Даже в рабстве... Что злиться?
Я хочу не мешать —
Не могу примириться.

Их покорство — гнетёт.
Задыхаюсь порою.
Но другой пусть зовёт
Их к подъёму и к бою.

Мне в провалах судьбы
Одинаково жутко
От покорства толпы
И гордыни рассудка.

Ах, рассудок!.. Напасть!
В нём — при точном расчёте —
Есть капризная власть
Возгордившейся плоти, —

Той, что спятив от прав,
В эти мутные годы
Цепи Духа поправ,
Прорвалась на свободу.

Ничего не любя,
Вдохновенна до дрожи,
Что там Дух! — И себя
Растоптать она может.

И ничем не сыта,
Одурев от похабства,
Как вакханка кнута,
Жаждет власти иль рабства.

Вразуми нас, Господь!
Мы — в ловушке природы.
Не стеснить эту плоть,
Не стесняя свободу.

А свобода — одна.
И не делится, вроде.
А свобода — нужна! —
Чтоб наш Дух был свободен.

Без него ж — ничего
Не достичь... В каждом гнёте
Тех же сил торжество,
Власть взбесившейся плоти.

Выбор — веку подстать.
Никуда тут не скрыться:
Драться — зло насаждать.
Сдаться — в зле раствориться.

Просто выбора нет.
Словно жаждешь в пустыне.
Словно Дух — это бред
Воспалённой гордыни.

Лучше просто дышать,
Понимать и не злиться.
Я хочу — не мешать.
Я — не в силах мириться.

1972 г.

**
*

От созидательных идей,
Упрямо требующих крови,
От разрушительных страстей,
Лежащих тайно в их основе,

От звезд, бунтующих нам кровь,
Мысль облучающих незримо, —
Чтоб жажде вытоптать любовь
Стать от любви неотличимой,

От Правд, затмивших правду дней,
От лжи, что станет им итогом,
Одно спасенье — стать умней,
Сознаться в слабости своей
И больше зря не спорить с Богом.

1968 г.

МОЙ КОНСУЛЬТАНТ БОЛОТИН

Рассказ

Болотин — мой консультант по заказному фильму. В последнее время я оставил свою инженерную специальность и зарабатываю тем, что пишу так называемые з а к а з н ы е сценарии. Вся прелесть здесь в том, что с тобой сразу заключают договор, ты ничего не должен выдумывать, никаких заявок редакторам студий не носить, короче, ты не должен имитировать творческое горение ради получения аванса. Какая прелесть — подобное существование — ах, моя родная советчина, неужели я ускользаю из твоих объятий? За меня уже подумали в каком-то там министерстве, даже написали заявку — «Низковольтное оборудование пассажирских вагонов», учебный фильм, две части. Деньги выделили. Лакомый кусочек — ничего не скажешь! Настоящие сценаристы-популярники, то бишь творческие люди, считают такую работу делом второстепенным, якобы даже вынужденным. Как-то вроде бы стесняются о них говорить — об этих самых заказных сценариях, — а если говорят, то с пренебрежением. Но — берут почему-то. Может быть, только для того, чтобы потом иронизировать по поводу тупости заказчика и невозможности реализовать интересную задумку, — «ведь вот предложил им ход, так нет! Уперлись — и железобетонная тупость! Что с ними поделаешь, ха, ха!» Несомненно, творчески уважающие себя сценаристы берут заказные фильмы, только чтобы еще раз бле-

стяще и неопровержимо доказать, что с консультантами, которые диктуют свои министерские условия, можно сделать только ужасный фильм. Или снисходят из доброты душевной?

Но вот вырвать, урвать из пасти таких вот творческих личностей заказной сценарий — попробуй-ка!

Но мне вот уже два года — удастся. То есть не урвать, конечно, а благодаря одному человеку, который с меня урывает, — удастся существовать на заработки с заказных фильмов, а в промежутках — писать.

Итак, я получил аннотацию и иду к консультанту. Здание Министерства путей сообщения. Показав охраннику паспорт, назвав отдел, в который иду (еще одна сеть для диверсанта-шпиона: может, забудет, в какой отдел направляется для шпионско-диверсионной работы), поднимаюсь на третий этаж, попадаю в нужную комнату.

Первое открытие: Болотин — еврей. Почему сразу не сообразил, когда договаривался с ним по телефону и слышал столь явный быстро-картавый говор? Не первый ли признак болотинского наваждения? Но сейчас, — не успевает Болотин рта раскрыть, не успевает, наверное, и слова замыслить, как я определяю, что он есть, каковы будут наши отношения. Несомненно и он определяет мне цену, видит интуитивно всю антипатию, которая возникнет между нами, все наши стычки, споры, молчаливые ухмылки и откровенное презрение. Первое мгновение общения незнакомых людей имеет огромное значение и несет в себе тайну полного узнавания друг друга, — впрочем, тайна не в этом. Тайна в том, что это узнавание существует само по себе, а человеческие реальные отношения — сами по себе, и так до тех пор, пока они снова не сольются в одной точке, — но уже когда получают реальное себе подтверждение из жизни. Какое-то темное облачко мешает нам увидеть то, что мы ясно видим,

услышать то, что мы превосходно и отчетливо слышим. Только такое странное создание, как человек, может совершить столь странную, невозможную вещь: шествуя по горизонтали, все-таки взять отсчет по вертикали!

— А-а, товарищ Суконик, Александр Юльевич? — спрашивает Болотин, разворачиваясь боком и высывая маленькую, как ласт водоплавающего животного, руку. (Позже я узнаю, что это не дефект рождения, а результат ранения на войне.) Сразу возникает неизбежное чувство неловкости, которое уже остается на все время нашего знакомства. Но Болотин ничуть не стесняется своего уродства, наоборот, временами бравирует им.

— У меня бесплатный проезд во всех видах городского транспорта! — говорит он. — Что? Вы собирались что-то сказать? Пожалуйста, вам дают слово! Не хотите? Напрасно. Все записавшиеся в прениях могут выступить.

(Это у него такой советско-чиновничий сленг. «Хотите слова? Вам никто слова не давал. Не знаете, а кто знает? Пушкин? Пушкинзон»)

— Значит, не выступаете. Жму вашу руку. Во всех видах городского транспорта, и один раз в год бесплатно в любой конец Советского Союза. Нет, это не по инвалидности, а по службе. Ну как?

Кроме укороченной и деформированной руки, Болотин еще кривобок: не хватает нескольких ребер. Я так настойчиво обрисовываю его физическую неполноценность, потому что тип человека, который в нем осуществлен, нерасторжим в моем представлении с внешним уродством. В памяти всплывают еще два еврея подобного типа — у одного не хватало двух пальцев на ноге, другой был горбат.

Болотин маленького роста, плотен, у него тяжелая голова. Вытянутая шея и всегда задранное к собеседнику небритое лицо придают его фигуре выражение

не то искательности, не то стремительности. Те двое тоже были полны напора и энергии.

— Суконик, Александр Юльевич? — не то иска-
тельно, не то стремительно спрашивает Болотин. Для
него, видимо, представляет удовольствие поставить
под сомнение очевидное.

— Да, как будто я, — улыбаюсь я в ответ.

— Товарищ Суконик, киносценарист?

— Вероятно.

Я продолжаю улыбаться, но вдруг непроизвольно
начинаю фантазировать: а что если действительно я
— это не я? Почему некто Болотин де й с т в и т е л ь -
н о должен верить некто я, называющему себя Су-
коником Александром Юльевичем? Только потому,
что некто пришел именно тогда, когда была назначе-
на встреча Болотина с Сукоником? Но ведь возможно
простое совпадение...

— Сегодня звонил вам... — говорю я, право же
всерьез начиная подыскивать доказательства тождест-
венности самому себе.

— Да, да, — совершенно верно, звонили сегодня,
— иронично подтверждает Болотин.

— Нет, но позвольте, — вы что же, не верите, что
я это я?

— Почему не верю? М о ж н о и поверить, хе, хе...

— Но тогда... А! Ха! Ха! Вы меня разыгрываете,
а я, как дурачок, оправдываюсь! Я ведь легко подда-
юсь розыгрышам! Еще с детства, знаете.

— Ну вот, если еще с детства, так что же вы от
меня хотите? Какие же можете предъявить претен-
зии? — иронично-нахально заявляет Болотин.

Я несколько растерян, сбит с толку (не этого ли
он интуитивно добивался?).

— Да, да, конечно... Я ничего... Но в общем, шутки
шутками, а надо начинать работать: сроки поджима-
ют, — перехожу я к делу. — Вообще говоря, нам дав-
но бы надо встретиться...

— Позвольте, а я при чем? — прерывает Болотин. Видно, он решил, что я предъявляю претензии, а это недопустимо. Его лицо чернеет и грубеет, как будто туча набежала.

— Нет, нет, вы меня не так поняли!.. Никаких претензий. Просто обрисовываю ситуацию.

(Хотя претензии могли бы быть: уже три недели добиваюсь встречи, но он то в командировке, то занят).

— Ну хорошо, — делает отмечающий жест Болотин. — Как говорится, ближе к телу. Чего вам нужно, чего вы хотите?

— То есть как?

Я чувствую, что несмотря на огромное нежелание ссориться, кажется, не выдерживаю.

— Я имею в виду, что вы хотите от меня сейчас, сегодня, что я должен вам дать, разъяснить, показать.

Пауза. Мы смотрим друг на друга. В сущности, сейчас решается, удовлетворюсь ли я тем шажком назад, который сделал Болотин, или попытаюсь перехватить инициативу. У нас с Болотиным равные возможности для отношений, — если разобраться, никто ни от кого не зависит. Оба мы друг от друга зависим и оба зависим от студии, которая платит деньги. И в этом, видимо, главный интерес для Болотина, для его деятельной натуры. Если бы он подчинялся мне по службе или я подчинялся ему, то наши отношения были бы определены точно. А здесь — свобода начинать все с нуля, свобода эксперимента, свобода игры. Кто кого?

— Прежде всего вы должны дать мне инструкции по вагонам, — говорю я, стараясь сохранить уверенность и строгость тона, хотя злость исчезла, вполне удовлетвовавшись болотинским псевдоотступлением. — Я ведь должен знать, о чем писать?

(Мой голос, кажется, похож на голос обиженного ребенка? Э, да плевать!..)

— Одну минуточку! Не все сразу! — выдвигает вперед ладонь Болотин. — Давайте по-деловому, а?

— Конечно, давайте. И я этого хочу.

Ах, хитрец Болотин. Он произнес магическое слово «по-деловому» — знал, чем взять! Вот, вот еще в чем штука! Вот почему я сразу простил Болотину хамство, резкость, черноту лица! Он производит впечатление делового человека, а это в наше время, видимо, так редко и так ценно, что многое можно простить. У меня уже есть опыт работы с консультантами-бездельниками, консультантами-размазнями, консультантами-тугодумами. Но Болотин, несомненно, энергичный еврей, из тех, что «горят на работе», и я надеюсь урвать часть его огня для себя. Такой голод у нас на деловую энергию, такая тоска и стынь, что поневоле хоть руки погреть...

— Значит, договорились? Три инструкции вы получаете сегодня, сейчас, так сказать, из рук в руки... — он делает паузу, чтобы подчеркнуть значительность своих слов. — ...А остальные я подберу вам в течение недели.

— Да, да, разумеется... Пока я разберусь в этих трех.

А ведь Болотин обьегорил меня! Он должен был дать мне все инструкции сразу, прекрасно знал об этом и прекрасно знал, что я знаю. В свою очередь, я прощаю ему и это, потому что если уж деловой человек не подготовил все, то неделовой ничего бы не подготовил... Так я думаю. И потому делаю вид, что не знал... Допустим, допустим, я действительно так думаю, а не обманываю себя, ища причину и оправдание капитуляции перед болотинским напором...

— Получайте, читайте, разбирайтесь. Есть еще ко мне вопросы?

— Пока вроде бы нет.

Лицо Болотина меняется. Официальная часть окончена.

— Александр Юльевич, вы не спешите?

Такой Болотин уже промелькнул при встрече: откровенно любопытствующий, чуть ли не приветливый. Тот, официальный, уже свое получил, урвал. (Интересно все-таки: действительно ли нет у него всех инструкций, или специально не дал, чтобы насладиться выигранной игрой?) Теперь — очередь любопытствующего.

— Знаете, Александр Юльевич, я только позвоню в одно место, и мы с вами вместе выйдем. Закрутился, знаете, такой сумасшедший день был, это недолго. Вы в какую сторону? Как едете?

Тяжелое лицо Болотина собирается в кривые складки, обозначающие искательную улыбку. И опять я не могу отказать ему: ведь только познакомились! И опять он выигрывает!

Болотин набирает номер, прижимая трубку плечом к уху. Известная манера обращения с телефоном: одновременно слушать, листать какие-то бумаги и записывать что-то. Двадцатые годы, темп пятилеток, «Волга-Волга», — Ильинский-Бывалов, еврейский темперамент, материализовавшийся в песнях Дунаевского — «Легко на сердце от песни веселой...» А кому не легко — какое он имеет, собственно, право — того легко к ядрене-фене... Да здравствуем мы!

Сейчас Болотину нечего листать, нечего записывать, и он чистит ногти — не терять же времени даром.

— Занято. Ну-ка, попробуем еще раз... О!.. Алё! Ленинград? Фирсову можно позвать?.. Скажите, Болотин.

Ого, он — по междугороднему! Не надолго ли это? Пока зовут Фирсову, часть Болотина, обращенная к внешнему миру, с любопытством затевает со мной разговор.

— Вы что, Александр Юльевич, на киностудии, значит, работаете?

— Ммм... Видите ли, не то чтобы на киностудии, но в общем, да, на киностудии.

— То есть, как это понять — в общем? По совместительству, что ли?

— Да нет... Видите ли, я не числюсь на постоянной службе. Я работаю дома.

— То есть как — дома?! Надомником, как портнихи, хе, хе?

— Да, что-то вроде этого. Со мной заключают студии договоры, а я пишу.

— Позвольте, а трудовая книжка как? — весело недоумевает Болотин.

— Ну как... Дома лежит.

— Постойте, Александр Юльевич, это все очень интересно, мы еще должны поговорить! Не уходите!.. Алё! Да, это я!

И он начинает разговор, который длится целую вечность. Временами Болотин, хитрец эдакий, гримасничает, разводит руками, ничего, мол, не поделаешь, собеседница держит, но врет, врет. Ведь я слышу: инициатива разговора непрерывно исходит от него. Он не хочет терять удовольствие от телефонного разговора, он не хочет терять удовольствие от предвкушаемого разговора со мной.

— Ну, так что? — кричит он. — Нет, позвольте, одну минуточку! Я звонил в восемь часов вам, потом в половине девятого. У меня есть свидетели, могу дать трубочку!.. Да-а, вы как думали? Полагаете, Болотина легко провести? Так вот, интересно, где вы были, если на рабочем месте вас не было больше часа?

С кем это он? Служебные дела или флирт?

— А между прочим, с моей стороны в отношении известного вам дела все в порядке. Не думали? Такого обо мне плохого мнения?.. Ах, не думали, что так скоро! Это уже другое дело. Так вот, запомните: фирма Болотин и компания работает быстро и надежно!..

Видимо, по службе?

— ...Но вы не должны были ходить туда. Ведь я предупреждал! Нет, минуточку, предупреждал или нет?.. А-а, то-то... Вот видите! Ай, ай, ай. Она вообще не должна была с ним беседовать. А теперь, наверное, лежит с сердечным приступом? Как она себя чувствует?.. Мг... Нет, сегодня приехать не могу. Срочно вызывают в Рязань на расследование крушения... К сожалению, да...

Нет, нет, пожалуй, с родственницей.

— ...Но в следующую субботу буду, учтите!.. Что? Ха, ха... (взгляд исподлобья на меня, как будто я мог услышать, о чем они). Да, да, конечно! Одну минуточку, сейчас уточню... (смотрит какие-то записи в настольном календаре). Точно. Пятница-суббота, как штык!.. Одну минуточку, я вас когда-нибудь подводил?.. По-одводи-и-ил? Скажите пожалуйста, какая злопамятная! Ну, ладно, знаешь, у меня не разговаривать, а то... Я бы сказал кое-что, просто у меня тут сидят... Кто сидит? Не волнуйтесь, не волнуйтесь, Суконик Александр Юльевич, киносценарист. Не поняла? К-и-н-о-с-ц-е-н-а-р-и-с-т.

С усмешкой подмигивает мне.

— ...Не верите? Могу дать трубочку. — А-а, то-то. Ну ладно, пока. Будьте здоровы, я позвоню перед тем, как выехать.

Так с кем был все-таки разговор: с родственницей, любовницей или по службе? Нет, но какое представление он устроил себе на услаждение! Ведь я нужен был еще и для того, чтобы участвовать в разговоре в качестве зрителя, к которому можно апеллировать, подмигивая, то мнимо ища сочувствия, то иронизируя. Подмигивать, морщить лоб, двигать бровями, гримасничать...

...Но неужели — с бабой? Неужели находятся бабы, что спят с таким уродом?..

Болотин — консультант фильма. А есть еще главный консультант: какой-то не то Главный Эксперт по Службе безопасности движения, не то, наоборот, Главный Начальник безопасности экспертиз, не то вообще Главный безопасник по экспертизам опасности... Короче говоря, я сразу понимал, что он — фигура фиктивная, к настоящей работе уже не снисходящая, — поэтому не ходил к нему. Но оказывается, что представиться все-таки надо, и вот Болотин ведет меня министерскими коридорами к главному консультанту.

Стучимся, входим. Маленькая комнатка. Но отдельная. Но такая же унылая, обшарпанная и голая, как все остальные здесь (вот в чем неожиданно проявляется в нашей стране равенство: в чиновничьих конторках, комнатах, кабинетах. Разумеется, за исключением кабинетов самых больших начальников).

— Иван Лукьянович, можно?

— Можно, входите.

Приближаемся к столу. За столом сидит Иван Лукьянович, эдакий полный круглолицый пожилой мужчина с хитрыми, прищуренными глазками. Я называю себя, он чуть кивает, не удосуживаясь даже взглянуть в мою сторону. По всему видно, этому человеку не только мозгами, но и пальцем пошевелить лень.

— А-а, ладно... — говорит он Болотину. — Ну как, разобрались уже... в этом, в аннотации?

Звучит это так: мол, разобрались между собой, жидки? От меня, надеюсь, ничего не потребуется?

— Да, все в порядке, Иван Лукьянович, — отвечает Болотин подчеркнуто подобострастно. Странное дело: именно подобострастие Болотина обозначает границу холодной корректности, этот маленький человек умеет разговаривать с начальством.

— Ну, так действуйте, — откидывается в кресле Иван Лукьянович. Он продолжает улыбаться, но, конечно, не нам. Его улыбка скорей адресована окружа-

ющим предметам — и опять-таки не потому, что окружающие предметы так уж хороши, просто они «свидетели живые» благодушного, благополучного, превосходно исполненного существования своего хозяина. Иван Лукьянович, право же, оживляет скучную казенную утварь ласковым прищуром глаз, дымком от сигареты, излучением довольства.

— Да, между прочим, — вдруг вспоминает что-то он, наклоняясь вперед, озабоченно вынимая изо рта сигарету. Выдвигает ящик стола, шарит рукой по газете, покрывающей дно, извлекает какой-то кусочек бумаги. Могу поклясться, что в ящике, кроме этой бумажки, ничего не было. — Вот, возьми... — протягивает Болотину. Движение головой в мою сторону:

— Пусть познакомится, учтет.

С хитрой своей улыбкой, наклонившись вперед, ждет, пока Болотин прочтет бумажку. Хотя не знаю, что в ней, определенно ощущаю, что чувшь. Потом узнаю, что там несколько пунктов из инструкции по технике безопасности, не шибко грамотно переписанных.

Болотин кончил читать, складывает бумажку.

— Понял вас, — коротко говорит он. — Учтем все. Больше нет никаких указаний?

— Нет, — буркает Китов, откидываясь на спинку стула и снова запихивая сигарету в рот. Он явно доволен. Ведь он хотел шутки, представления, а Болотин своим официальным тоном показал, что не принимает шутки. Конечно, же Китов отлично знает цену своей бумажке, точно так же, как знает цену своему положению. Он мог бы вообще не тратить усилий — даже на переписывание инструкции. С другой стороны, он как будто должен показать видимость работы, и вот показал. Но тонкость заключается именно в том, что Китов протянул бумажку улыбаясь. Ведь он в сущности улыбался над самим собой, над обязательностью правил, вообще над всем. И тем

самым предложил Болотину единение по-русски, единение над всем и помимо всего, то самое русское единение, странное и невозможное для других, но то единственное единение, которое оправдывает или объясняет по крайней мере все, что происходит в России. Холуй объединяется с начальником, пусть на мгновенье, но действительно объединяется, а где еще возможно такое единение? Вот только от одного нужно отказаться, от нутряной надменности, а это не для еврея, да еще такого, как Болотин. С Болотиным не сравнишься, хоть бы на сто рангов выше него стоял!

— Понял вас, — коротко говорит Болотин, и Китов отброшен на сто рангов — пусть даже вверх — какая разница?

На этот раз улыбаюсь я, разумеется втихомолку, — потому что осознаю парадоксальность ситуации: а ведь нормальным было бы то положение вещей, когда сверху бы был Болотин, а Китов у него в холуях! Оба они не понимают даже, насколько хотели бы поменяться ролями. Насколько естественней для еврея давить сверху, а для русского изголяться в психологических претензиях снизу? Ну да, еще раз: что с того, что Китов отброшен на сто рангов кверху, ведь главного-то, чего так ждала его душа, он не получил?

...Да, но вот еще насчет Болотина... Надменность — несомненно его черта, но разве это черта всего еврейства? Куда же тогда девать тихих шолом-алейхемовских евреев? Ах, да: вот в чем дело, опять за-был. Ведь иудаизм вечно двоится в моих глазах, претворяется вокруг в двух противоположных ипостасях. Но так было и в начале: «...и она зачала, и родила Каина, и сказала: приобрела я человека от Господа. И еще родила брата его, Авеля». Нет, Каин и Авель еще и не иудеи, а вот потом, потом... И тут тихая усталая мысль: а не отдать ли всех, всех так любимых мной пророков, начиная с Илии, всех этих бунтарей за Вооза, кротко веселящего сердце свое? Что же де-

лать, если наш роковой опыт — это опыт еврейского бунтарства, — того и совсем иного, — роковых бунтарства и напряженности, явившихся вдруг миру в отнюдь не библейском облике...

...Но сейчас другое, сейчас — Болотин. Я вдруг вспоминаю чеховскую «Степь» и двух братьев-евреев на постоялом дворе: Моисея Моисеевича и Соломона. Моисей Моисеевич, этот кроткий Вооз, написанный гениальной рукой брезгливого го я, написанный со стороны, и — Соломон... «...Что я поделываю? — переспросил Соломон и пожал плечами. — То же, что и все... Вы видите: я лакей. Я лакей у брата моего, брат лакей у проезжающих, проезжающие лакеи у Варламова, а если б я имел десять миллионов, то Варламов был бы у меня лакеем». Вот оно, чеховское брезгливое, но гениальное провидение: Соломон — предтеча будущих комиссаров. Теперь я прослеживаю линию, считываю родословие, — черное родословие сынов израилевых в наши дни. Да, да, вот оно: Соломон породил комиссаров, комиссары посмеялись над его душевной наготой, наивной прямолинейностью и упрямости в желтый дом. Комиссары породили наркомов, те поставили комиссаров к стенке, сослали в лагеря. Наркомы породили... кого? Да его, разумеется, Болотина, — кого еще! Вот он, жалкий последыш линии, ее гаснущее окончание... А что дальше?

— Ну как, получили цу, знаете, что делать дальше? — спрашивает Болотин, когда выходим от Кирова.

— Да-а, получил... — улыбаюсь я.

— Не обращайтесь внимания, он все подпишет, когда мы с вами сделаем сценарий, — задирает свое тяжелое лицо Болотин, оборачиваясь одновременно назад — он бежит, как всегда, впереди, я еле успеваю за ним по министерским закоулкам.

— Да, когда сделаем сценарий, — повторяю я, улыбаясь.

— Кстати, не хотите есть? У нас тут есть столовая. Вы ведь не обедали?

— Но я, может быть, лучше дома...

— А вы ведь не знаете, как а я у нас столовая. В городе вы таких столовых не видели! Вы знаете, какая у нас дешевая столовая? Ха, ха.

И не дожидаясь твердого согласия, он влечет меня коридорами все дальше и дальше, вправо, влево, вверх, вниз. Мы попадаем в столовую, одно из мест, где особенно сказываются советские привилегии. Я благодарен Болотину не столько за то, что наелся довольно хорошо на восемьдесят копеек, но еще и за информацию. Теперь буду знать: при случае можно проникнуть в министерство, показав паспорт и назвав комнату номер., и сносно поесть. И все-таки — поскорей бы выбраться отсюда, из тоскливого холодного помещения... Поэтому когда, наконец, выходим с Болотиным на улицу, меня затхлый запах министерства на бензинный чад Садового кольца, — радуюсь. Больше воли, больше пространства. Болотин же, наоборот, явно недоволен. Он, как крот, улица для него неуютна, тревожна.

— Вчера мы долго спорились, — говорит Болотин, корча одну из своих гримас. В складках его щек западают черные тени, он морщит рот, потирает щетину, выросшую за день. Мне кажется, что специально ищет такую тему разговора, чтобы хоть мысленно вернуться обратно, в министерство.

— Значит так, было открытое партийное собрание, все переругались, а потом члены партии остались и сильно спорились.

— О чем же?

— А о том, когда было больше порядка: теперь или раньше.

— Когда это, — раньше?

— При Иосифе Виссарионовиче!

— Вот как!.. Ну и что же?

— И пришли к выводу, что раньше было больше порядка.

— Да? — говорю я, стараясь подавить возникающие во мне чувства. Подавить, чтобы прорваться, верней, **вырваться** из кольца вдруг охватившей безнадёжной тоски.

— Не было такого борделя, как теперь, — заявляет Болотин, обращая ко мне свое задранное вверх лицо.

— Мг... Может быть... Но ведь потому, что если чуть что не так — и к стенке? — говорю я, подыскивая логические аргументы и тоскливо понимая, что они не имеют никакого значения. Не в них дело, не в них объяснение моего отращения к Болотину, к тому, что называется сталинизмом или ещё как.

— Ну и что ж! — едва ли не задорно встряхивает головой Болотин. — Зато — порядок! А если нарушил — ну, что ж, ответь.

Тоска ещё и оттого, что Болотин сравнительно молод, начало его сознательной жизни пришлось на последние годы войны, а ведь сразу после войны началась кампания космополитизма. То есть внешние условия могли подтолкнуть Болотина гораздо больше к оппозиционному настроению, чем к ортодоксии... Впрочем, что же это я: опять к логике!

— Ну, а если вас, Зиновий Моисеевич, к стенке, что тогда?

— Ничего тогда. Заслужил — значит, так и надо, — опять задорно встряхивает головой Болотин. И тоска моя ещё от того, что я знаю — он прав, он не просто демагогичен. То есть, разумеется, каждый при Сталине или ещё при ком другом таком же надеется, что придет черед всех, кроме него самого, — но все равно, этот каждый готов распроститься с жизнью гораздо легче, чем сам полагает — именно как животное, если приводить сравнения... Вот от чего моя тоска, первопричина ее вот в чем гнездится: я знаю, что

наше время — это время именно таких людей, созданных для упрощенного положения вещей, и я в который раз тоскую по времени, когда появились люди, созданные для усложненного положения вещей — вот бы тогда мне жить!

Между тем Болотин снова атакует меня:

— Смотрите, Александр Юльевич! В Великую Отечественную с каким лозунгом шли в наступление? За Родину, за Сталина, за Коммунистическую партию, так?

— Наверное... так что?

— А сейчас? А на Даманском с какими лозунгами шли?

— Откуда мне знать?

— Так. Значит, за Родину осталось, за партию — тоже, — рассуждает, загибая пальцы, Болотин. — За Сталина отпало. Поняли? Одного лозунга нет!

— Ну и что?

— Как, ну и что! Большая разница! — поражается моей наивности Болотин.

— Так ведь Даманского, наверное, совсем и не было, а, Зиновий Моисеевич? — говорю я, но это уж слишком, и Болотин воспринимает мои слова как неудачную шутку.

— Есть, есть Даманский, можете на карте посмотреть. Плохо, вероятно, в школе учили географию. А то, что лозунг потерял, — большое упущение.

Если положить руку на сердце, я понимаю, что хочет сказать Болотин, и, более того, понимаю, что он со своей точки зрения прав. Мне остается только радоваться, что никому уже сейчас в России не нужны люди с иудейским чутьем на идеологию, — тем скорей, быть может, все развалится...

— Зиновий Моисеевич, — говорю я. — А как вы относитесь к так называемому... м-да, еврейскому вопросу, то есть, как допускаете, что в нашем государ-

стве зажимают евреев? И как вы относитесь к государству Израиль?

— Не понимаю, о чем вы, — трет пальцами щеку на щеке Болотин. — Что вы, Александр Юльевич, газету «Правда» не читаете?

— Нет.

— Оно и видно. Вообще никаких газет не читаете?

— Только «Советский спорт».

— Ну вот, а еще хотите о политике разговаривать!

И опять — я понимаю, что Болотин более искренен, чем может показаться. Он, должно быть, действительно не интересуется тем, что так будоражит последние годы всех советских евреев — будь они распрочлены партии или еще кто. Мне почему-то кажется, что у него и приятелей-евреев нет... Не сознательный акт, а стечение обстоятельств и характеров... Он рыцарь одной идеи, пусть изрядно окостеневшей, и — ах! — никогда уже ему не пролететь над Россией на коне — нет, не на белом коне революции, но хотя бы на милицейском тяжелом битюге охранителя нового порядка! Где-то на самом верху решено и подписано... Да, на самом верху...

— Александр Юльевич, вы что, уснули?

— Что?

— Я к вам уже второй раз обращаюсь! — криво усмехается Болотин. — Это все сценаристы такие невнимательные? Я вас вот что хочу попросить: подождать меня минуточку. Во-он в том ларьке продают клюкву, протертую с сахаром и яблоками, мне жена поручила купить.

— Вы знаете, Зиновий Моисеевич, меня дома ждут...

— Ну что ж, ждут и подождут. Ведь это — одна минута.

— Так ведь там очередь?

— Никакой очереди, откуда вы взяли? Эти несколько человек? Пф!

Это не первый раз. Я уже казнил себя неоднократно за то, что раскрыл Болотину свой маршрут домой — и оказалось, что наши пути почти совпадают, — но какая странность: не может без компании! Под любым предлогом старается не отпустить меня, а ведь от него не отцепишься. И не то чтобы просит, ведь командует тобой! Требует!

Болотин, семена своими коротенькими ножками, убегает к ларьку. Я не иду с ним, нарочно торчу возле троллейбусной остановки, чтобы подразнить. Я замечаю, как он несколько раз оглядывается с неподдельным беспокойством. В душе я пожимаю плечами: я-то только и люблю, когда меня оставляют одного, мне-то одному только и бродить бы по Москве... Наконец, купив клюкву, Болотин торопится обратно, улыбается издали кривыми складками лица. Улыбаться ему явно непривычно, — просто не идет к его лицу улыбка, не клеится — и потому вдруг действует сильно. То есть, взглядевшись в нее, вдруг понимаешь, что она неподдельна и даже чуть беспомощна. Да ведь именно такую улыбку называют немного детской! Вот как Болотин неожиданно выдает себя. И сразу — мысль: Болотин был когда-то ребенком, умел весело и беззаботно радоваться миру? Да нет, с малых лет был серьезен, играл в басмачей и красных, всегда беря себе роль красного командира, тиранил товарищей, деловито приканчивал их из деревянного маузера. Беспомощная улыбка пришла позже... и появляется очень-очень редко... И вдруг — следующая ступень — вниз и вглубь — в постижение Болотина. Ну да, ведь его родословие, которое выводил, все это, может быть, любопытно, но только сторонняя суть, — суть со стороны, суть типа. А ведь есть не тип Болотиных, есть еще сам Болотин со своей сутью изнутри, со своей правдой, мукой и надеждой. Насчет

его правды и надежды знать ничего не хочу, а вот насчет муки... Как всякий человек, Болотин несет в себе черты, которые должен воплотить от рождения,.. точнее отсутствие некоторых черт, — вот оно! Он должен явить миру пример некоего отсутствия душевной плоти, — и там, где у других чуткая душевная плоть, жадно вбирающая в себя краски мира, у Болотина — каверны, пустоты, стянутые отвратительными рубцами. Найти, нащупать эти рубцы — и можно поставить диагноз, можно отыскивать Болотиных, как прокаженных.

А сколько таких рубцов у каждого из нас?

— Вот и я, Александр Юльевич! Ну как, задержал вас? Болотин не заставляет себя ждать, точно?

— Я и не говорил...

— Говорили, говорили, а если не говорили, значит, думали.

— Что вы...

— Ладно, Александр Юльевич! — (Болотин снова в своем амплуа, и снова между нами те же чувства.) — Плохо вы подкованы политически, я вам скажу.

— А вам, собственно, не все равно?

— Мне? Нет! — ухмыляется он. Мы оба ведем диалог, якобы подшучивая, но диалог наш напряжен и чреват взрывом.

— Зиновий Моисеевич, скажите, пожалуйста, когда вы учились в школе, тоже обязательно с кем-то за компанию ходили в школу и из школы, точно?

— Не понял вас.

— Я имею в виду, что вы человек компанейский? И к руководству массами привыкли? В школе, опять-таки, наверное, секретарствовали в комсомольской организации?

— Да, я был секретарем комсомольской организации в восьмом классе. А потом на фронт пошел, между прочим.

— В каком смысле — между прочим? Упрек мне, что я не воевал?

— Какой же упрек. Вы ведь по возрасту не могли, так?

— Именно, вы угадали.

— А секретарем — был. И таким, как вы, спуску не давал.

— Каким же — таким?

— Индивидуалистам.

— Ого! И как же не давали спуску? — спрашиваю я, хотя мог бы и не спрашивать, а только вспомнить свою школу.

— Прекрасно знаете, как, — резонно угадывает мои мысли Болотин. — Я вам общественное поручение, — а вы — увильнуть. Я вам другое, — а вы в кусты. Тогда мы вам выговор, вызов на общее собрание, а вам — деваться некуда.

— Да, это так... ха, ха!.. А за что? — (Я, кажется, вовлекся в игру несколько слишком, но ничего не могу с собой сделать).

— А почему не выполнили поручения подтянуть отстающего Сидорова?

— Так ведь у меня времени не было, вы прекрасно знаете, что хожу в музыкальную школу, и прекрасно знаете, что Сидоров заниматься не хочет.

— Допустим, мы это знаем, но что с того? Значит, учащийся Суконик должен все себе, а учащемуся Сидорову — кукиш? — (Но и Болотин, по-моему, переступил черту, но и Болотин больно уж вошел в образ).

— Но ведь вы могли дать это поручение Петрову, ведь вы дали его мне не для того, чтобы Сидорову помочь, а чтобы меня помучить!

— А это уже разговорчик за рамками... Это уже интересный разговорчик. Значит, по-вашему, комсомольская организация существует специально, чтобы мучить товарища Суконика?

— Дак ведь это не комсомольская организация, а товарищ Болотин...

— Нет, вы отвечайте по существу. А кроме того, хоть и так. Все равно, если вы не согласны, — пожалуйста, выступите на собрании, выскажитесь, но поручение обязаны выполнить, коль скоро вам его дали. А вы ведь с а м о в о л ь н о решаете, что вам делать, а что нет. А вот за это вас по головке никто не погладит!

— Да но... — говорю я, чувствуя себя в тоскливо-отчаянном положении... и вдруг вспоминаю: — Ха, ха! Что же это мы с вами, Зиновий Моисеевич, разыграли сценку!

— Да, действительно, хе, хе! Как в кино, Александр Юльевич!

Мы оба сейчас, кажется, ощутили одно и то же. Как будто кто-то вызвал нас на сцену и дал в руки текст роли... И вот мы сыграли то, что было, уже раз было в нашей жизни, сыграли сыгранное и как будто отыгранное навсегда?

— Ха, ха, — Зиновий Моисеевич, а ведь я давно уже кончил школу, знаете?

— Конечно, конечно, знаю. И работаете киносценаристом без всякого нормированного дня, без собраний, заседаний, так?

— Да, так, как будто. И производственной дисциплине не подчиняюсь, вот как мне удалось устроиться.

— Да...

Мы работаем с Болотиным.

— Помилуйте, Зиновий Моисеевич, — говорю я. — Ведь столько с вами уже говорили об этом регулировании, столько обсасывали чёртвов прерыватель!..

— Почему же он чёртвов, Александр Юльевич, почему чёртвов. Не вышло, — не надо. Снова будем думать, как сделать. То есть, как написать.

— Так почему не вышло? Сначала вы одно говорили, я писал, потом — другое — я опять писал, переделывал. Чего же вы еще хотите?

— Да, действительно, — почесывает затылок Болотин. — И так нехорошо, и так некрасиво. Надо еще подумать.

— Да, но сколько же думать? Опять вы дадите материал, опять я напишу, а потом снова окажется неверно?

— Что ж, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Так, кажется, Владимир Ильич говорил? На ошибках учимся!

Я бросаю на Болотина быстрый взгляд и убираю поспешно в бумагу. Как будто боюсь, что если встречу с ним глазами, осознаю то, в чем боюсь себе признаться. Да, я ошибся в консультанте и жестоко ошибся. Мне было нетрудно разглядеть в нем хама, чинушу, — но его энергия, его деловитость! А на деле оказалось... Да нет, я знаю, что эта пресловутая поговорка насчет того, кто не ошибается, — советская поговорка, я знаю, что наш стиль работы — это стиль узаконенных ошибок... Но Болотин! Ведь он же извел меня! Уже три месяца топчемся на месте, иногда кажется, что он издевается и только. Я уже написал сценарий в объеме пяти сценариев и не вижу работе конца. Сегодня он со свойственной ему деловитостью, которая так прельщает, говорит одно, завтра — совсем другое. В сущности, при ближайшем рассмотрении болотинская энергия оказывается блефом чистейшей воды. Она, конечно, существует, но воплощается в жизни не закономерной и умной непрерывной линией, а отдельными микровзрывами хаотических волевых импульсов. Кому нужна такая энергия, что за польза от нее? Видимо, и здесь двойственность: есть созидаящая еврейская энергия и есть разрушающая.

— Так что же все-таки будем делать, Зиновий Моисеевич?

— Работать, Александр Юльевич.

Изумительно звучит в его устах слово **рабo-тaть**. Насколько лучше такого энергичного еврея лентяй русский! По крайней мере, хоть блефа нет никакого. Да и черного болотинского напора выдерживать не нужно, его мерзкого хамства и демагогии.

— Ну ладно, с прерывателем пока оставим, — говорю я. — А вот на третьей схеме непонятно, как действует реле, обозначения, видимо, перепутаны.

— То есть как перепутаны? Не может быть!

(Я знаю, что не следует злить Болотина, а уж вовсе бессмысленно спорить с ним. Но какая-то сила подталкивает меня.)

— Может — не может, а вот то, что есть.

— А вы разобрались со схемой, Александр Юльевич?

(Еще не поздно дать отбой, подтвердить, что не разбирался. Но что-то сорвалось уже во мне.)

— Разбирался, Зиновий Моисеевич, разбирался. Я ведь в электричестве тоже кое-что кумекаю.

— Плохо разбирались, а что кумекаете в электричестве, сейчас посмотрим. Ну-ка, дайте схему. Та-ак. Теперь дайте описание. Нет, не то описание, а описание реле-два... Вот именно. Теперь посмотрим... Ну что? Что же здесь перепутано?

Болотин косит в мою сторону, криво усмехается. Его лицо совсем рядом с моим, и я вижу желтые с черным налетом зубы под вздернувшейся губой.

Я молчу. Я как будто знал, что так случится. Случилось необъяснимое, но предчувствованное. Казалось бы, ошибиться так, как я ошибся, невозможно — и тем не менее, это — факт.

— Та-ак, Александр Юльевич. А ну-ка, покажите мне 15-ю страницу.

— Зачем? При чем тут 15-я страница?

— При чем — мне лучше знать.

Начинается расплата, то есть расправа.

— Покажите весь эпизод (выучил-таки киношную терминологию!) с осмотром аппаратуры.

— Но... Зачем же, Зиновий Моисеевич? Ведь вы все одобрили и сказали, что касаться больше не будете?

— А все-таки покажите.

— Пожалуйста. Только не знаю...

Нет, знаю. В таких случаях Болотин неумолим. Ведь он поймал м е н я на ошибке! Презрению его нет границ. Теперь ему ничего не стоит отказаться от прошлых слов, заставить меня переделывать любое первое попавшееся место. Он даже и не скрывает, что делает это из черноты душевной, из мести. Его окаменевшее лицо как будто говорит: сам виноват, не надо было переступать границу, за которой я становлюсь невменяемым. Зачем провоцировал, зачем пёр на рожон? Хотел поиграть со огнем? Ну, так получай теперь...

Но все-таки гневные вспышки-разрядки такого рода — несомненно, частности. Все-таки мы с ним что-то создаем — хоть и халтуру, хоть и невероятно медленно. Да и работа его чиновничья — хоть и бюрократична, хоть подчас иррационально нерациональна, но все-таки это работа, то есть некое продвижение вперед в упорядочении мира, в созидании.

А у Болотина должно быть поле деятельности, где царит абсолютное разрушение, абсолютное зло. Это поле деятельности должно быть у него под боком, должно непрерывно существовать, и разрушение должно непрерывно осуществляться. Вот моя догадка, мое предвосхищение.

Сценарий вроде бы написан, Болотин приглашает меня домой, чтобы окончательно уж все просмотреть и наконец-то поставить подпись консультанта... Да никогда он не подпишет!.. Но с другой стороны, сегодня уж, кажется, ему придраться не к чему, двад-

цать раз все изменено, просмотрено, облизано, обсуждено, согласовано... Но с другой стороны, почему нельзя в двадцать первый раз?.. Но — вера, вера, что подпишет, нет, конечно подпишет, все уже двадцать раз осмотрено, проверено, поставлено под сомнение, согласовано с ним, я же мысленным взором просмотрел сценарий, не к чему придраться, ведь уже хорошо знаю, к чему он мог бы придраться — нет, не к чему...

Сегодня воскресенье, вот почему иду к нему домой. Он сам предложил, мне было не по душе, но терять день нельзя. Не знаю почему, но предпочитал встречаться с Болотиным в министерстве, в его комнате-сарая, где он так хорош, а мне так тоскливо и мертвенно. В пыльном запахе шкафов, среди рядов облезлых письменных столов и стульев, когда сарай покинут людьми, придававшими ему иллюзорность жизни, когда на каждой вещи проступают черты зловещего знака — черепа с перекрещенными костями — чур, чур этого места! — тогда именно Болотин... Нет, не Болотин, а таинственное существо, не то летучая мышь, не то хромой карлик, снует как ни в чем не бывало между столами, шкафами, стульями, перепархивает, то снимет трубку, прижмет к уху, то начнет рыться в бумагах... Вы случайно встретитесь с карликом глазами, увидите, что взгляд его рассеян, направлен мимо вас, — но не бессмыслен, о нет... просто таинствен, непонятен... может вспыхнуть насмешкой, может вдруг потемнеть... Поистине карлик — живое существо! Да здравствует Болотин!

И вот я иду к Болотину подписывать сценарий.

Сначала передо мной тяжелая, обитая войлоком и коленкором дверь. Я нажимаю на кнопку звонка.

Дверь медленно отворяется.

За дверью женщина. Она молчит, сонно смотрит на меня и сквозь меня. Это невозможно.

— Здравствуйте, — говорю я и улыбаюсь. Улыбаюсь и замираю в вежливой паузе. Пауза должна что-то изменить. В самом деле, женщина должна как-то реагировать на мое приветствие? Она может поднять брови, спросить, кто я такой и почему звонил, например. Она должна спросить.

Но она не спрашивает.

— Зиновий Моисеевич дома? — спрашиваю тогда я. И опять в моем вопросе, точнее, в тоне моего вопроса кроется некая игривость, даже интимность: мол, Зиновий Моисеевич — Зиновием Моисеевичем, а вот улыбнись-ка, Дуся (или Люба или Роза), ласково взгляни!

Но в это время в наш несостоявшийся диалог врывается Болотин. Его голос доносится из комнат:

— А-а! Александр Юльевич! Проходите, проходите, Александр Юльевич!

Женщина стоит, полураскрыв рот.

Болотин вдруг возникает между нами.

— Да проходите же, Александр Юльевич!

Он пытается с досадливой гримасой оттереть женщину в сторону, одновременно радостно улыбаясь мне.

Я вхожу.

— Да, я — Александр Юльевич, — говорю я женщине, разводя руками, — мол, ничего не поделаешь. — Тот самый, который вас беспокоил по телефону.

— Александр Юльевич, да проходите же, — с нетерпением произносит Болотин. — Интересно, легко ли вы нас нашли?

— Аммэм, — еле заметно говорит женщина и еле заметно то ли кивает, то ли качает головой. Ура? Уже кое-что!

— Снимите пиджак, повесьте вот на эту вешалку, — говорит Болотин. — Не хотите? Думаете, что грязно? А мы сейчас вытрем пыль. Вам кажется, что у нас вообще грязно? Не стесняйтесь, можете говорить, вам дают слово.

Женщина медленно поворачивается, она, как видно, собирается вернуться на кухню. Не сон ли все это?

— Но ведь я не помешал вам заниматься хозяйством? — поспешно бросаю ей вслед. — То есть, убирать кварт... то есть, я хотел сказать, быть может, готовить об...

— Мы не занимаемся хозяйством, не убираем квартиру, не готовим обед, — отвечает откуда-то сбоку Болотин. — Вы еще что-то собираетесь сказать?

— Нет, нет, я только хотел сказать, что ничего не думаю... То есть, вероятно, я хотел... сказать... что...

Женщина, проделав полпути к кухне (то есть сделав два неуверенных шага), снова поворачивается к нам.

— Зиновий, — говорит она тусклым равнодушным голосом. — Ты бы хоть накинул майку.

— Что? — восклицает Болотин. — Майку? Александр Юльевич, вы шокированы тем, что я без майки? Я сегодня мылся под душем, Александр Юльевич!

— Зиновий, — говорит тусклым голосом женщина. — Не оттягивай, пожалуйста, резинку на трусах, порвешь.

— Александр Юльевич! — интимно подвигается ко мне Болотин. Он поднимает искалеченную руку и дотрагивается ею до меня. — Вас не шокирует, что я неглиже, так сказать?

— Зиновий, ты же знаешь, у нас нет ниток, что будет, если ты порвешь резинку? — меланхолично говорит женщина.

— Александр Юльевич, а вам мои шрамы не портят настроение? Я хочу сказать, они не режут вам глаз?

— Нет, нет, я как-то не заметил... — бормочу я, стараясь не смотреть на Болотина. Три огромных шрама пересекают розово-серую волосатую кожу, а над ними нависают три чудовищные складки жира. В одежде-то он не производил впечатление полного, но

сейчас его тело поражает какой-то свиной холерностью. И оно тем более поражает, что находится в противоречии с неряшливым запустением, царящим в квартире. Квартира в таком виде, будто здесь идет ремонт, хотя сразу понимаешь, что никакого ремонта нет. В коридоре стоит поломанная деревянная вешалка, покрытая слоем пыли. Из кухни выглядывает угол стены — краска там облезла пузырями. Когда вхожу в комнату — еще хуже. Ободранный телевизор, грязный потертый диван, стол, на котором ни скатерти, ни клеенки. Вот еще на что обращаю внимание: если взять каждую вещь в отдельности и долго в нее всматриваться, приходишь к мысли, что ничего тоскливого, ничего из ряда вон выходящего в ней нет: в конце концов, телевизор как телевизор — не покупать же каждый день новый! — диван как диван, хотя, быть может, не мешало бы его чем-нибудь покрыть. Но в совокупности!.. И вот тут-то и приходит мысль о цельности замысла, господствующего тут. Еще бы: уж никак не нищета (с такой зарплатой, как у Болотина, обыватель обставляет квартиры импортными гарнитурами, увешивает коврами) и даже не бесхозяйственность смогли породить такое. Та самая зона абсолютного разрушения, которую предтечи Болотина получили в масштабах всей России, ужалась до размеров одной квартиры — и вот я лицом к лицу с результатом! Ха, ха! Хорош был бы Василий Розанов с его апофеозом еврейскому чувству дома здесь, у Болотина. Да, уж Розанов развел бы руками, уж он бы кое-что понял в Болотине!..

— Александр Юльевич, не стесняйтесь, располагайтесь. Можете повесить пиджак, я же вам предлагал. Если хотите, на спинку стула. Сегодня жарко, а? Мы только что арбуз ели, холодный и сладкий! Как сахар! В такую жару хорошо бы арбуза? Астраханского, а? Ха, ха, конечно... На столе корки и семечки, видите? Сейчас выбросим их в мусопровод, а стол

вытрем. Вот так. И будем работать... Принесли сценарий? А текст заключения подготовили? Ага, давайте, посмотрим. Так-с... Вот какое заключение! Не содержит технических ошибок, достаточно полно освещает материал! Ну-с, давайте, будем смотреть сценарий... Что? Зачем? Как — зачем? Каждую страницу я уже подписал? Ну и что же! А вы ведь вот какое заключение подготовили: не содержит технических ошибок, достаточно полно освещает материал! А ведь под всем — моя подпись! Одну минуточку, мы с вами в бирюльки играем или серьезным делом занимаемся?.. Ах, серьезным делом, так будьте добры потерпеть еще немножко. Что?.. Александр Юльевич, я вижу, мы опять друг друга перестаем понимать!..

Болотин продолжает, все более и более распаляясь, лицо его свирепеет, чернеет, и я с абсолютной ясностью сознаю, что мне никогда не получить от него заключения, мне никогда не избавиться от страха и безысходности ситуации, потому что — куда же деваться от Болотина? Куда ускользнуть от того, что окружает тебя со всех сторон, нависает над тобой и давит, давит?..

1973 г.

СУКОНИК Александр Юльевич — родился в 1932 году в Одессе. По образованию инженер-строитель. Работал преподавателем теоретической механики, кинооператором на одесской и московской студиях телевидения. В 1968 году закончил Высшие сценарные курсы при Комитете по делам кинематографии, писал сценарии для документального и научно-популярного кино. В 1973 году выехал в США, здесь в «Новом русском слове» были напечатаны его два рассказа.

РУССКИЕ КНИГИ

- КЛАССИКИ
- САМИЗДАТ
- ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ
- РЕДКИЕ ПЕРЕИЗДАНИЯ
- СЛАВИСТИКА

Представительство журнала

«КОНТИНЕНТ»

Свыше 1500 титулов на складе

Требуйте каталоги



A. Neimanis • Buchvertrieb

8 München 40 Bauerstr. 28 • Germany

Россия и современность

Григорий Померанц

«ЭВКЛИДОВСКИЙ» И «НЕЭВКЛИДОВСКИЙ» РАЗУМ В ТВОРЧЕСТВЕ ДОСТОЕВСКОГО

Более 30 лет тому назад я прочел одно небольшое произведение Достоевского и почувствовал, что не могу отложить его в сторону. Это были «Записки из подполья».

То, что я написал о них, было сожжено. Но сейчас случай вернул меня к первому опыту. Обрывки старых мыслей всплывают вместе с новыми, и выходит что-то такое, что раньше я бы не написал. Я возвращаюсь к своей старой теме кружным путем, через довольно долгие занятия Востоком, и то, что я давно пытался осознать в Достоевском, выступает сейчас для меня в каком-то новом свете.

Возможность объяснить Россию через Восток и Восток через Россию мелькнула мне впервые еще лет тридцать тому назад. Сейчас я хотел бы продолжить свои восточно-западные рассуждения, двигаясь кругами, сперва вокруг «Записок из подполья», а потом вокруг одного парадоксального высказывания Достоевского, вокруг его *credo*.

«Записки из подполья», как вы помните, были враждебно встречены прогрессивной критикой. Однако бросается в глаза, что до «Записок» Достоевский писал вещи, хотя порою и значительные, но не выходившие за национальные рамки. А после «Записок» он как-то мгновенно стал классиком мировой литера-

туры. Каждый его роман, написанный после 1864 года, — шедевр.

Проще всего объяснить это случайностью. Но, во-первых, идеи, высказанные в «Подполье» (первой, философской части «Записок»), повторяются во всех романах. Интонация часто другая, чем у подпольного человека, но мысль та же самая. Примеров можно привести много*.

Во-вторых, мысли подпольного человека были подхвачены десятками философов. Есть даже хрестоматия, выпущенная Вальтером Кауфманом в Нью-Йорке: «Экзистенциализм от Достоевского до Сартра». Она начинается с «Подполья». Было бы странным, если бы этот текст, такой важный для развития мировой философской мысли, оказался не очень важным для своего автора. Можно предположить (и я попытаюсь доказать это), что Достоевский понимал парадоксы «Подполья» иначе, чем многие его поклонники (русские, начиная с Василия Розанова и Льва Шестова, и западные) — понимал иначе и глубже. Но мимо «Подполья» к Достоевскому нельзя подойти.

Существует привычка говорить, что такой-то художник велик, несмотря на его реакционное мировоззрение. Эта формула может быть справедлива (по крайней мере, отчасти) в отношении к солистке балета: танцуя, она не думает о политике. Но по отношению к писателю такое рассуждение вряд ли возможно. Писатель всегда несколько мыслитель. Его мировоззрение и его творчество могут не совпадать, но совершенно разорвать их нельзя. Если считать, что политическая реакция — это моральное зло, и согласиться с Белинским, что человек, весь отдавшийся злу, теряет свой ум и талант, — а мы так обыкновенно считаем,

* В «Преступлении и наказании» идеи «Подполья» излагает с подкупающим пьяным добродушием Разумихин. Ср. ч. III, гл. 1 и 5.

— то поворот к реакционным взглядам в мировоззрении Достоевского должен был вызвать творческий упадок (примерно так, как принято говорить о Гоголе, *ad maiorem progressus gloriam*)*. Однако «Преступление и наказание» ни о каком упадке не свидетельствует.

В 30-е годы я был учеником учеников М. А. Лифшица и придерживался его взглядов, несколько более сложных, чем общепринятые: Бальзак был великим обличителем буржуазного общества благодаря своим реакционным взглядам. Аристократические и католические симпатии освобождали его от буржуазных иллюзий, делали независимым от буржуазной идеологии. Таким образом, ретроградная идеология, не получая никаких политических извинений, могла быть признана теоретически плодотворной (по крайней мере, в известных пределах, — как точка зрения, с которой что-то хорошо смотрится).

Вот модель, которую мне тогда показалось возможным приложить к делу. Надо было показать, как истина «Записок» (хотя и высказанная в «ретроградской» форме) оказалась толчком для развития художника, как она помогла ему сделать «шаг вперед в художественном развитии человечества». Я взялся за работу со страстью и написал, помимо доклада о «Записках», еще введение, разросшееся в особый доклад — о творчестве Достоевского в целом. Там было много разных идей, но на руководителя семинара, Н. А. Глаголева, и на кафедру русской литературы (возглавляемую тогда А. М. Еголиным) самое большое (и неприятное) впечатление произвела попытка добросовестно опровергнуть те взгляды на творчество Достоевского, которые я считал упрощенными и неправильными, в том числе взгляды Горького.

* Хотя недостаточно ясно, какую роль в поздние годы его жизни сыграл психоз, возможный при любом мирозерцании.

Мои аргументы были не хуже, чем доводы Фетюковича в защиту Мити Карамазова. Но в обоих случаях присяжные оставались глухи. Их вердикт выразил Шамориков (один из участников заседания кафедры, в то время аспирант): «Если даже Горький ошибался, нам об этом не следует говорить». Я встал, набрал полные легкие воздуха и, громко хлопнув дверью, вышел.

Интеллектуальное потрясение, заставившее меня штурмовать ветряные мельницы, началось — как я уже говорил — с «Подполья». Это впечатление слилось с другими — от теории Раскольникова, от бунта Ивана Карамазова, от попыток Кириллова победить смерть и от сна, который Версиров рассказывает подростку — в один ком, который ворочался в моей груди и заставлял вскакивать в два часа ночи и записывать новые мысли «со страстью и почти со слезами». Что касается второй части «Записок», «По поводу мокрого снега», то я умом понимал ее важность, как дополнения к «Подполью», но эстетически вторая часть меня скорее отталкивала. И не с отвлеченной эстетической точки зрения, а с точки зрения эстетики самого Достоевского, — эстетики его романа. Чтение романа Достоевского — даже такого мрачного по колориту, как «Бесы», — всегда производило на меня впечатление катарсиса. Погружаясь вместе с Достоевским в тьму человеческих отношений, я привык ждать вспышки света. Нравственная тьма сгущается до черты — и вдруг свет. Какая-то искра в глазах полубезумного Кириллова. Или, лучше всего, — к Шатову приезжает жена. И неожиданный, после всех перипетий с «нашими», взрыв любви-сострадания. В этом основа впечатления, которое Достоевский на меня производит. И с э т о й точки зрения, «По поводу мокрого снега» — недоразвиток, куколка, из которой так и не родилась бабочка.

30 лет тому назад я мог выразить свое чувство только в эстетических категориях. Сейчас мне хочется сказать и о духовной неполноте «Записок». Мне кажется, что роман Достоевского проделывает с читателем работу, сравнимую с практикой дзэн-буддизма. Дзэн-буддизм добивается своеобразного просветленного состояния, «пробуждения» с помощью шока. Методы шока применяются разные, но главным из них является интеллектуальный шок. Ученику дается явно неразрешимая задача, коан. Задача имеет ответ, и наставник его знает. Задача неразрешима, абсурдна с точки зрения «эвклидовского» разума. Но для какого-то высшего разума она разрешима. Ученик не обладает высшим разумом: он, собственно, и пришел в монастырь, чтобы узнать, что такое Путь. Но ему не дают никаких указаний и требуют, каждую неделю, каждый день требуют ответа на явно абсурдный вопрос («Вы висите над пропастью, зацепившись зубами за куст; в это время вас спрашивают: «В чем истина дзэн?» Что бы вы сказали?»). Требуют день, неделю, месяц, год, иногда 3-4 года подряд. В конце концов, ученика охватывает «великое сомнение». В отчаянии, как бы над действительной пропастью, он наконец срывается, падает — и в самый страшный миг сознает, что разум и поставленный вопрос в а б с у р д н ы абсурдны, и если вопрос (вопреки очевидности) имеет ответ, то абсурден (в каких-то отношениях) эвклидовский разум. Возникает вспышка сверхсознания, парящего над неразрешимыми вопросами. Для этого сознания мир внезапно становится освобожденным от всех проблем, единым и цельным. Вслед за чувством блаженства, как при встрече с любимым, приходят в голову нужные ассоциации для ответа на контрольные вопросы учителя. Задача решена, ученик понял умонастроение, выраженное в абсурдном афоризме, и ему ставится другая задача, объективно

более сложная, но бесконечно легче решимая: как и во всем, труднее всего решить первый коан.

Практика дзэн установила, что «чем больше сомнение, тем больше просветление». Это можно пере сказать в терминах Ивана Карамазова: чем труднее пройти свой квадрильон, тем острее ощущение рая. Но острота первого ощущения проходит; что же остается? Остается чувство полноты бытия, и достаточно легкого толчка, чтобы оно всплыло, припомнилось. «Как можно видеть дерево, — говорит князь Мышкин, — и не быть счастливым?»

Тут все дело в предшествующем опыте, в пройденном до конца квадрильоне. Ипполита слова Мышкина раздражают, но если необходимый опыт есть, то не нужно даже дерева, не нужно внешнего толчка красоты, она сама по себе выступит изнутри, как писал об этом когда-то китайский поэт Пан Юнь:

«Как это необычайно!

Как чудесно!

Я таскаю воду, я подношу дрова!»*

Никакого влияния дзэн на Достоевского, разумеется, не было, но мне лично кажется, что между чтением романа и работой над коаном есть сходство. Вы погружаетесь в неразрешимую проблему, запутываетесь в ней, познаете ограниченность своего разума, и вам блещет возможность какого-то сверхразума, для которого все эти неразрешимые вопросы давно разрешены.

Представьте себе, что Достоевский убежден в существовании особых легких, которыми можно «дышать Богом» (или, если хотите, впитывать в себя целостность бытия, не раскалывая ее на отдельные категории и проблемы). Но чтобы заработали легкие, надо перерезать пуповину ветхого Адама. Ветхий Адам задохнется, и в смертельной судороге заработа-

* Русский перевод Сабашниковой. М., 1912.

ют духовные легкие нового Адама. Вот, примерно, то, что сближает психотехнику просветления дзэн-буддизма и романа Достоевского.

Однако рождение нового Адама не гарантировано. Младенцы физические почти все начинают орать. Духовные недоразвитки хиреют всю жизнь. Об этом хорошо сказал когда-то Мейстер Экхарт. «Чтобы родиться в новом Адаме, — учил Экхарт, — надо умереть в старом, совершенно умереть для всякой корысти, для своего маленького я». «Одна капля твари вытесняет всего Бога», и, чтобы Бог вошел, нужна полная смерть твари. «Счастливы те, кто умирает скоропостижно, — продолжает свою мысль Экхарт. — Другие мучаются долго, но в конце концов достигают смерти и нового рождения. Третьи хиреют всю жизнь — и бесплодно.»

Это бесплодное хирение и есть подполье. Подпольный человек «сладострастно замирает в инерции», постепенно теряя желание «прекрасного и высокого», одушевлявшее его молодость, и не открывает ничего лучшего, не открывает прекрасного и высокого без к а в ы ч е к, не открывает подлинного хрустального дворца вместо того, который разрушила рефлексия. В иные минуты возможность подлинного, неложного хрустального дворца как бы смутно припоминается ему, и он порывается к этому призраку. Я думаю сейчас, что термин «хрустальный дворец» на последних страницах «Подполья» круто меняет смысл. Сперва это нечто вроде капитального дома по контракту на тысячу лет, а потом — как бы призрак Царствия Небесного, которое внутри нас, в цельности нашей внутренней жизни. Но в порыве подпольного человека к этому дворцу нет силы, и поэтому нет того катарсиса, который дает роман Достоевского.

Строго говоря, законченного катарсиса у Достоевского нигде нет. Его эстетика — это эстетика намеков и порывов, не допускающая апофеоза прекрас-

ного и возвышенного. Апофеоза у Достоевского нигде нет. Но есть порывы, настолько неожиданные и сильные, что впечатление, скажем, от сцены в Мокром может сравниться с самыми образцовыми примерами трагической красоты. Тогда достигнута цель «жестокоталанта», — младенец вскрикнул. Он еще, может, не жилец на этом свете, но сейчас он вскрикнул. Из недоразвитка родился человек. И читатель, восприимчивый к искусству Достоевского, готов воскликнуть: осанна! — вместе с вольнодумцем, прошедшим свой квадрильон, после первой же минуты рая. Эта притча, придуманная Иваном Карамазовым — один из ключей к правильному пониманию искусства Достоевского.

Есть две категории людей, которым такое понимание недоступно. Одна просто не может пройти сквозь подполье, другая в нем застревает. Первая отвергает Достоевского, певца подполья. К таким людям относятся Михайловский, Чехов и многие мои современники и друзья. Другая с восхищением принимает Достоевского, певца подполья, и учится у него находить удовольствие в зубной боли (самые замечательные из этих людей, насколько я могу судить, Ницше и молодой Лев Шестов). Но в романе Достоевского «подполье» — это только дорога, это «квадрильон», и смысл дороги не в том, чтобы остановиться на ней (лучше уж тогда вовсе не ходить, и Чехов разумнее Шестова), — а в том, чтобы пройти до конца и хоть краешком глаза заглянуть в рай. Или (переводя термины легенды на другой язык) дойти до психологической релаксации, до эстетического катарсиса, до духовного просветления.

«Подполье» — только порог зрелого Достоевского. Принимать этот порог за храм — такая же ошибка, как видеть в Достоевском певца униженных и оскорбленных, бытописателя борьбы за жизнь или критика власти денег.

Для подпольного человека мученье, которому подвергает его «жестокий талант», бесплодно. У него нет силы родиться. «Царство Божие силой берется», — сказано в Евангелии от Матфея (и многократно повторено Экхартom, на которого я уже ссылался). Герои зрелого Достоевского имеют эту силу. Откуда она у них взялась — трудно сказать. Возможно объективно-социологическое объяснение (разночинец после реформы стал другим — дерзким, независимым). Возможно объяснение индивидуально-психологическое: Достоевский ударил, наконец, по темени идею, на которую десять лет не решался поднять руку (обдумывая, как он это сделает, набрасывая черновики в записных книжках и так же не веря самому себе, как Раскольников, собираясь к Анне Ивановне). И это чувство собственной силы, способности одному выступить с открытым забралом, после десяти лет уверток, против сплоченного журнального большинства, сделало сильного, дерзкого человека, способного сказать новое слово, его центральным героем.

Так или иначе, изменение характера героя Достоевского — очевидный факт. Ранний Достоевский — певец слабых сердец; поздний не забывает униженных и оскорбленных (Мармеладовых, Снегиревых), — но главные герои его — люди с сильным сердцем. Они, по большей части, одержимы ложными идеями и убивают себя или других (чего подпольный человек не делал), но у них есть сила. И эта сила, прежде всего, делает их эстетически привлекательными. Подпольный человек несколько противен; а Родион Романович Раскольников захватывает.

Поэтичность крупного, энергичного зла — не в зле, а в силе, без которой и добро невозможно утвердить. Поэтому последние слова Иешуа Га-Ноцри у Булгакова, что трусость — величайший из пороков. Поэтому в одной индийской легенде учитель спрашивает ученика: «Умеешь ли ты лгать? — Нет... — Так

пойди, научись! Умеешь ли ты воровать? — Нет... — Так пойдй, научись! Умеешь ли ты убивать? — Нет... — Так пойдй, научись!» А потом — не делай всего этого; но не из трусости, не по слабости, а от полноты силы.

Поэтому Раскольников, убивая старушку, ближе к преображению, чем подпольный человек, сладострастно замирающий в инерции. Раскольников имел силу дойти до черты, за которой — ад. Или, если не ад, то преобразование. Это прямо и высказывает Порфирий Петрович: «Я ведь вас за кого почитаю? Я вас почитаю за одного из тех, которым хоть кишки вырезай, а он будет стоять да с улыбкой смотреть на мучителей, если только веру иль Бога найдет...» и дальше: «Не комфорта же жалеть, вам-то, с вашим-то сердцем! Что ж, что вас, может быть, слишком долго никто не увидит. Не во времени дело, а в вас самом. Станьте солнцем, вас все и увидят...» (ч. VI, гл. 4).

К сожалению, всего этого и в помине нет в фильме, поставленном Кулиджановым, и поэтому сцена убийства выглядит там невыносимо мелодраматично, несмотря на талантливую, по-своему, игру Тараторкина. И топор есть, и кровь целой лужей по полу, а все-таки фальшиво. Потому что Раскольников-Тараторкин — это не сильный человек, способный переступить через черту, а очень слабый, пугливый, но заеденный средой и доведенный обстоятельствами до бреда. Выходит, что Раскольникова среда заела. Это писаревская интерпретация текста, прямо противоположная тому, что говорит Достоевский. Это Достоевский, переставленный, так сказать, с головы на ноги. И чтобы концы сошлись с концами, Кулиджанов очень умно и тактично сократил текст, выбросил, так сказать, теологические привески. Вышел сильный, по-своему цельный фильм о преступнике, у которого не выдержали нервы, с Вертером-Свидригайловым, стреляющимся от несчастной любви, и ярким положитель-

ным образом следователя. Но убийства нельзя было вычеркнуть из текста, на этом весь сюжет держится. И вот тут, вспоминая фильм, видишь его ахиллесову пяту. Тут ниточка, за которую дернешь, — и все здание, построенное Кулиджановым, рассыпается на куски.

Путь действительного Раскольников, написанного Достоевским, — это путь к преображению. Я не знаю, почему большинство критиков не доверяет этому. Оно вполне подготовлено, а если Достоевский подробно не показывает, как выглядит преображенный человек, то, во-первых, такова вообще его эстетика, эстетика намека на положительно-прекрасное, порыва к нему, а не подробного описания. Во-вторых, преображенный (или, в данном случае мне хочется сказать — просветленный) человек и его отношение к миру — это совершенно особый сюжет, требующий особого романа, и такой роман — «Идиот». В князе Мышкине Достоевский обрисовал, во всяком случае, начало просветления, еще неустойчивое, болезненно ранимое, но достаточно явное, так что многие люди, вообще не любящие Достоевского, Мышкина принимают и любят. Пожалуй, трудно найти во всей русской и даже мировой литературе нового времени более убедительный, художественно удачный образ просветленного человека...

Для обычного героя зрелого Достоевского, не идеального, не князя Мышкина, возможны только минуты просветления, прикосновения к новому душевному состоянию, как к мирам иным, но минуты прикосновения, оказывающие глубокое впечатление на всю их дальнейшую жизнь. Это показано лаконично в Шатове, подробно в Мите Карамазове, и я не вижу никаких оснований не доверять эпилогу «Преступления и наказания». Никакой фальши я в нем не чувствую. Вот если бы такое было написано про героя «Подполья»,

я бы не поверил. Потому что сила — первая из добродетелей, без нее все остальные бессильны.

Однако этот пигмей воли, этот Гамлет Щигровского уезда, это слабое и вдобавок еще подлое сердце — в одном отношении подстать поздним героям Достоевского и на несколько голов выше любого из ранних: по уму. А сила ума — тоже сила. И она прекрасна. Поэтому первая часть «Записок», в которой ум подпольного человека разворачивается на свободе, в чистом пространстве мысли, по-своему прекрасна и всегда восхищает меня — так же, как вторая часть отталкивает.

Я должен признаться, что меня вообще восхищает блеск разума, сознающего призрачность своих оснований, — в «Афоризмате Тита Левиафанского» Герцена, в «Похвале глупости» Эразма Роттердамского и в разделе «Об основании» Большой Логики Гегеля.* Однако во всех классических образцах издевательства разума над самим собой остается элемент шутки, юмора. Остается иллюзия, что всерьез разум этого о себе не скажет, что это своего рода капустаник в научно-исследовательском институте, а завтра профессора займутся делом. Или даже прямо говорится, что так оно и есть, что все сказанное относится только к разуму вчерашнему и метафизическому, а новый, диалектический разум знает ловкий ход, как выйти из положения и снова овладеть вещами. В «Подполье» ничего подобного нет. В «Подполье» разум отрицает себя до полной гибели, всерьез. Тут если возможны сравнения, то разве с писаниями мистиков, унижавших разум перед лицом веры. Но ведь и веры никакой в «Подполье» нет, во всяком случае явно, в тексте. Отсюда неодолимая потребность понять, почему это

* «Прийти к основанию — значит пойти ко дну» (Гегель). Эту фразу вполне мог бы написать подпольный человек, и вероятно написал бы, если бы думал по-немецки. По-русски это не так язвительно звучит.

саморазрушение разума так захватывает. «Тита Левиафанского» я в восхищении читал и откладывал в сторону, а «Записки» не мог отложить. Они схватили меня за горло и требовали объяснения.

Ницше сказал, что Бог умер. Мне кажется, основная идея «Записок» в том, что умерла идея. Не какая-то определенная идея, а Идея вообще. В «Подполье» блестяще разбираются противоречия Прогресса, Гуманности и других идей, владевших умами; но главное — не эта частная критика. Главное то, что развитое сознание ставит под вопрос все основания действия (маленькую идею личной мести или большую идею Прогресса — все равно), — и не находит ответа. Все, что разум может доказать и утвердить, он может и опровергнуть, и разрушить. Поэтому «слишком много сознания — это болезнь». И даже «всякое сознание — болезнь».

До этого места рядом с Достоевским идут все мыслители, звавшие от рефлексии назад, к инстинктам и социальным привычкам, в том числе Толстой 60-70-х годов. Но дальше пути расходятся. Для человека Достоевского нет пути назад. Он либо вынужден «сладострастно замереть в инерции», либо должен двигаться вперед, должен *начинать* там, где Иван Ильич в ужасе отшатывается назад. В первых работах я объяснял это тем, что Достоевский — человек городской, воспитанный в казенном учебном заведении, вне влияния семьи и природы, попросту не сохранил инстинктов и социальных привычек, к которым можно было вернуться, а потому *вынужден* был стать певцом «вымышленного», порвавшего с традициями, Санкт-Петербурга и таких же «вымышленных», порвавших с традициями, деклассированных людей, «детей случайных семейств». Однако Ницше тоже не в Ясной Поляне родился, и тем не менее, зовет, по сути дела, назад, к инстинктам, только не к реальной инстинктивности деревенского жителя, а к фантастическому

инстинкту фантастического существа, поставленного на котурны и названного «сверхчеловеком».

И Достоевский этот путь знал, он его очень ярко описал в Раскольникове, Ставрогине, Кириллове, Иване Карамазове, так ярко, что Ницше читал Достоевского с восторгом. Но сам Достоевский по этому пути не пошел, он ищет чего-то другого. Этот выбор нельзя объяснить необходимостью, средой и т. п. Он был свободным, индивидуальным выбором, понять который до конца, по-видимому, невозможно (это значило бы разложить на элементы тайну личности). Но сущность сделанного выбора, мне кажется, была сформулирована Достоевским в его *credo*, и то, что сказано, что стало словом, я постараюсь разобрать.

Пока замечу только одно: Достоевский не потерял веры, что есть идеи благословенные и идеи проклятые (хотя бы только мгновенно, только сейчас и здесь). Позиция Достоевского не совпадает здесь с позицией подпольного человека (для которого все кошки серы). Поэтому «Записки из подполья» были постановкой задачи: как проверить истинность постулатов, идей, из которых человек исходит в своей практике? И эта задача, по-видимому, была последним толчком, вызвавшим к жизни роман Достоевского.

Говоря «роман Достоевского», я имею в виду роман совершенно определенного типа, от «Преступления и наказания» до «Братьев Карамазовых». Ни «Бедные люди», ни «Униженные и оскорбленные» такими романами не являются. Достоевский до «Записок» и после них — это две разные художественные воли, примерно, как голубой Пикассо и кубистический Пикассо или как Шекспир трагедий и Шекспир поздних романтических драм (стоящих ближе к Гоцци, чем к «Гамлету»).

Роман Достоевского, при первом подходе к нему, — это своеобразный детектив. В конечном счете, это

своеобразный коан, текст для медитации. Посредине между поверхностью и центром — это своеобразное художественное исследование нескольких проблем (социологических, психологических, исторических). И самой специфической из этих проблем, самой характерной для романа Достоевского, самой важной для всего строя романа является проблема ценности идей. По этому признаку роман Достоевского иногда в целом называют романом идей. В один клубок там спутано неправдоподобно много героев, одержимых разными идеями; и по их мучительной жизни, по их страданиям и гибели судятся сами идеи.

К роману Достоевского можно подойти как к философскому тексту (так, как мы подходим к повестям Дидро и Вольтера). С этой точки зрения, первый, зримый узел сюжета вообще не важен. Раскольников не старушку убил, а идею. Разумеется, старушка убита, но ее смерть, или смерть Федора Павловича Карамазова, — только обстоятельства, при которых гибнет идея «все позволено». Это не полная истина, но все же истина, т. е. известный уровень интерпретации, верный тексту, и надо ясно понять разницу между «романом идей» и «идейным романом», в котором автор пропагандирует идеи, для него самого бесспорные (а не исследует их). Достоевский-романист до какой-то степени забывает о своих симпатиях к той или другой определенной идее. Все идеи (даже самые любимые) становятся для него проблематичными, все должны выдержать испытание; идея Шатова (близкая Достоевскому) подвергается такой же суровой проверке, как все другие. Этот принцип иногда нарушается; но я говорю о художественной норме, а не о ее нарушениях.

Важно то, что идеи вообще, всякие идеи, перестают быть светом, озаряющим героев. Они сами суть герои, озаренные откуда-то из глубины, — с уровня целостности жизни, или с уровня духа, или еще от-

куда-то. Автор (в отличие от Льва Толстого, который всегда как бы знает, в чем правда) не держит света в руках, не направляет его, а просто дает ему возникнуть из глубины действия, из разворошенной глубины личности. Весь свой ум он раздает героям и сам «стушевывается», отступает на задний план, передает свою роль (в трех последних романах) рассказчику. Иначе нельзя. Слой идей пробит и не остается идейной почвы для суда над личностью. Личность вырвалась из плена символов, идей, представлений, выработанных временем. Личность (пусть в иные только минуты) воцаряется над идеями — и общее, объединяющее может быть найдено только в глубине каждой личности, в свободной переключке глубинных психических слоев, к которой и автор, как аналитик, как конструктор, как ум, может только прислушаться. Каждый из ведущих героев становится как бы ипостасью своего творца, сыном, единосущным отцу и вполне «равночестным» ему.

Таким образом, мы проходим сквозь уровень проблем, идей (так же, как прошли сквозь уровень детектива) и прикасаемся к краешку целостной жизни, подлинно «живой жизни». И единица этой жизни — личность. Теперь старушка снова становится реальнее идеи. Каждая личность раскрывается, как окошко в беспредельную глубину. И если даже окошко непосредственно осталось закрытым, мы видим, что его можно открыть.

Все это несколько напоминает дзэнскую притчу: «Сперва, не зная буддизма, я думал, что гора есть гора. Потом, изучая буддизм, я понял, что гора не есть гора (т. е. что идеи реальнее предметов). Но потом, еще больше углубившись в буддизм, я понял, что гора есть гора». Единичное снова утверждается в бытии, но не как обособленный атом, а как растение, корни которого уходят прямо в бездну Единого (это очень хорошо видно в дальневосточной живописи, окрашен-

ной влиянием дзэн). Единичное сознается примерно так, как Никейский собор постановил мыслить о Христе, единожды рожденном и единожды распятом, но, тем не менее, единосущном Отцу и от века пребывавшем в недрах Отчих. Поэтому голос каждой личности — это голос подлинного бытия, голос из последней глубины, и нет более глубокой или более высокой точки зрения, на которую автор мог бы встать, чтобы комментировать и оценивать.

Я сравнивал роман Толстого с монархией, в которой сталкивается много умов и волей, но окончательное решение, кто прав, кто виноват, принадлежит одному государю; а роман Достоевского — с парламентом, в котором автор сохраняет за собой только роль спикера. Можно также сравнить роман Толстого с ньютоновской вселенной, весьма сложной, но вложенной в пространство всеобъемлющего авторского ума с единой системой координат; а роман Достоевского — это вселенная релятивистская, в которой бесчисленное множество равноправных точек отсчета. Ипостасная модель лучше всего этого (она охватывает и множественность точек зрения, и их высшее единство). Но мне хочется остановиться на «релятивистском» сравнении, потому что оно принадлежит не только мне; нечто подобное думал, по-видимому, Эйнштейн.

«Достоевский дал мне много, необычайно много, больше Гаусса.» То, что Достоевский дал много Эйнштейну как человеку, само по себе неудивительно; странно упоминание Гаусса. Если речь идет о влиянии эстетическом, философском, нравственном, религиозном, то Гаусс явно ни при чем. Труды Гаусса помогли Эйнштейну разработать математический аппарат теории относительности. Значит, Достоевский именно в этом, в создании теории относительности, чем-то помог Эйнштейну, и очень сильно — больше Гаусса. Чем же? Я думаю, «релятивистской» структу-

рой своего романа. Я беру слово «релятивистский» в кавычки. Собственно, роман Достоевского не релятивистский, а ипостасный. Но всякая ипостасная конструкция, начиная с христианской Троицы, может быть интерпретирована как релятивистская модель. Это особенно ясно при попытках перевода теологических терминов на математический язык, например, у Николая Кузанского: «Бог — это сфера, центр которой всюду, а периферия нигде». Вселенная, центр которой всюду — это уже почти Эйнштейн. И можно предположить, что Эйнштейн, читая роман Достоевского, «перевел» его структурный принцип на абстрактный математический язык примерно так же, как Николай Кузанский перевел на абстрактный математический язык структурный принцип Троицы. При том остром чувстве пространственных и квазипространственных форм, которым Эйнштейн отличался, это вполне возможно.

В науке, как говорил Гегель, важно не наблюдение само по себе, а голова, которая наблюдает. Изменения в устройстве головы могут происходить в художественном освоении мира раньше, чем в дисциплинированной работе ученого. И всякий назревший, ненадуманый формальный сдвиг в искусстве означает новое видение мира, способное подтолкнуть ученого к созданию «безумных» (и эвристически ценных) моделей. Как бы то ни было вообще, относительно Достоевского и Эйнштейна такую связь можно считать удостоверенной.

30 лет тому назад я говорил, помнится, «о расколе авторского сознания» в «Записках». Но этот раскол не казался мне катастрофой. Я видел, что он открывал возможность другого, нового, может быть мучительного, но художественно плодотворного видения жизни. Я склонен был тогда переоценивать трагизм Достоевского, вращение в нескольких параллельных, но одинаково замкнутых безысходных кругах разума

и мифа, но все же не сомневался, что именно подполье привело к тому, что М. М. Бахтин назвал «многоголосым романом». До «Записок» Достоевский не находил позиции вне какой-то идеи (или группы идей) и по необходимости вынужден был становиться на почву той или иной идеи. После «Записок» он встал над идеями, нашел возможность оценивать идеи не с идейной, а с какой-то надыдейной точки зрения. На чем именно он стоял, я не мог схватить, но самый факт бросался мне в глаза. Произошло отделение «идеи» от полноты истины, логики — от полноты развития духа. Долголетние претензии философии (в особенности гегелевской) были отвергнуты.

Идея высказывается во всем блеске, но ей не верят, а смотрят, что делает человек, одержимый ею. И по плодам различают их; ибо плод добрый от древа доброго и плод злой от древа злого... Мы не верим Великому инквизитору и верим молчащему Христу — и все идеи Великого инквизитора проваливаются в молчание Христа. Мы не верим убийце — и идея Раскольникова проваливается в убогий лепет Сони. На уровне интеллекта инквизитор и убийца остаются правы. Дело не в том, что против них нет доводов. Я придумывал такие доводы, — по крайней мере, против теории Раскольникова. Но Достоевский их не хотел и не дал. Ему хотелось другого — развенчать сам уровень интеллекта, на котором у инквизитора и убийцы всегда есть сильные аргументы.

Мне кажется, первичное открытие было совершено Достоевским на каторге. Скорее всего, именно на каторге писатель, мечтательно любивший бедных людей, должен был сознаться себе в решительной неспособности любить человека, народ, ближнего таким, каким этот человек выступал, без всяких прикрас, у него перед глазами, и в то же время еще острее осознать невозможность жить без этой любви. Во всяком случае, уже в 1854 году, т. е. вскоре после осво-

бождения, Достоевский сообщает Фонвизиной свое кредо, впоследствии дважды повторенное, в записных книжках и в «Бесах»: «Если бы как-нибудь оказалось, предполагая невозможное возможным, что Христос вне истины и истина вне Христа, то я предпочел бы остаться с Христом вне истины, чем с истиной вне Христа».

Это очень емкий алогизм, и я далеко не уверен, что понял Достоевского до конца. Прежде всего хочется отметить, что это алогизм, что заветная мысль Достоевского не уместилась в «эвклидовский разум». Достоевский, несомненно, знал слова Христа «Я есмь истина» и, конечно, не собирался глумиться над ними. Шутки над Христом вызывали у Достоевского припадки. Зачем же ему понадобилось абсурдное (для верующего) предположение о Христе вне истины и истине вне Христа? Видимо, иначе он не мог выразить свое какое-то очень глубокое переживание. Здесь перед нами своего рода коан, разгадывать который можно всю жизнь.

Вероятно, в каторжные годы важнее всего было моральное звучание этого коана. Истина — моя неспособность любить ближнего; Христос — любовь, побеждающая, несмотря на эту мою неспособность, и охватывающая меня, хотя я только в какие-то короткие минуты могу отвечать ей. Истина — мое нынешнее состояние, состояние недоразвитка; Христос — это то, что не раскрылось во мне, но что может раскрыться, должно раскрыться. «Сильно развитая личность, — писал Достоевский в «Зимних заметках», — вполне уверенная в своем праве быть личностью, уже не имеющая за себя никакого страха, ничего не может сделать другого из своей личности, т. е. никакого более употребления, как отдать ее всю всем, чтобы и другие все были точно такими же самоправными и счастливыми личностями. Это закон природы. К этому тянет нормального человека. Но тут есть один во-

лосок, один самый тоненький волосок, но который, если попадет под машину, то все разом треснет и разрушится. Именно: беда иметь при этом случае хоть какой-нибудь, самый малейший расчет в пользу собственной выгоды...»

Если оборвать цитату на законе природы, то Достоевский выглядит утопическим социалистом, сохранившим и в 1863 г. весь жар своей молодости; на самом деле, он просто вспоминает молодость, платит минутную дань ее языку — и тут же добавляет замечание, сводящее всю логику утопического социализма на нет; вместо закона природы, к которому тянет нормального человека, вырастает неразрешимая антиномия. Согласитесь, трудно найти человека, у которого не будет никакого, ни малейшего расчета в пользу собственной выгоды. И таким образом, на утопическо-социалистическом языке высказывается чисто теологическая мысль: одна капля твари вытесняет всего Бога. Со скрытым, но, несомненно, бывшим у Достоевского в уме выводом: без лика Христа, без уподобления Ему, без совершенного «пре-подобия» — «закон природы», закон гармонии, дремлющий в человеке, никогда не осуществится. А если даже случайно осуществится, то рухнет при первом прикосновении, как во «Сне смешного человека». Таково, по-видимому, первое звучание коана Достоевского.

Ко мне этот коан повернулся прежде всего другой стороной — художественно-познавательной. Подставим вместо истины — «идея», «понятие», «разум», а вместо Христа — «икона», «образ», «искусство». Тогда получим: «образ, икона глубже выражает тайну бытия, чем идея, понятие». Философски такой взгляд вполне возможен, романтики его защищали, и Достоевский был к нему близок. Можно это подтвердить такими словами: «мир красота спасет»; «Шекспир — пророк, открывший нам тайну о душе человеческой», или замечание Тихона Задонского

Ставрогину, что его остановит безобразие зла. Речь здесь идет не об аморализме, а о понимании несовершенства морали, двойственности ее влияния на человека. Всякий закон, запрет, предписание посягает на человеческую свободу и вызывает протест, сопротивление, вызывает желание нарушить закон. И поэтому всякий закон становится источником нарушений закона, источником преступлений, рождает преступные желания, а иногда и действия. Об этом писал еще ап. Павел, противопоставляя закон благодати. Новое у Достоевского — вера в способность искусства преодолеть эту трудность, выразить конкретно-нравственное так, что красота его без насилия покорила сердце.

Таким образом, возникает концепция, которую можно рассматривать как прямую антитезу гегелевской. В самом деле, если истина может быть адекватно выражена в идее, понятии, то что делать искусству после Гегеля? Только ступешаться и занять подчиненное место популяризатора великих идей. В лучшем случае, искусство может параллельно с наукой открывать некоторые социальные явления, может быть, несколько даже забегать вперед, играть роль разведки (как, например, Бальзак — для политической экономии). Но в конечном счете истина находит свое адекватное научное выражение. Писатель показывает то, что политэконом доказывает (так, примерно, учил Белинский); ни на что большее литература не способна. Из этого вытекает, что роман Чернышевского «Что делать» написан правильно, и чистая случайность, что художественно он неудачен.

Если же образ, икона — более адекватное выражение истины, чем идея, то роман «Что делать» (отвлекаясь от его идей) написан неправильно, и писать надо иначе, так, как написано «Преступление и наказание», поставив всякую идею пред высшим судь-

ей (символ которого для Достоевского — Христос). Тогда разница между Чернышевским и Достоевским не только в таланте, а в правильном и неправильном понимании литературной задачи. Во всяком случае, такова разница между молодым Достоевским, находившемся в какой-то мере под влиянием эстетики Белинского, и зрелым Достоевским, который с этим влиянием порвал. До 43 лет (т. е. отнюдь уже не мальчиком) Достоевский не умел строить роман, а после — научился. Он дает своим героям широчайшую возможность «упражняться в мышлении», но целое строит на краеугольном камне иконы или мифа.

Дело, разумеется, не в том, что романтическая теория познания безусловно верна, или что мифопоэтическое мышление безусловно превосходит логикопонятийное, научное. Я думаю, что это не так, что каждый вопрос, который может быть выделен, обособлен, ограничен, попадает во власть науки, и во многих случаях научное исследование — главный, если не единственный путь к истине. Мифопоэтическое мышление остается единственной альтернативой только там, где научное познание невозможно, — при подступах к тайне целого (к целостности бытия, к целостности личности). Во многих случаях оно идет рядом с научным мышлением к одной цели и может контролироваться им — и в свою очередь контролировать его, так что «поэтическое» и «научное», «ассоциативное» и «логическое», «интуитивное» и «дискурсивное» лучше сочетать, чем противопоставлять. Но если уж ошибаться, если уж делать крен в ту или другую сторону, то художнику лучше ошибаться так, как Достоевский, чем так, как Чернышевский.

Любой средний западник решил бы вопрос о судьбе Константинополя или о независимости Польши лучше, чем это делал Достоевский. Некоторые страницы его (и не только в «Дневнике писателя», а в романах) стыдно перечитывать, — именно рядом с дру-

гими страницами, высочайшими по своему духовному уровню. Отказавшись от организующей роли идеи, от контроля логики, Достоевский временами попадает во власть довольно пошлых стереотипов, и они выпирают из тонко организованного текста карикатурными образами полячишек, жидков, немцев и французов (вообще всех иностранцев, кроме англичан, к которым он почему-то сохранил симпатию) или не менее карикатурными образами нигилистов. Но если говорить о искусстве в целом, о способности создавать художественное целое, прекрасное, несмотря на отдельные испорченные страницы, то это — искусство — тот самый случай, в котором мифопоэтическое мышление сильнее, чем какой угодно философский метод. Перефразируя Маркса, я бы сказал, что какая-то мифология (или иконология, или легендология) всегда была, есть и будет почвой и арсеналом великого искусства.

Художественный опыт Достоевского был началом поворота, захватившего постепенно всю мировую литературу, — не то что в о з в р а щ е н и я к мифу, потому что буквальные возвращения невозможны, но поисков новых интерпретаций старых мифов, или каких-то аналогов мифа, способных играть примерно ту же роль, что и миф, но в новых условиях, в новом контексте. В течение нескольких веков (начиная с Буало) демоны допускались только в стихах, как питическая вольность, или явно иронически (как в «Хромом бесе»). Достоевский впервые серьезно вводит в реалистический роман чёрта и Христа. У него были некоторые предшественники — Гофман и романтики. Но никому из них не удалось ввести даже чёрта, не говоря о Христе, в реалистический роман. Дьявольщина локализовалась в романтической новелле, сбивающейся в сказку (например, в «Страшной мести» Гоголя, но никак не в «Мертвых душах»). Роман, ведущий и, я бы сказал, специфический жанр

Нового времени, чрезвычайно упорно сопротивлялся всякому «прикосновению мирам иным». Попыток было много, но ни одна не получила серьезного признания. Только Достоевский пробил брешь в этом сопротивлении жанра, нашел канонические формы изображения сверхъестественности обыденной жизни. Поэтому он несет главную ответственность за ремифологизацию прозы XX века. Иногда ему подражают даже в деталях, в технических приемах (Томас Манн в «Докторе Фаустусе», Булгаков в «Мастере и Маргарите»).

Третье толкование коана соединяет первые два и кажется мне самым глубоким. Истина — эвклидовское сознание, доказывающее математически (как любил говорить Достоевский), что ближнего любить нельзя. А равно А, А не равно В, и разве я сторож брату моему? Христос же — это символ целостного сознания, в котором аргументация смердяковского и даже карамазовского типа делается невозможной и отпадает, так сказать, сама собой.

Все люди смертны. Кай человек, следовательно, Кай смертен. Атом равен себе, только себе, и не равен ничему другому, не имеет с ним ничего общего. А потому справедлив каторжный афоризм: «умри сегодня — я умру завтра!» Или, в «Записках из подполья»: «Миру ли провалиться или мне сейчас чаю не пить? А я скажу, чтоб мир провалился, а мне чай всегда пить».

Подпольный афоризм доводит эвклидовское сознание до абсурда. Если мир провалится, то где же чай пить? Но, по большей части, абсурд скрыт: мы применяем законы логики, не думая, что они значат в целостности жизни, не замечая их нравственного влияния на себя. Между тем, как только логика прилагается к целостности космоса или целостности внутренней жизни, к личности, все распадается на куски. Мы иногда удивляемся, что мифопоэтическое мышле-

ние снимает оппозиции, соединяет вместе жизнь и смерть и т. п. несоединимые вещи. Надо бы удивляться другому: как эвклидовский разум всюду создает оппозиции, неразрешимые антиномии, как он раскалывает все духовное, целостное — и наш внутренний мир, и целостность любви, соединяющей человека с человеком.

Чисто эмпирически вы, вероятно, знаете, что поток доказательств — примета нарастающего разрыва. Или, по крайней мере, помните это из стихотворения А. Ахматовой «Разрыв»:

«...и до света не слушаешь ты,
Как струится поток доказательств
Несравненной моей правоты».

Чисто эмпирически мы знаем, что сатана может полюбиться лучше ясного сокола, и вообще самые серьезные жизненные вопросы решаются не умом, а всем существом. Это специально отмечал рационалист Чернышевский (знавший по опыту, что жену и революцию он выбрал вопреки разуму).

Эвклидовский разум, разорвав действительность на атомарные факты, устанавливает затем между этими фактами строгие, подчиненные закону связи. По установленным законам можно регулировать свои отношения с природой и с людьми (поскольку они остаются для нас чужими). На основе логики и закона можно улаживать квартирные ссоры и международные конфликты. Я горячий сторонник логики и закона в отношениях между гражданами и государством. Но если отношения между мужем и женой начинают регулироваться законом, то пора подавать заявление о разводе. И если сын платит матери алименты по исполнительному листу, то, хотя это законно и разумно, и попросту удобно (не надо переводить деньги по почте, не пропъешь и т. п.), но производит крайне неприятное впечатление.

Эмпирически мы все это знаем, но очень трудно было в рационалистический XIX век, с возмущением отвергавший идею ограниченности логики и закона, как ретроградство, сказать то, что сказал Достоевский. И может быть, только на каторге, лишенный всех прав состояния, наедине с своей судьбой, он решился сказать: «Я предпочел бы остаться с Христом вне истины, чем с истиной вне Христа». Христос здесь — не только факт любви, пересекающий вот этого эвклидовского человека, но и факт высшего целостного сознания «сильно развитой личности», пересекающего весь эвклидовский разум.

При таком толковании *credo*, Христос Достоевского — некоторый уровень нашего собственного сознания, некоторая его глубина, обычно недоступная, но совершенно реальная и раскрывающаяся в «сильно развитой личности» как ее внутренний закон, норма, структура.

Я не уверен, что Достоевский мог подробно описать эту структуру. Но он чувствовал подступ к ней в лике Христа.

Тут можно вспомнить одну довольно древнюю историю. Когда начал складываться культ Марии-Девы, это вызвало протест образованного духовенства. Один из самых образованных людей своего времени, патриарх Несторий, разъяснил, что в Христе сосуществуют, не сливаясь, две природы, божеская и человеческая. Мария родила Христа, спасителя, помазанника Божия, но не Бога. И поэтому должно именовать ее христородицей, но не богородицей. Бог же вечен и никто не рождает Его.

Согласитесь, что электронная вычислительная машина, если бы ее запрограммировать данными сложившегося к тому времени христианского богословия, не нашла бы более разумного выхода. Однако разъяснение Нестория вызвало ропот: и не только среди язычников, нацепивших крест, но привыкших молиться

Изиде с младенцем. Ропот был почти всеобщий. Несторий не заметил, что его логически безупречная теория разрушила личность Христа, поставила вместо целостности агрегат, в котором божеское и человеческое залиты из разных трубочек, как вода и смазочное масло.

Возникла большая церковная смута; собор, созданный в Эфесе, осудил взгляды Нестория и постановил, что божественное и человеческое соединились в Христе «неслиянно и нераздельно».

Столкновение терминов — неслиянно и нераздельно — кажется логически недопустимой абсурдной поповщиной. Во всяком случае, грамматику так нельзя было бы построить. То, что мы пишем слитно (например, «чтобы» в обороте «чтобы сказать»), не пишется раздельно; а то, что мы пишем раздельно (например, «что бы то ни было»), не пишется слитно. «Неслиянно и нераздельно», т. е. «слитно и раздельно в одно и то же время» — это соединение логически несовместимых терминов, абсурд. Однако логика расколола личность Христа на несливающиеся, как масло и вода, «природы», а абсурд ее восстановил. И дело не только в том, что идея богочеловека по природе алогична, абсурдна, и таким образом, абсурдное содержание нашло свое естественное (абсурдное же) развитие. Мне кажется, дело скорее в личностной форме христианства, в личности Христа, и во всякой личности. Я думаю, что «неслиянность и нераздельность» — принцип, по которому строится не только личность Христа, но и всякая человеческая личность. Попробуйте приложить к личности эвклидовский разум — и вы получите либо клубок несовместимых противоречий, либо интеллектуальную машину (которой часто кажется Каренин своей жене). Стандартный толстовский герой не чувствует этого только потому, что очень редко «упражняется в мышлении». А начните упражняться побольше — и вы сразу почув-

ствуете, что это такое. Левин, принявшись размышлять на теоретические темы, сразу стал прятать ружье, чтобы не застрелиться, и веревку, чтобы не повеситься.

Личность можно представить себе как «неслиянное и нераздельное единство двух природ»: первой (назовем ее условно, в терминах эфесского собора, божеской), обращенной к миру как единству, и второй (в тех же терминах — человеческой), обращенной к миру, расколотому на множество фактов. Логически они непримиримы. Как только началась история философии и основы бытия стали сознаться в форме постулатов, принципов, — на одной стороне выступил Демокрит и сказал: «Есть только атомы и пустота». А на другой выступил Парменид и ответил: «Только единое есть; многого не существует». Прошло две с половиной тысячи лет, и на страницах романа «Преступление и наказание» примерно об этом же продолжает спорить Раскольников с Соней. Раскольников спрашивает: «А тебе Бог что за это делает?», — зная заранее, что Соне нечем ответить; потому что мир, как известно, есть совокупность атомарных фактов, и никаких атомарных фактов добра в жизни Сони нет. Но Соня отвечает: «Все делает». На первый взгляд — глупый ответ. Но на самом деле, это ничуть не глупее, чем философия Парменида. Бог ей действительно все делает. Под образом Бога она воспринимает мир как сияющее целое, и это единство бросает луч красоты на ее страшную жизнь. Единство мира, увиденное под образом Бога, делает и личность ее цельной, единой, а потому и сильной, сильнее, чем расколотая личность кандидата в Наполеоны. И в конце концов богатый силами, но расколотый герой подчиняется убогой Соне и делает то, что Соня считает верным.

Основа личности — в ее глубинном слое, в ее отношении (каком бы то ни было отношении) к тайне

бытия как целого. Если такая основа есть и есть единство этой основы с другим аспектом личности, с ее, так сказать, человеческой природой, обращенной к множеству атомарных фактов, — то все черточки, из которых постепенно складывается личность, все эти исторически и биографически наложившиеся рубцы уходят корнями в глубину, сплетаются в этой глубине, и возникает второе единство, более зримое, но также «неслиянное и нераздельное» — единство всех индивидуальных привязанностей, ценностей, отношений, установок, единство личного облика и стиля.

Уничтожьте глубину личности, уничтожьте образ целостного мира, который она в себе несет, и личность вся начнет распадаться. В этом смысле армейский офицер, персонаж «Бесов», совершенно прав, заметив: «Если Бога нет, то какой же я капитан?» Его слова обычно толкуют в смысле зависимости сознания маленького человека от общественной иерархии: капитан предполагает генерала, генерал — царя, а царь земной — Царя Небесного. Однако можно понять капитана серьезнее. Разумеется, слово Бог не обязательно; возможно другое слово, связанное с другой системой икон. Но без какого-то (организованного культурой) образа и подобия целостности и совершенства личность вряд ли возможна.

Эвклидовское сознание ставит нас перед выбором: или свести зримые черты личности к логическому единству, — тогда получим социальную машину, автомат; или разрушим логическое единство, — тогда получим шизофреника. Современный человек, вынужденный упражняться в мышлении, колеблется между состоянием автомата и состоянием психопата. Эти крайние позиции обычно жестко не фиксируются, и только талантливая комедия может заострить ситуацию и показать мгновенное превращение живых

счетных машин в эротоманов.* Но внимательный анализ почти всюду может проследить тенденции к автоматизму и психопатизму, даже в самых высоких и рафинированных явлениях культуры XX века. Поэтому порывы героев Достоевского к сознанию, в котором снимаются оппозиции эвклидовского разума, вызывают такой живой отклик. И понимание структуры романа Достоевского как системы, порождающей и суммирующей эти порывы, — не только академическая задача.

Вы знаете, что собака, заболев, бежит в лес и ищет там травку, которая ей нужна, и порою находит ее. Подобно этому, человек, заболевший духовно, т. е. переживший разум своего времени как болезнь, ищет нужную ему травку в забытом наследии культуры. В этом — наиболее глубокий смысл известного афоризма Достоевского: «Больной человек ближе к своей душе». Одним из первых Достоевский начал искать травку, спасающую от болезней «слишком сильно развитого» эвклидовского сознания. И угадывал ее в обрывках средневекового иконологического мышления.

Я думаю, что Достоевский непременно должен был припомнить на каторге лик Христа, а это значит — и всю структуру византийско-русской иконы; и таким образом он припоминал, хотя бы смутно, структуру сознания, умевшего снимать оппозиции рассудка. Это не более невероятно, чем припоминание традиций маниппеи, о котором писал М. М. Бахтин. Тут тоже есть своего рода «память жанра, память культуры».

Евангелие само по себе не дает пластически цельного образа Христа. Христос в нем выступает то в одном, то в другом повороте, и единство надо угады-

* Я вспоминаю при этом американский фильм «Квартира», но мог бы вспомнить «Урок» Ионеско и т. п.

вать, и можно не угадать. Эвклидовскому разуму бросаются в глаза скорее противоречия. В течение двух веков он упражнялся в анализе этих противоречий и создал целую традицию, которую Достоевский не мог не знать. Отголоски этой традиции его все время настигали — и раздражали. В противовес им он непременно должен был опереться на икону, т. е. или припомнить ее, или воссоздать заново, создать в воображении некое подобие иконописного лика.

В иконе на первый план выступают не противоречия личности, а ее единство, целостность. Разумеется, икона делает это по-своему, не рассматривая интеллектуальных контрверзов, а просто соединяя вместе несовместимые черты физического облика человека и вообще несовместимое в пространстве и времени. Например, в случае, разобранным П. А. Флоренским, подбородок и губы Богоматери девичьи, а глаза женщины, похоронившей всех своих детей. Или в другом случае, который мне самому пришел в голову: в Распятии кисти Дионисия Христос почти что парит на кресте, Он прямо с креста готов взлететь на небо. И Богоматерь, окруженная святыми женами, скорбит так просветленно, словно уже прошли страшные три дня и свершилось воскресение. Таким образом, икона подсказывает мысль, что вещи, абсолютно несовместимые в эвклидовском разуме (как юность и старость, жизнь и смерть), на каком-то уровне бытия могут быть совмещены. И нечто подобное икона могла подсказать Достоевскому. Христос в его символе веры — это намек на существование высшей системности, в которой невозможное становится возможным, и воскресает Лазарь, и (что еще более немыслимо) генерал, затравивший мальчика собаками, и мать этого мальчика войдут в какое-то высшее нравственное единство.

Мне кажется, что спор Христа с истиной (или вернее, спор эвклидовского разума с молчащим Хри-

стом) — это модель, по которой был построен, десять лет спустя после письма Фонвизиной, роман Достоевского. Я хотел бы заметить, что признание такой концепции вовсе не требует веры в буквальное воскресение Лазаря (как, помните, Порфирий Петрович допытывался у Раскольникова). Достоевский, может быть, и верил буквально, или, скорее, хотел так верить, но для нас достаточно поверить, что он мыслил в терминах Христос — истина, Христос — эвклидовский разум, и что эти термины приобретают в романе Достоевского глубокий и совершенно реальный смысл.

Христос у Достоевского всегда молчит. Иногда Достоевский торопится и начинает говорить от имени народа-богоносца, т. е. почти что от имени Христа; и тогда выходит не Христос, а истина (т. е. ложь). Но собственно Христос всегда молчит.

Входя в плоть романа, Достоевский очень глубоко понимает свое непонимание, понимает неспособность эвклидовского разума и эвклидовского языка высказать тайну целого, хотя бы и пережитую. Христос у него молчит. Он просто присутствует, и это присутствие как-то сказывается в тех, кто прислушивается к Нему и в тех, кто к Нему не прислушивается, во всех.

В последнем своем романе, в «Братьях Карамазовых», Достоевский, может быть чувствуя близкую смерть, выдал многие свои секреты, обнажил многие свои приемы построения образа. Это сделано, между прочим, и в «Легенде о великом инквизиторе». В Легенде есть антикатолический смысл, есть (чуть-чуть поглубже) смысл, который можно назвать антитоталитарным (и который очень бросился мне в глаза при перечитывании романа в 1952 г.). Но, в конечном счете, за Великим инквизитором стоит не только католичество и не только тоталитарная диктатура. Мне кажется, за ним стоит эвклидовский разум. Разговор

Христа с Великим инквизитором — какая-то аналогия столкновения Христа с истиной. И если это так, Инквизитор не есть что-то внешнее. Нам кажется, что мы против Инквизитора, что мы на стороне свободы, на стороне Христа. Но эвклидовский разум, даже провозглашая свободу, в конце концов непременно убивает ее. И в том мире, в котором человек не может, не умеет выйти за рамки эвклидовского разума, он оказывается в роли Шигалева: начинает со свободы, а приходит к рабству. В какой-то мере каждый из нас попадал в положение Великого инквизитора. Быть Великим инквизитором человечно — так же, как человечно ошибаться. Великий инквизитор страдает от того, что он делает, но не может не делать, потому что убежден в истинности своего дела «математически», так же, как убеждены в истинности своих теорий Шигалев, Раскольников и автор легенды — Иван Карамазов. И поэтому Христос целует Великого инквизитора.

Модель Христос — Великий инквизитор, как всякая модель, проще, чем характер Ивана Карамазова и тем более — чем вся совокупность характеров в романе Достоевского. Разговор Христа с истиной идет в каждом по-разному, очень индивидуально. Но Христос и истина, Христос и Великий инквизитор — это два полюса, между которыми протягиваются главные силовые линии действия.

Детективный сюжет срывает людей с места, идея их назлектризовывает, бросает в силовое поле — и только. Дальше начинаются чудеса. Сюжет (как и всякая среда) дает большую или меньшую вероятность мысли и поступка, но мысль и поступки героя Достоевского не могут быть выведены ни из сюжета в элементарном смысле слова, из борьбы за жизнь, которую ведет Раскольников, ни из столкновения идей. И первый и второй этажи сюжета сами по себе не объясняют, почему роман превращается в цепь ис-

поведей: Свидригайлова — Раскольникову, Раскольникова — Соне и т. д. Все эти исповеди могли бы иногда происходить, но не так часто! Бывает, что человек падает с обрыва. Но у Достоевского люди летят в бездну толпами. Мы не замечаем невероятности этого, потому что искусство нас убеждает (так же, как искусство нас убеждает в единстве девичьих губ и старческих глаз Богоматери). А для тех, кто к искусству Достоевского (или иконы) невосприимчив, искусственность, условность бросается в глаза. Что же заставляет принять эту условность? Где внутренний закон, которому подчиняются герои Достоевского и который мы чувствуем в их поступках?

Внутренняя пружина действия в романе Достоевского лежит глубже уровня убийств, неожиданных встреч и таких же неожиданных скандалов. С этим сейчас все почти согласны. Я думаю, что она глубже и уровня идей. Герои Достоевского могут быть мучениками идеи, но они ни в коем случае не марионетки идеи, не простое средство раскрыть истинность или ложность принципа. Это личности, и личности, в чем-то подобные друг другу, несмотря на то, что идеи у них могут быть разные. Всех их (а не только Ивана) Бог мучит. И потому им хочется поделиться друг с другом, и возникает основа для внутренней переклички, для полифонии,* которую нельзя смешивать с обычным драматическим столкновением персонажей. Это перекличка родственных голосов, связанных общим отношением к жизни, общей зачарованностью одной метафизической задачей. Перекличка, которой в XX веке много раз пытались подражать, но всегда более или менее поверхностно, не доходя до последней глубины и до скрытого в глубине единства, и потому с акцентом на разорванность, на непонимание друг друга. А герои Достоевского как раз удиви-

* Описанной в работах М. М. Бахтина.

тельно понимают друг друга, даже с полуслова. И в этом, как я думаю, основа единства романа, его внутренней цельности. Разумеется, Достоевский выработал много чисто внешних приемов построения своей полифонии, но главное, как мне кажется, не в этих приемах, а в некотором внутреннем духовном братстве главных героев. Это часто враждующие братья и все-таки братья или побратимы (как Мышкин и Рогожин). В последнем романе братство становится открытым (Дмитрий, Иван, Алексей, Павел — дети одного отца). Но оно есть и тогда, когда лишено очевидности и проступает, так сказать, сквозь очевидность.

Вне этого братства только социальные машины (Лужин, Ракитин), существование которых всегда было для Достоевского несколько непонятным и объяснялось обычно западным влиянием. Их присутствие только подчеркивает близость друг к другу настоящих героев Достоевского и вдохновляет Разумихина на его реплику: «Хоть мы и врем, потому что ведь и я тоже вру, да доვремся же, наконец, и до правды, потому что на благородной дороге стоим..., а Петр Петрович не на благородной дороге стоит» (ч. III, гл. 1).

В конце 30-х гг. я склонен был понимать благородный путь как путь неприятия буржуазного общества, капитального дома по контракту на тысячу лет и «процента», в который попала Соня Мармеладова. Но, я думаю, Достоевский (хотя он действительно не принимал ни капитального дома, ни процента) осознавал благородный путь еще на одном уровне — как поиски выбора между эвклидовским разумом и Христом. И это его авторское сознание очень важно, потому что художник-Достоевский и мыслитель-Достоевский — одно и то же лицо, неслиянное, логически противоречивое, но внутренне нераздельное, и роман писал один человек, а не два разных, по очереди хватавшихся за перо. И этот один (хотя очень противоречивый человек) — автор *credo*.

Столкновение Христа с эвклидовским разумом можно обнаружить в каждом значительном герое Достоевского. Они по-разному говорят, и Христос, в ответ, по-разному молчит. И от этого по-разному складывается их судьба (вплоть до самоубийства Свидригайлова, Ставрогина, Смердякова, что я когда-нибудь постараюсь доказать).

Христос молчит по-разному, но Он всегда молчит. Чёрт разговаривает, болтает, а Христос молчит. Даже когда Христос появляется в особом, вклинившемся в роман художественном пространстве, как бы в облаке легенды (о Великом инквизиторе) или в облаке сна (Версилова), Он все равно молчит.

Проще всего сказать, что так всегда было. Такова традиция. В литературе Нового времени есть Люцифер, Мефистофель, Демон, но нет Христа. Не только говорящего, но вообще никакого. И даже святых почти что нет. Почему это так и почему демоны и люциферы в литературе Нового времени (даже отнюдь не декадентской, классической) блещут всеми цветами радуги, а святость скучна — это слишком большой вопрос, и мне трудно было бы ответить на него. Но в рамках нашей темы достаточно заметить, что традиции литературы Нового времени для Достоевского не очень обязательны. Он их довольно решительно ломает, поворачивает роман в сторону духовного мира средневековых притч и легенд. А в средневековой литературе Христос иногда и говорил; и то, что Он говорил, было иногда очень значительно, даже с чисто философской точки зрения.*

Поэтому молчание Христа у Достоевского требует какого-то особого объяснения.

* Например, Екатерине Сиенской Христос сказал (явившись ей): «Я Тот, Который есть, а ты та, которой нет». Это изречение дает очень интересную (личностную) параллель к афоризму Парменида.

Я думаю, что молчащий Христос Достоевского — своего рода параллель к «умершему богу» Ницше; но параллель, в которой есть и отрицание Ницше, снятие его (в гегелевском смысле этого слова). Правда, Достоевский не знал Ницше; но он знал свой собственный эвклидовский разум; он понимал, что в эвклидовском разуме и в эвклидовском воображении бог умирает окончательно, безвозвратно, без воскресения. Это очень ярко высказано в исповеди Ипполита под впечатлением копии с картины Ганса Гольбейна (подлинник видел сам Достоевский за границей):

«...если такой точно труп (а он непременно должен был быть точно такой) видели все ученики его, его главные будущие апостолы, видели женщины, ходившие за ним и стоявшие у креста, все веровавшие в него и обожавшие его, то каким образом могли они поверить, смотря на такой труп, что этот мученик воскреснет? Тут невольно приходит понятие, что если так ужасна смерть и так сильны законы природы, то как же одолеть их?.. Природа мерещится при взгляде на эту картину в виде какой-нибудь громадной машины новейшего устройства, которая бессмысленно захватила, раздробила и поглотила в себя, глухо и бесчувственно, великое и бесценное существо — такое существо, которое одно стоило всей природы и всех законов ее» (ч. III, гл. 6).

Машина, вообразившаяся Ипполиту, — и конечно, самому Достоевскому (Ипполит в своей исповеди — одна из авторских ипостасей), — это научная модель природы, научная модель познания мира. Она действительно дробит и перемалывает иконописные символы так же, как металлическая машина могла бы раздробить и поглотить живого Христа. Но Достоевский знает не только это. В своей мышкинской ипостаси он знает и другое; знает, что «от этой картины у иного еще вера может пропасть», но может и не пропадать. В Мышкине он как бы проходит сквозь

Гольбейна, заставляет почувствовать, что тот же художественный текст можно прочесть иначе, не буквально, что есть иное, более глубокое чтение, при котором раскрывается иной смысл, и за картиной, нарисованной эвклидовским художником, встает призрак иконы Дионисия, в которой смерть на кресте и воскресение сливаются в один зрительный образ. Встает призрак истины о вечной смерти и вечном воскресении. Но такая истина не может быть высказана. Она — в терминах Людвиг Витгенштейна — противоречит грамматике. А следовательно, о ней следует молчать. Вы, вероятно, помните знаменитое правило, которым кончается «Логико-философский трактат»: «То, что вообще может быть высказано, должно быть сказано ясно; об остальном следует молчать».*

Религиозность, прошедшая через испытание эвклидовского разума, молчалива. Она боится слова, образа, боится «возмутить ключи» (Тютчев). Разговор словами предполагает известную антропоморфность адресата — а это даже Августину было невыносимо, и он обратился в христианство только после того, как Амвросий Медиоланский показал ему возможность аллегорического толкования Библии. В новейшее время и аллегории устарели, умерли, и современная религиозность не столько предстоит перед Богом Авраама, Исаака и Иакова, воплотившимся в Христе, — сколько предстоит перед тайной бытия как бы перед Богом, требующим нравственного ответа. Это «как бы» очень трудно философски утвердить, показать одновременно и невозможность верить в Бога Авраама, Исаака и Иакова, создавшего мир в шесть дней, и внутреннюю необходимость как бы верить в него. Поэтому Бог мучает эвклидовских героев Достоевского, а не утешает, и тем больше мучает, чем больше они живут идеей Бога. Поэтому Шатов со

* Есть русский перевод, М., 1958.

страданием отвечает на вопрос, верит ли он в Бога: «Я... буду верить в Бога».

Достоевский ближе всего подошел к сути дела в рассказе Мышкина о его разговоре с ученым профессором. Профессор, разумеется, был прав, отказываясь верить в шесть дней творения и т. д. Но Мышкин был прав еще больше, когда заметил, что профессор «не про то говорил». «Сущность религиозного чувства, — объясняет он Рогожину, — ни под какие рассуждения, ни под какие проступки и преступления, ни под какие атеизмы не подходит; тут что-то не то, и вечно будет не то; тут что-то такое, обо что вечно будут скользить атеизмы и вечно будут не про то говорить...» (ч. II, гл. 4).

В этих словах можно увидеть не только критику атеизма, а некоторое описание самого религиозного чувства — негативное описание. Достоевский (может быть, сам того не заметив) примыкает здесь к очень древней традиции, известной, впрочем, и в православии, особенно в сочинениях Дионисия Псевдоареопажита,* как апофатическое (негативное) богословие. Начиная с памятников VIII-VII вв. до н. э., чувство сверхъестественной полноты бытия, разрывающее сердце и ослепляющее ум, описывалось отказом от всякого описания. И подобно тому, как Достоевский повторяет «не то», «не про то», — мудрец Яджнявалкья, в «Брихадараньяке-упанишад» повторял: «на ити! на ити!» (т. е. «не это! не это!»).

К сожалению, удержаться на таком уровне Достоевский не умел, и Мышкин тут же пытается найти дополнительную опору в «русском сердце», где будто бы зреет окончательный и бесспорный ответ на все человеческие сомнения. Как во всякой игре воображения, здесь есть краешек правды: и в русской тра-

* Писатель V в., скрывшийся под именем св. Дионисия Ареопажита (I в.).

диции были свои духовные вершины, свои великие точки опоры. Но, во-первых, они есть и в других традициях. А во-вторых, мы на горьком опыте убедились, что никакие самые святые традиции не определяют поведения отдельного русского, или немца, или китайца; а в эпоху кризисов культуры — и поведения масс. В каждой традиции, даже не такой изорванной, как русская, даже в очень прочной, — как китайская — есть свои щели, в которые может, например, проскочить великая пролетарская культурная революция. А про Россию и говорить нечего.

Даже в Средние века, когда и в верхах и в низах приняты были формально одни и те же символы святости (крест, например), Бог Сергия Радонежского не вполне совпадает с Богом русского крестьянина. Общим был символ — Христос, крест, церковь; но интерпретации были разные; а сущность мировоззрения определяется скорее интерпретацией ценности, чем ее условным знаком. Грубо говоря, мы все за добро, но все по-разному его понимаем.

И Бог Достоевского — это не совсем тот же Бог, что у мужика Марей. Марей не понял бы странного существования этого Бога, умирающего в разуме и воскресающего в сердце, умирающего во внешнем и воскресающего во внутреннем. Тут — позволю себе перефразировать Порфирия Петровича — не Николка. Тут религиозная концепция нашего века, когда помутился разум человеческий. Достоевский неоднократно пытался бежать от него, и отказавшись от всех западнических иллюзий, прятался от реальности за иллюзиями почвенническими. Но иллюзии рушатся, рассыпаются; не существует «почвы», которой можно заполнить бездну бытия (или, в терминах Достоевского, бездну Бога), бездну, перед которой человек предстоит, всегда сам, один на один, без всякой опоры. И если традиция и почва могут ему чем-то помочь, то только в обнажении этой бездны, а не в

том, чтобы прикрыть ее каким-то годным для всех ответом. Ответ, в котором нуждается личность, — это ее собственный, личный ответ. И после всех порывов к народности каждый мыслящий герой Достоевского снова оказывается перед молчащей тайной бытия, перед молчащим Христом, и ищет своего собственного, родившегося в нем самом «как бы», которое оживит мертвого Бога и сделает Его живым, присутствующим в сердце.

ПОМЕРАНЦ Григорий Соломонович — родился в 1918 г. на территории бывшей Виленской губернии. Перед Отечественной войной учился в ИФЛИ. С начала войны находился в действующей армии, был ранен, имел награды. В середине 40-х годов был арестован. Освобожден в 1956 г. После реабилитации работал в сельской средней школе. Позднее получил разрешение вернуться в Москву. Работает научным сотрудником в библиотеке Академии наук СССР (ФБОН). Занимается востоковедением. В 1971 г. Померанц написал диссертацию о дзэн-буддизме (защита не была разрешена). С начала 60-х годов начал писать философские эссе. Померанц — автор ряда статей, предназначенных для специальных научных изданий, — по востоковедению и литературоведению. На Западе в издательстве «Посев» недавно вышла его книга «Неопубликованное» — философские эссе, публицистика.

УХОД ДАНДАРОНА

(Реминисценция)

Блестящий наследник монгольской йогической традиции Северного (Тибетского) буддизма и одновременно талантливый продолжатель русской традиции классической востоковедной науки — буддологии, Дандарон умер утром 26 октября 1974 года, на середине пятилетнего срока своего третьего заключения в исправительно-трудовом лагере на берегу Байкала (дивное, говорят, место), в возрасте 60 лет. Всего в своей жизни он пробыл в тюрьмах и лагерях около 22-х лет.¹ Так кончилась «дандароновская эпопея» — история его «буддийского процесса», прошедшего в конце 1972 года и завершившегося пятилетним сроком ему и заключением в психобольницы четырех его учеников (в настоящее время все четыре вышли). Процесс был широко освещен в прессе, смерть Дандарона также не прошла незамеченной, и ни о том, ни о другом я не буду здесь подробно писать. Речь пойдет о иных вещах, представляющихся мне сейчас, после

¹ Один французский журналист, которому я об этом рассказывал, сказал, что голые цифры ему ничего не говорят, и что ему надо понять, много это или мало по местным масштабам. Я ответил, что и по «местным» — вполне достаточно, и что, по-моему, ему следует подумать об этих вещах еще до «мягкой» реализации (он в нее свято верит) его маоистских идеалов.

его смерти, очень значимыми именно в связи с его жизнью и смертью.

Заметку об этом удивительном человеке я хочу начать с разговора об одном престранном явлении, которое просуществовало в России, пожалуй, лет 50-60 и которое я бы назвал не менее странным словом «имперская культура» (именно имперская, а не императорская). Название это чисто условное. Оно имеет отношение к царствовавшей династии не более, чем название стиля «ампир», и подразумевает существование определенной, хотя и чисто элитарной, но при этом весьма обширной, открытой и абсолютно наднациональной культурной среды. Складывание и развитие этой среды так долго никто не хотел увидеть за проклятыми ярлыками «немец», «русский», «поляк», «еврей», «калмык»,² «иноверец» — за той страшной болезнью обозначений, которой не избегли даже великие этого места, даже Достоевский, даже Чехов, меж жизнями которых «имперская культура» и стала самой собой.

И вот в чем сущность этого явления: какие бы диковинные и, казалось даже, чуждые русской культуре по конкретному содержанию вещи ни являлись на ее периферии, какие бы неожиданные импульсы ни возникали вне основного ее течения, они неизбежно «затягивались» в нее, сливаясь с общим ее потоком и сообщая ей особую универсальность и особое разнообразие. Она ничего не гнала из себя, но стремилась вобрать в себя всё, как своё (но только на высшем, элитном уровне своего существования).

В самом деле, когда пожилой Осип Манделштам возвращался в свою «буддийскую Москву» (выраже-

² Вспомните пушкинское «и друг степей, калмык». Я думаю, что Пушкин был идеальным предтечей такой именно культуры.

ние, употребленное им не единожды),³ молодой Бидья Дандарон еще только собирался в не совсем пока еще «дебуддизированный» Ленинград — кáры на буддологов пришли через пару лет.⁴

А когда Дандарон родился, то уже достраивался буддийский храм в Петрограде, построенный на деньги бурятских и калмыцких скотоводов и православных академиков.⁵

Но пойдем еще дальше назад, перескочив через три четверти столетия, и мы обнаружим, что в России изучение Северного буддизма началось почти тогда же, когда оно началось в самой колыбели мировой буддологии — Англии. Не славный ли повод вернуться к вечно молодой теме русского приоритета? Да ведь под самим же Николаем Палкиным, а не под каким-нибудь там Вильгельмом Четвертым,⁶ Якоб Шмидт и Антон Шифнер начинали переводить, трактовать и издавать тибетские и монгольские буддийские тексты. Да ведь немцы они, кажется? — да в том-то и дело, что не немцы и не русские они сейчас, а пер-

³ Я не могу не оговорить здесь, что для Мандельштама это означало «потерю привычных для него культурных форм бытия». Такова трактовка этого образа в мемуарах Н. Я. Мандельштам.

⁴ Здесь вспоминается чудный эпизод из книги Джойса «Портрет художника в юности». Ирландские националисты кричали тогда в Дублинском театре: «Мы не буддисты». Уже тогда (или еще тогда) неизвестный им буддизм был для них синонимом имперской культуроёмкости и духовной (только духовной!) терпимости ненавистной им Британии.

⁵ Сейчас в храме размещена Лаборатория Эволюционной Морфологии, где препарируют животных. Это — не для ужаса, а для смеха. Всякая «акультура» неосознанно создает свою символику.

⁶ «Под которым» (непереводимое на английский язык выражение!) начинал свою работу в Непале первый английский буддолог Ходжсон (1800-1894).

вые приметы той элитной культуры, которая жадно вбирала в себя свершения, не заботясь о языке и происхождении (в это время уже начинался русский полиглотизм, идущий от русско-французского и русско-немецкого билингвизма).⁷

А немного позже (далее назад идти некуда и нам придется «возвращаться вперед»), в 50-60-х годах прошлого столетия первые доклады о живом буддизме стали публиковать и соотечественники Дандарона в православной же, конечно, и, вдобавок, — Императорской Академии Наук. Прошло еще лет 20, когда буряты и калмыки, не переставая быть бурятами и калмыками, объясняли православным, лютеранским и даже неверующим русским профессорам религию и философию буддизма. И не на правах туземных информантов, а на правах коллег. Это не было русификацией, ассимиляцией, абсорбцией — ни один из этих мрачных, дурацких терминов здесь неприменим. Просто здесь уже работала во всю элитная культура. Только внутри нее и могла возникнуть русская наука о буддизме с плеядой славных имен: Минаев, Васильев, Позднеев, Ольденбург, Цыбиков, Щербатской, Обермиллер, Востриков... Эта культура не боялась буддизма и не превращала его в диковинку для туристов; буддизм просто становился ее фактом, ее феноменом.⁸

Когда Дандарон в возрасте 4 или 5 лет был объявлен перевоплощением одного умершего буддийского

⁷ Когда, много позднее, один русский дворянин спросил академика Щербатского, почему тот, русский дворянин, а пишет свои работы по-английски, Щербатской ответил, что он их пишет только для тех русских дворян, которые знают английский. Не естественный ли это «рефлекс» на имперскую культуру?

⁸ В официально-православном Забайкалье стояло не менее сотни буддийских монастырей, которые потом как языком слизала официальная свобода совести.

святого и провозглашен духовным принцем Бурятии, то в Петрограде уже погиб молодой Розенберг: то ли в Финском заливе утонул, поздней осенью катаясь на лодке, то ли от тифозной горячки умер, то ли в пожаре сгорел — уже в 21-м году было трудно установить, что послужило истинной причиной смерти в 19-м или 20-м автора единственной в своем роде книги — «Проблемы буддийской философии».

В «ласковые» 20-е годы, когда бурятский буддизм, как и русское православие, пережил волну обновленчества и коллективизма в духовной иерархии (что не помешало 30-м годам равно «вывести в расход» новых вместе со старыми), мальчик Дандарон учился у лам йогической практике медитации, тибетскому и старомонгольскому. В это время его духовный наставник — крупнейший буддийский мистик Цеденов, и его отец — ближайший сподвижник последнего, уже погибли или исчезли из Бурятии, а академику Федору Ипполитовичу Щербатскому, еще директору Института Буддийской Культуры в Ленинграде, был любезно предоставлен в помощники славный простой парень в кожаной тужурке.

Когда, наконец, в «справедливые» тридцатые годы молодой Дандарон приехал учиться в Ленинград, он нес в себе незаурядные возможности буддологических свершений. Снова, как в «серебряные десятилетия», тибетская Монголия пришла учить и учиться... Дандарон уже тогда очень много знал — плод не только врожденного таланта и поразительной буддологической интуиции, но и богатейших сведений о тантристском буддизме, полученных в раннем послушничестве. Но Мандельштам уже благополучно «уехал» из «буддийской Москвы», а в буддологическом Ленинграде жизнь становилась столь странной, что даже старожилам было не разобраться, а не то что гостям из Забайкалья. Я не знаю, успел ли за два года «разобраться» Дандарон, но он успел многое сделать в по-

полнение своей буддологической эрудиции, не говоря уже о превосходном русском языке. Да если бы и разобрался, навряд ли это ему помогло б, когда в конце 37-го он был арестован, не то как буддийский шпион, не то как конспиратор. Обермиллер к этому времени уже сгорел в чахотке, а Востриков был взят почти одновременно с Дандароном. В буддологии остался один Щербатской. В Бурятии всё, что осталось от монастырей и молелен, было растоптано местной прогрессивной молодежью, а все, что осталось от монахов — лам, поехало на... Правда, на восток от Забайкалья не очень уж поедешь — скоро Тихий океан. Но можно и на север — мы не догматики географии. Да и немного от них осталось.

В тюрьме Дандарон был страшно пытан. Потом — голод и стужа лагерей. Потом — крошечное «окно» — менее чем в год освобождение после войны и, по известному приказу, повторное заключение. И так до середины 50-х годов. Всё это время — более 18 лет — размышления о буддийской философии, чтение молитв, йогическая практика. И всё это — в проекции на лагерную жизнь. И кого здесь только нет... И коммунисты, и эсеры, и белые, и красные, и черные, и желтые. Тут уж не российская, а прямо мировая империя в микропрототипе. Да и не в таком уж «микро». Буддийской работе помог чудной случай. После разгрома Квантунской армии летом сорок пятого «с налета» хватанули лам из какого-то якобы сопротивлявшегося монастыря. Те из них, кто доехал до лагеря, стали на долгие ночи и дни буддистическими собеседниками и сотрудниками Дандарона. Вокруг них постепенно сложился своего рода буддийский круг, опять же такой пестроты, которую мог явить только лагерь того времени; здесь и бывший профессор из бывшего Института Красной Профессуры, и бывший немецкий журналист, и бывший секретарь обкома, и бывший.., но в их тогдашнем «настоящем» (а кроме

настоящего тогда не было ничего) всё это было к р а й-не серьезно. Они занимались буддийской философией и йогой, но главное — осмыслением своей собственной жизни и своего собственного положения в смысле буддийской философии и йоги. В течение нескольких лет Дандарон руководил этими занятиями. Это не было испытанием буддийских принципов или этических идеалов; скорее, это явилось о с о б ы м о п ы т о м, произведенным людьми над самими собой, ибо только в таком опыте и можно видеть сущность практического буддизма (любой эксперимент над кем-либо, кроме себя самого, в буддийской этике запрещен а б с о л ю т н о, будь то эксперимент физиологический, психологический, этический или социальный). Вспоминая о лагере, Дандарон часто повторял, что странствующему из рождения в рождение буддисту очень полезно родиться в России. И, смеясь, добавлял: «Заметьте, я говорю «буддисту», а не «буддистам», — это очень значимая поправка. Пока Дандарон был в лагере, с буддологией в России просто ничего не происходило. Давно умер Щербатской. Давно погиб в лагере Востриков.

В середине пятидесятых годов почти одновременно произошли два события. После лагерных странствий возвратился в Россию Дандарон. После странствий по Индии, Центральной Азии, Китаю, Европе и Америке возвратился в Россию Юрий Николаевич Рерих — превосходный буддолог, феноменальный знаток Тибета и Монголии. Замечательно, что одним из его первых вопросов мне, в то время его подчиненному по службе и ученику, было: «Вы знаете Дандарона?» Я сказал, что не знаю. Юрий Николаевич улыбнулся и сказал: «А я знаю». И вдруг, снова началась буддология, как никогда или, как когда-то. Стали переводиться и издаваться буддийские тексты. Появились новые серьезные статьи, трактующие самые сложные вопросы религии, метафизики и психо-

логии буддизма. Над буддийскими проблемами работали не только молодые индологи, но и молодые китаисты, цейлонисты, вьетнамисты (старых не было). Дандарон наезжал в Москву и Ленинград, изредка. Очень много работал, писал, переводил с тибетского, толковал тексты, описывал и систематизировал рукописи и ксилографы.

Мы не пробыли с Рерихом и трех лет. Этот странник умер еще не старым от разрыва сердца. Я не знаю, почему, но после его смерти мне стало ясно, что буддология без буддизма — вещь почти невозможная или очень трудная (это положение — субъективно, и может иметь силу только в отношении одного человека). Другой же странник продолжал работать. С середины 60-х годов Дандарон занимается истолкованием основных положений буддийской философии для обогащения и развития современного философского и научного знания. Одновременно он занимается истолкованием ряда основных положений современного философского и научного знания в смысле и для осознания их в духе буддизма, стремясь выработать новое осмысление традиционной буддийской метафизики. Скрупулезно и детально занимается Дандарон и объяснением основных положений теории и практики буддийской медитации. Постепенно стали появляться ученики — из Ленинграда, Москвы, Прибалтики, Украины, Бурятии. Он любил говорить, что это не они идут к нему в Улан-Удэ, а буддизм идет на Запад. И он говорил еще одну вещь, которая, хоть на первый взгляд и кажется удивительной, но на самом деле в высшей степени связана с самим буддийским духом релятивизма: именно Дандарон, который был столь тесно связан с древней традиционной почвой Северного буддизма, утверждал, что у буддизма нет места, как нет времени, эпохи, и что буддизм странствует, не зная народов, стран и климатов, ренессансов и декадансов, обществ и социаль-

ных групп. Это не значит, что буддизм отрицает всё это — буддизм ничего не отрицает. Это значит лишь, что буддизм не знает этого, что это — не его дело. Что очень характерно для отношения к Дандарону местных бурятских властей, так это то, что они ненавидели его именно за его принадлежность к их духовной традиции, к традиции, ими же самими и отвергнутой. Что касается другой, важнейшей стороны его проповеди — проповедуемого им философского универсализма буддизма — то эта сторона была им просто недоступна, ибо они уже отступились от традиции. И Дандарон как бы служил живым напоминанием об их отступничестве от прежней культуры и о невозможности реального принятия ими никакой другой, хотя сам он, будучи человеком глубоко позитивного склада, никогда не имел в виду упрекать их за это. Когда в начале 70-х годов Дандарон при помощи друзей построил на своей родине в Кижинге памятные сооружения (т. н. «ступы») своим учителю и отцу (мать его умерла в 1971 году в возрасте около ста лет), то соотечественники с жуткой злобой уничтожили оба памятника; так жаждали они своего нового и не существующего, межеумочного «ни бурятского — ни русского» самоотождествления.

Затем — осень 1972 года. Новый арест. Процесс. Лагерь. Смерть. Так произошёл уход Дандарона из этого рождения и, возможно, из этого места.

Дандарону удалось в нынешней России быть одновременно ученым-буддологом, буддийским философом и буддийским йогом. Значит, это возможно.

«SVĚDECTVÍ»

Чехословацкий культурно-политический
ежеквартальный журнал
№ 48

Павел Тигрид — Советская сверхдержава и другие

Зденек Гейцлар — Советская политика разрядки международной напряженности и оппозиционные силы в СССР

Иржи Ковтун — Советские диссиденты: обсуждение реформы

Андрей Сахаров — Автобиографические данные

Александр Солженицын — Власов

Иосиф Бродский — Стихи

Ян Верих — Ночь убегает на черном коне

Осип Мандельштам — Стихи

Надежда Мандельштам — Такова моя вера

Арсен Похрибный — Из жизни московских прогрессивных кругов

Иосиф Шкворецкий — Пираты

Здена Саливарова — Плудек идет ва-банк, а Левит плутует

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: ПАВЕЛ ТИГРИД

Стоимость подписки на год: в США — 12 ам. дол.; в Швейцарии — 40 шв. фр.; во Франции — 50 фр. фр.; в Великобритании — 5,50 англ. фунтов; в Австрии — 220 австр. шилл.; в ФРГ — 33 н. м.

Оплату подписки следует производить международным почтовым переводом на любой из указанных адресов:

«SVĚDECTVÍ»

в США — Box 1181 Grand Central Station. New York 10017, N. Y., USA.

во Франции — 6 Rue du Pont de Lodi, 75006 Paris, France.

в Австрии — Wien. V., Margaretenplatz 7, Autriche.

Валентин Мороз

ХРОНИКА СОПРОТИВЛЕНИЯ

Широкое гнездо меж гор — Космач.

Засеянные на лесистых склонах гуцульских гор хаты — будто россыпь цимбал.

Бесконечное кружево оград, темные ели, голубой контур вершин на горизонте. Первобытный языческий триптих: шум ручья, несчастный звук коровьих колокольчиков и далеко-далеко собачий лай.

Космач — в этом что-то угрюмое и грозное, первобытно-косматое. Шерстью наружу — словно кожу в непогоду. По лесам вокруг еще не вывелись медведи... Раньше, во времена Довбуша, хат было реже, лесу — погуще. Крепкий буковый сруб, могучие двери и косяки, а за ними — черный глаз кремневого ружья да широкий оскал бартки (топорика). Не декоративной: была сталинка — из чистой стали. Украшением бартка стала потом. А тогда она была оружием. Тогда было право топора. Есть легенда о великанах, оставивших нам «Писанный камень над Ясеновом». Говорится в легенде, что главной верой их была вера в топор. Богом им был — топор.

Коби мені топір, топір
та кована бляшка,
не боюся я ні німця,
ані того ляшка.

«На иерея в Уторопах Иоанна Ступницкого напали опришки (разбойники) ночью, стреляли в окно, а

отец Иоанн — из окна и одного насмерть застрелил, двоих, которые добирались, поранил. Опришки разбежались, бросивши смолу и свечи и мешки перед хатой.» (Из «Гуцульской хроники» Петра Ступницкого, XIX в.) Но гуцульская старина интересна не этим — не культом топора. Удивления достойно другое: в условиях, где топор был и богом и правом, когда священник лучше управлялся с ружьем, чем с крестом — даже в этих условиях гуцульщина не одичала и не стала духовной пустыней. Наоборот: сохранила то, что остальная Украина потеряла, удивила мир самобытностью.

Достойная удивления сила морального самосохранения: гуцульская «любасування» («милование») не стало проституцией (как в других местах), опришек не стал бандитом — а мог! Кое-где так и было.

Попадался среди опришек блудный люд. Но не в том суть опришничества, чтобы «женить да сладко попить да поесть, на добрых конях поездить». Это не просто «вольные всяких чинов люди, воры и разбойники», стекавшиеся, скажем, к Кондратию Булавину (С. Соловьев, «История России с древнейших времен», т. 15, стр. 180). В опришки не стекались, ими становились — личности с повышенным чувством достоинства, у которых в условиях феодальной деспотии было два пути: стать рабом или уйти в лес. Иногда они строили церкви. И не были они ворами. Воры грабили церкви, а эти строили.

Уния, овладев центрами, постепенно расползалась, преодолевая сопротивление, по глухим углам. На Гуцульщине в середине XVIII века борьба между православием и униатством была еще в разгаре. Украинское православие строило твердыни далеко в горах. Бастием веры становится Скит Манявский. Год 1735. Иван Чупринчук строит в Космаче церковь. Сам, без единого гвоздя, топором и пилой. Это был уже вызов: рядом стояла уже униатская церковь. Там, во Львове

и Киеве, шла полемическая война между Смотрицким и Потием. Тут, среди буков, под Говерлей, война была далеко не бумажной. Тут противника уничтожали не фигурально, вместо чернил проливали кровь. Чупринчук был осужден станиславским судом и умер в тюрьме.

Год 1740. Алекса Довбуш жертвует большую сумму на новую церковь. С того времени она зовется Довбушевной, в честь легендарного вождя опришек.

Священника, присланного в новую церковь из скита Манявского, отравили.

Год 1773. Церковь переосветили в униатскую, но это уже не имело прежнего значения. Галиция стала провинцией Австрии. Польское господство кончилось. Униатство вросло в живое тело украинской духовности, стало явлением национальным. Борьба с ним перестала быть национальным делом — так же, как и защита православия. Скорее наоборот: Россия на отнятых у Польши украинских землях вскоре делает православие орудием русификации. Главное — церковь отстоять. Униатское переосвящение было в то время уже формальным. Церковь не перестала быть Довбушевной.

Пошел XX век. Довбуша подняли на пьедестал. В Космач наехали художники, искусствоведы. Теперь уже не судили за старинные пистолеты, за них платили немалые деньги.

Год 1959. Исполком Космачского сельского совета выносит решение об устройстве музея Довбуша в Довбушевной церкви. Наконец предки, платившие кровью за сохранение святыни, дождались благодарных потомков.

Но у дьявола было много личин. Иногда он надевал даже маску деятеля культуры...

Год 1963. Представители Киевской киностудии имени Довженко одолжили иконостас в Довбушевной

церкви (который тоже зовется Довбушевым). Космачанам вручили расписку с точным перечнем позаимствованных предметов (всего 99) и обязательством вернуть иконостас через пять месяцев.

Год 1964. Пять месяцев давно прошли, и озабоченные космачане стали требовать одолженное. После долгого плутования им ответили: иконостас передан... в музей украинского искусства в Киеве (!!) Как?? На каком основании? А расписка? А закон? А... обычная порядочность? Никто до сих пор не дал ответа. Космачане так и не знают, что думать. Они ведь имели дело с людьми культуры. И считали, что кому-кому, а людям культуры их святыни так же дороги, как им самим. Конечно, космачане привыкли и к таким, которые все местное называют «бандеровщиной» (говорили же некоторые «товарищи» в Косовском художественном училище, увидев гуцульские вещи: «Убрать эту бандеровщину!»). Но ведь эти не такие... У этих были красивые античные бородки и разговор без нецензурных слов. Гуцулы не поверили, что можно просто так: не отдать. Не верят и теперь — после того, как написали больше десяти заявлений кому только можно: в Министерство культуры, в Общество охраны памятников истории и культуры, Московскому патриарху, прокурору, в комитет кинематографии, областному уполномоченному в делах церкви.

Переписка не дала никаких результатов, но выяснила интересные факты. Иконостас передали в музей по распоряжению... уполномоченного в делах церкви Ивано-Франковской области Атаманюка! Об этике некоторых деятелей искусства поговорим потом. Теперь поинтересуемся другим: какое отношение имел Атаманюк к церкви не действующей, к церкви, уже несколько лет перед тем превращенной в музей? И еще: мог ли Атаманюк из Ивано-Франковска передавать распоряжения в Киев?

Здесь что-то не то... За атаманюковой спиной должен стоять кто-то посолиднее...

С Василием Бабюком, инициатором основания Довбушевского музея, разговаривали втроем: заместитель председателя Косовского райисполкома, Атаманюк и... представитель госбезопасности. Начали в таком ключе: «Какое вы имели право (?) писать?». «Иконостас забрал, еще и церковь заберу». Вскоре разговор конкретизировался: «Вас львовские националисты подстрекают», «знаем ваш Космач, здесь стоял целый полк петлюровцев». Не будем придираться к Атаманюку. Откуда ему знать, что петлюровцев на Гуцульщине никогда не было? Не ту академию человек окончил... За церковные дела он взялся после службы в КГБ. Не будем придираться к Атаманюку — потому что его уже нет. После него уполномоченным в делах церкви по Ивано-Франковской области стал Деревянко. Он тоже служил в «органах», но случилась какая-то там неприятность и ему поручили церковь... Такая уж традиция сложилась в Ивано-Франковске: церковные дела отстаивают отставные деятели «органов». Оставим их в покое... Лучше посочувствуем: трудно заниматься церковными делами без теологического образования. Да и разве только теологического?

Немного о Бабюке. Сидим у него дома, разговариваем... Фотографии... Вот довоенные: гуцулы с красным знаменем, красными повязками на рукавах. 1939 год, освобождение, народная милиция. Этот снимок Василь Бабюк стыдливо прячет. Неудобно как-то: был в народной милиции, боролся за советскую власть, а тут попал в «националисты». Был активистом, депутатом сельского совета. Был... Раньше. Но не печалится. Не успокоится, пока не вернет украденный иконостас. Таких не любят. Любят тех, кто понимает «линию» начальства. Ему это безразлично. Смеется: «Меня с Василя не снимут».

Показывает мне письма от львовских «национа-

листов». Вот автограф историка Грабовецкого, автора монографии «Гуцульське опришківство». Вот — патриарха львовских художников Гебус-Баранецкой.

Есть письма и от киевских «националистов». Лауреат Ленинской премии Олесь Гончар, например, пишет: «А история с иконостасом просто возмутительна».

Очень показателен список «националистов». Это новая страница в фельдфебельской «нациологии». Раньше господствовал филологический критерий. «Националистом» считался каждый, кому не безразлична судьба украинского языка. (В городах Восточной Украины «записаться» в «националисты» еще проще: для этого тут достаточно разговаривать по-украински). В доме Василя Бабюка тема повернулась ко мне другой гранью: «националист» — это каждый, кому не безразлична судьба украинской культуры. Очень симптоматично, что среди «подстрекателей» оказался автор «Собора» (Олесь Гончар). Собственно, тут имеем дело с классическим «браконьером», так выпукло показанным в «Соборе», со случаем абсолютной духовной глухоты.

Вот ответ Атаманюка на письмо космачан: «Ваше заявление получено, рассмотрено и считается безосновательным. На учете исторических памятников по селу Космач не было и нет».

Не было и нет... Ну, а сам Космач, уникально одаренное село, радостная вспышка талантов, удивительная даже для Гуцульщины, такой щедрой на них! Лучшие писанки — космачские, лучшие вышивки — космачские, лучшие полушубки, лучшие музыканты — из Бобинополя (под Космачом). А Новакчевский? А Смольский? А Мороз? Все они — тоже Космач. Сколько художников пробудило это село — с того времени, как стало Меккой украинского искусства? Уж если вешать охранную таблицу, то при въезде

в село: «Космач — исторический памятник. Охраняется законом».



Что Атаманюк? Как-то даже неудобно предъявлять столько претензий к мелким исполнителям. Наверное, они никогда не задумываются над внутренним смыслом своей «деятельности». Они просто знают: нужно ликвидировать церковь. Чем меньше иконостасов в области, тем лучше. (Как-то директор одной из школ Киевской области говорил мне с гордостью: «А вы знаете, у нас в районе уже нет ни единой церкви».)

Правда, собственноручно Атаманюк ни одной церкви не разрушил. Для этого культуркампа есть исполнители еще помельче. За спиленный крест платят 25 рублей. Все-таки иудино ремесло девальвирует... Когда-то платили 30 монет. Интересно, из какого бюджета выделяют серебренники для резунов? Труженики, создающие бюджет, не заинтересованы в том, чтобы резали кресты. Может, платит из собственного кармана тот, кто дает в руки нож? Об этом следовало бы спросить наших депутатов с трибуны украинского парламента. Но таких депутатов пока что нет.

Очень символична расстановка сил: церковь защищают люди, готовые на жертвы ради идеи. Их мало, но борцов всегда было мало, однако именно они делают погоду. Атеизм пользуется услугами отбросов, готовых резать за четвертную что угодно и кого угодно. Да, это действительно борьба света и тьмы, как написано в атеистических брошюрах. Но где здесь свет — и где тьма?

Наверное, Атаманюк и вправду не особенно задумывался, осуществляя свой культуркампф. О его старших этого уже не скажешь. В. Любчик очень хорошо знал, что делает, сжигая бойчукистов, Архипенко, Нарбута и старую украинскую графику во Львовском

музее украинского искусства. Потом сгорели библиотеки в Киеве, Тарту, Ашхабаде, Самарканде. Ни одна — в России... Говорят, это случайно. Что ж, давайте поверим. Поверим, что во Львовском музее украинского искусства случайно создали специальный отдел «идейно вредного искусства» (своеобразная камера смертников)... Поверим, что туда случайно попала только украинская классика, что Любчик случайно получил приказ изготовить списки предназначенных к уничтожению вещей и что комиссия для этой инквизиции тоже упала с неба... А если без юмора, то случайность в «истории Любчика» была только одна: письмо художника Кривоноса из Парижа. Уезжая во время второй мировой войны за границу, некоторые украинские художники депонировали свои картины на сохранение в музей. И вот Кривонос справился о своих работах... Если бы он жил в Космаче, с ним просто поговорил бы Атаманюк. Но он жил в Париже... И было это уже после XX-го съезда. Пришлось разыграть комедию: Любчика осудили на 10 лет за... украинский буржуазный национализм. Через полгода Любчик оказался на свободе (теперь занимает должность доцента во Львовском художественном институте).

Наконец-то нам ясно: украинское искусство уничтожают украинские националисты. А вообще «националист» — это западноукраинская разновидность «вредителя». За все бессмыслицы Сталина и Хрущева несет ответственность «вредитель». Нет хлеба — «вредитель», свиньи дохнут в колхозе — «вредитель». На Западной Украине все зло (в том числе наводнение 1969 года в Карпатах) происходит от «националистов». «Трудящийся» из Донбасса, превращенный в работа лошадиными дозами водки и лошадиным трудом, поверил во «вредителя». И до сих пор верит. Но западный украинец не настолько перетерт в ступе обескультуривания и деморализации, чтобы поверить

в «национализм» Любчика. Любчика знают широко. О его подвигах уже написаны стихи.

Следует сохранить для потомков также имя Литуевой — бывшей заведующей Станиславского краеведческого музея. Приехав в роли носителя культуры на отсталую Западную Украину, Литуева имела ясные инструкции — как и Любчик. В 1953 году она уничтожила уникальные вещи — работы Вахметюка, Шкриблякова. И тут был составлен акт — так же, как во Львове. Нет, по собственному усмотрению Литуева этого не сделала бы... так же, как ни один местный капрал не решился бы устроить массовый расстрел кобзарей в 30-е годы.

Литуева крушила вещи с «крестами». Вообще: разрушать основы нации выгоднее всего под предлогом борьбы с церковью. Церковь настолько выросла в культурную жизнь, что невозможно задеть ее, не повредив духовную структуру нации. Невозможно представить традиционные культурные ценности вне церкви. Необходимо наконец понять: борьба с церковью означает борьбу с культурой. Сколько раз нацию спасала именно церковь? Особенно в тех условиях, когда смена веры означала смену национальности. В ряде сел Холмщины украинцы говорили по-польски. И оставались украинцами, пока придерживались украинской веры и церкви. Так же и польская семья в украинском селе на Житомирщине или Подолии столетиями оставалась польской (даже не зная польского языка) — пока была католической.

В условиях Восточной Европы церковь была единственной силой, не зависимой от властей. Возьмем украинское возрождение в Галиции — какую мизерную роль сыграл здесь учитель по сравнению со священником! Учитель был государственным чиновником и дрожал — не выгнали бы со службы. Большинство деятелей украинской культуры в Галиции вышло из духовной среды. «Батюшку» много и справедливо

критиковали, но не следует забывать, что именно на нем держалось украинское движение. Можно смело утверждать, что стеной, о которую разбивалась колонизация в Галиции, была украинская церковь. Невозможно сломить людей, сделать их рабами, пока не украдешь у них праздник, пока не разрушишь традиции, не растопчешь их храм.

Не всегда от храма отгоняют нагайками. Коварный колдун из эстонского эпоса обещал великану Калевипозгу все — только отдай одну «ненужную» вещь: старинную книгу. Наивный богатырь, привыкший напирать мускулы, а не мозг, согласился. Потом жалел, но было поздно: это был завет Бога-Отца. Наш Иван тоже часто отдает, не подумав. Классическое мошенничество: объявить духовное богатство нации «ненужным пережитком», «опиумом народа». А потом найти плебея — Любчика, который за 25 рублей сожжет и порежет что угодно.

И тут на помощь приходит инстинкт самосохранения. Он — главная основа Сопротивления. Того Сопротивления, которым жива нация и духовность вообще. Человека уже «заговорили», уже убедили, что это «пережиток», но почему-то он не сдается — как те рабочие из романа Гончара. Они «с колыбели» знают, что собор «ненужный», они его и не замечают, но что-то им не позволяет отдать собор на поругание. Во время массовых нормандских набегов, когда вся Ирландия пылала пожарами, ирландцы прежде всего прятали саги. В бою ирландского певца-барда никто не имел права тронуть мечом, хотя он своими песнями иногда решал успех битвы в пользу противника. Теми же правами обладал певец у черкесов. Инстинкт подсказывал, что носителя духа нужно беречь.

Нигде на Украине этот инстинкт так не сохранен, как у гуцулов. Может, именно этим обусловлен гуцульский характер: гордый, недоверчивый к чужому, а главное — независимый. Нужно всегда остерегаться.

Дьявол может надеть любую маску. Нужно иметь свой ум и держаться своего. Гуцул всегда брал новое с большой осторожностью и только то, что хорошо увязывалось со старым. Так поступил и с христианством. День святого Уласия хорошо подходил к дню лисицы, день святого Фоки — к дню огня. В этом и состоит искусство самосохранения народа: взять новое, не разрушив старого. Увязать новое с веками создававшимися структурами. Иначе духовность будет строиться на обломках — практически от нуля. Мастерски умеют это делать грузины. Насколько грузинские, насколько национальны даже такие недавние явления, как кино и джаз! Секрет успеха тут в фанатичной привязанности к своему культурному наследию. У грузин есть песни со старинными непонятными словами. И все равно их поют — не понимая слов.

Гуцульщину знают все. На запад от Збруча гуцулом называют каждого местного украинца. Почему именно гуцулом? Ведь Гуцульщина — малая часть Западной Украины. Почему не бойком, полещуком, подолянином? Гуцульщина обладает выразительнейшим на Украине лицом. Долговековые политические границы разбили бойковские и лемковские массивы. Закарпатские бойки потеряли чувство родства с галицийскими. Так же и лемки Пряшевщины: они не называют себя лемками. Только Гуцульщину границы не разбили. Живя веками в трех государствах — Румынии, Польше, Венгрии — гуцулы твердо сознавали свою общность.

Умение сохранять — в этом секрет гуцульской самобытности. В Довбушевской церкви есть распятие, где у рук Христа изображены Солнце и Луна. То же на гуцульских подсвечниках: с одной стороны — христианский Бог, с другой — солнце. Гуцул не выбросил старого бога ради нового. Лица на гуцульских подсвечниках вовсе не христианские. Своей языческой воинственностью они напоминают скорее поли-

незийскую деревянную скульптуру или маски североамериканских индейцев. Это христианское божество — сила, не разделенная еще на Бога и Дьявола, божество как совокупность Добра и Зла. Опускание креста в воду на Водокресте гуцулы встречают мощным ревищем трембит и рогов, так же, как встречали когда-то Ярило или Хорса. (Это удивительное в своей красоте зрелище теперь увидеть невозможно. Святить воду в реке з а п р е щ е н о. Новое достижение культуркампа!)

Высокие культурные достижения возможны лишь при непрерывности традиций. Ничего не потерять, накапливать слой за слоем. Только так вырастает собственная, органичная духовность. Ее не построить за пятилетку, как сталинский канал.

Те космачане, что с риском для жизни строили церковь и возили колокола, чувствовали, что церковь — это не просто церковь. За ней стояла нация, духовность — все то, без чего человек становится рабочим скотом. Тогда тоже не было недостатка в хитрых демагогах, убеждавших, что старая вера отжила свой век. Но неграмотный гуцул уразумел, что за догматическими дискуссиями между унией и православием стоят иные фигуры: с одной стороны — хищные зубы колонизации, уже затопившей города, с другой — сопротивление украинцев. Его потомки тоже чувствуют, что борьба за иконостас — это Сопротивление! Отпор нивелирующей, дегуманизирующей силе, которая обезличивает человека, сдирает с него национальное и культурное своеобразие и делает его рабочей человеко-единицей, двигателем в пол-лошадиной силы.



Космачское своеобразие поражает даже на Гуцульщине, где у каждого села свое лицо. Ни писанку, ни вышивку космачскую не перепутаешь с другой.

Силы, угрожающие затереть лицо Космача, сделать его серым, ширпотребным, были всегда. Но наибольшие испытания перенес Космач в XX веке.

Сначала пришло испытание туристами — эстетиками и гурманами от искусства. Эти погасили не один костер самобытности во всех странах света. Вслед за ними всегда приходил дух торгашества, пропадал климат неповторимости, терялись какие-то неуловимые ароматы. Мастера начинали работать на заказы денежных ценителей, вырождались, и все кончалось ширпотребом. Космач против этого выстоял.

Другим испытанием была Сибирь. Как-то так вышло, что после войны половина космачского населения оказалась в тайге. Как это произошло — разобраться трудно. Никакие классовые премудрости этого объяснить не могут. По классовой теории нужно было выселять богачей, эксплуататоров. Но разве могут эксплуататоры составлять половину населения? Да еще в горском селе, где мало кто имел более 2 га земли? Действительно, с классовым подходом тут и не поймешь ничего. Вот если взглянуть с национальной точки зрения — тогда кое-что можно понять. Сталин очень сердился на украинцев, что их так много. Нельзя всех выселить, как чеченцев. Всех не осилил, но все же выселил, сколько мог. На запад Сталин послал Литуеву и Любчика, а на восток ехали гуцулы — эшелон за эшелонам. Там, за колючей проволокой на «стройках» и в «спецпоселениях», лишённые всех традиций, перемешанные с ворами и бандитами, они должны были стать такими, как Литуева. План предусматривал, что если гуцул и вернется — то культурно опустошенным на культурно опустошенную землю, где уже успели поработать Любчик, Литуева и К°.

Ассимиляция, уничтожение традиционных структур — процесс далеко не механический. Скорее это тонкая химическая реакция, в результате которой у

нации удаляется тот цемент, скрепляющий материал, благодаря которому она держится слитно, как нация. Пусть от нации останется десятая часть, но с полноценной духовностью — это еще не фатально. Из куточка полноценной вербовой веточки вырастает целая вербовая роща. Так было в прошлом с Арменией, а в наши дни — с чеченцами. Их не только выселили, но и специально рассеяли по всему Казахстану и все же практически никто из чеченцев не русифицировался. Мордву никто не выселял — и все же эта нация русифицируется почти без сопротивления. Значит, на каком-то историческом перекрестке мордва потеряла инстинкт Сопротивления. Наверное, мордвины-патриоты согласились бы на «чеченский вариант» с его чисто арифметическими потерями, но чтобы взамен получить каменную стойкость чеченцев.

Сталин действовал методом, который с успехом применяли еще римляне. Историков до сих пор удивляет молниеносность, с которой римляне романизовали покоренные народы. Секрет римского метода — в перемешивании. Галл, египтянин и сириец, сведенные вместе, были вынуждены говорить на латинском языке. Сын иберийца и фракийки, рожденный в Сицилии, становился римлянином — так же, как сын белоруски и чуваша, родившийся на целине, становится русским. Так же, как немец, украинец и казах в целинном совхозе должны говорить между собой по-русски.

Есть немецкое село в Казахстане, где районное начальство десять лет назад безуспешно пыталось поселить казахов. Все возмущались «отсталостью» и «расизмом» немцев. Все удивлялись, почему немцы не хотят «дружбы народов». Да и сами немцы четко не сознавали, что ими руководила сила все того же сопротивления, которое не дает нации исчезнуть. Немцы объясняли свою неприязнь к казахам на бытовом уровне: «Казахи грязные, дикие». Подсозна-

тельные, сложные мотивы сознаются через бытовое, внешнее, конкретное, через «пережиток». «Пережиток» — тоже элемент традиционной структуры. «Отсталые» колхозники-немцы не понимали, но чувствовали, что если они пустят в село казахов, украинцев — в селе исчезнет немецкое, национальная атмосфера — то что составляет основу немецкого «я». Денационализация означает также обескультуривание — это народ чувствует инстинктом духовного самосохранения, благодаря которому человек не превращается в обезьяну, попадая в самые тяжелые условия.

И вот космачанин вернулся из Сибири. Вернулся гуцулом. Пройдя все девять кругов ада, он не стал люмпеном без традиций. Он поет те же песни, рисовывает те же писанки, он не забыл ничего из свадебного обряда. Выражаясь на языке официального культуркампа, великий сталинский план преобразования человека «по селу Космач» не выполнен.

Приехав наконец домой, гуцул думал, что распрощался с Сибирью навсегда. Но увидеть Сибирь пришлось еще не раз. В Космаче гуцула ждало явление, называемое на Западе массовой безработицей, а на Украине, в связи с отсутствием безработицы — «временным нетрудоустройством». Полгода (а то и больше) космачанин проводит на сезонных заработках, далеко от родного дома. К каким духовным травмам приводит подобная ситуация, видно на примере северной, лесной России, ставшей краем опустевших сел, краем заколоченных досками окон. Писал один из русских поэтов: сижу в доме, сделанном несказанно талантливо, в доме-шедевре. Но он уже пуст. Хозяин его сидит далеко-далеко, в ресторане, и пьяно кричит: «Лидочка, золотце, коньяку!». Сколько трагизма: шедевр — но... уже последний. Ведь если даже хозяин вернется, то такого уже не построит. Он уже придавлен не по праву.

В Космаче нет заколоченных окон. Из Космача едут массово, но возвращаются. И главное — космачанин возвращается гуцулом.

Испытание за испытанием... Дьявол надевает все новые маски. В этот раз он появился в образе некоего деятеля искусства. Как-то не верится: Любчик, Атаманюк, представитель КГБ и... деятель искусства — в одной компании!? И все-таки — в одной. Иконы из Довбушевской церкви оказались у него. Следы так ловко заматаны, что люди до сих пор сбиты с толку. Все претензии к Атаманюку — ведь он распорядился отдать иконостас в музей. Это правда: иконостас пошел в музей, но по дороге его ободрал вышеупомянутый деятель культуры, который спрятался за спиной Атаманюка — какой противоестественный союз! И все-таки он имеет реальную основу.

Полубразование — это когда у человека украли традиции, а потом дали образование. Полубразование — это когда культура не вырастает органически от собственного корня, а заталкивается в человека поспешно, за пятилетку, по сокращенной программе. Полубразование — это когда доросли до понимания ценности космачских икон, но не доросли до убеждения, что украсть иконы из Довбушевской церкви нельзя.

Полубразование — явление мировое. Вернее — всеобщая болезнь. На Западе она известна под названием массовой культуры. Любчик еще не стал историей. Любчик еще преподает во Львовском художественном институте. Но над космачскими горами уже вырастает новая фигура — зловещий призрак «Чувака». Внешне эта фигура не выглядит зловещей, — скорее смешной. Иногда даже остроумной — когда критикует догмы. Догмы все критикуют охотно и это понятно в нашей действительности, но за этим приятным занятием как-то не заметили, что главной опасностью стал уже человек без единой дог-

мы, человек, который не верит ни во что. Пришел н и г и л и з м — продукт массовой культуры. Он смекает всякую самобытность на своем пути и на всем ставит штамп б е з л и к о с т и.

Один москвич, гордо называвший себя чуваком, так расшифровал мне это слово: «человек, усвоивший высшую американскую культуру». Курьез — но очень символический: Америка — это хаотическое смешение обломков всех культур. Человека, привязанного к определенным традициям, здесь и там считают «отсталым». Чем быстрее американизируется итальянец-эмигрант в Америке (то есть забудет родной язык и итальянские традиции) — тем больше у него шансов быть причисленным к «полноценным». Так же у нас: хочешь доказать, что ты «прогрессивный» — немедленно забывай свое происхождение и будь советским «общечеловеком».

Как весь мир отражается в капле воды, так в истории с Довбушевским иконостасом отразились все украинские беды. Собственно, не столько в самой истории, сколько вокруг нее. Если бы дело касалось одного кинорежиссера, не стоило бы писать статью. Можно было бы ограничиться еще одним заявлением. Взяться за перо меня вынудило тупое безразличие, с каким наша интеллигенция реагирует на такие действия: «Ну, украл, это ясно, это плохо. Но трогать, наверное, не стоит! Все-таки знаменитость»...

Здесь — корни украинской трагедии. Национальное наследие еще не стало для нашего интеллигента ценностью, дороже любых талантов и заслуг — пусть будут они как угодно велики.

Браконьер выработал даже «теорию»: в дальних углах, мол, ценные вещи все равно пропадают, а «мы» их спасаем. Но это несколько не так. Браконьер лишь примазывается к людям типа Ивана Гончара, подвижника, действительно спасающего ценное наследие от забвения и разрушения. Браконьер не любит затруд-

нять себя, собирая по крупице. Он охотник пожить тем, что уже собрано.

Василь Бабюк жалуется: «Уже трудно найти в Космаче опришков пистолет». Растащили... И никто не спросил себя: а будет ли Космач Космачом, если у него все отнять? Не исчезнет ли он как явление искусства? Сможет ли расти этот удивительный цветок, если взять воздух, которым он дышит? Из Космача нужно брать — писанки, вышивки, лижники* — все то, что производится теперь. Но нужно ли забирать в Киев Довбушевский иконостас XVIII века — даже ценный, не ободранный Параджановым? Здесь действует классическая логика бюрократической централизации: все настоящее должно быть в центре. Периферия должна удовлетворяться обедками.

Однако административное понятие центра далеко не совпадает с культурным. Возможно ли с точки зрения искусства назвать Космач провинцией, как и Яворив, Опішню? Именно они — культурные центры Украины, родники, без которых задохнулось бы украинское искусство. Настоящая, глубинная Украина — там. Именно там может почувствовать киевский или львовский художник, что такое Украина. Самопознание нации без таких центров невозможно. И уж если искать святые места для украинца, то в Космаче, а не в Иерусалиме. Кража в святых местах всегда каралась очень сурово. Украинцы же пока разрешают кому угодно безнаказанно растаскивать национальные реликвии из своей Мекки. Да и сами непрочь. Крайне огрубевший, опустошенный, повергнутый в состояние сомнамбулического сна, украинец наших дней не реагирует на удары, временами очень чувствительные. Апатия, с которой украинская интеллигенция встретила ограбление Довбушевской церкви, прекрасно это доказала.

* Гуцульские одеяла.



Даже у народов, судьба которых складывалась счастливее нашей, немного таких незагрязненных родников, бастионов с таким могучим инстинктом Сопротивления, как Космач. Их бдительно стерегут и берегут, ведь это их сокровищница и одновременно школа. По современной Украине можно проехать большие пространства, где наидревнейшим архитектурным памятником является чайная 1948 года рождения, обмазанная со всех сторон серым цементом, — классический сталинский ренессанс!

Дехристианизация, коллективизация, индустриализация, массовое переселение из села в город — все это было невиданным в истории Украины разрушением украинских традиционных структур, катастрофические результаты которого проявились еще далеко не полностью. Но уже теперь можно видеть, что может породить больной, истерзанный организм:

Розступися сине море
на дві половинки,
прийми девушку с дитьом
у самі глибинки.

.....

Маруся ти, Маруся,
одкрий свої глаза,
Маруся одвічайть:
Я умерла, НІЗЯ.

Это — стихийное творчество. А есть еще и организованное, так называемая «самодеятельность». В последнее время взялись за создание (!) новых традиций. Посыпались словосочетания одно другого бессмысленнее: дом Счастья, праздник Трудовой Весны...

Создавать традиции так же бессмысленно, как делать культурную революцию. «Культура» и «революция» — понятия несовместимые, противоположные. Культура означает многовековое вызревание — процесс, который ускорить невозможно. Всякое революционное вмешательство здесь разрушительно: традиции не создают. Они создаются на протяжении веков. Можно согнать людей в клуб и объявить какой-то идиотский праздник Свинарей или Доярок вместо Великодня* — но он праздником не будет. Будет еще одно колхозное собрание и еще одна пьянка опосля. Для праздника не будет хватать духовного содержания, атмосферы — а она настаивается не один век. Атмосферу Рождества, Великодня в украинском селе искалечили, замутили. Уже и забылось, что оно такое — Рождество...

Творець Історії — народ
до ранку грає в доміно...

(М. Холодный)

Теперь хотят заткнуть вакуум ширпотребом:

Щедрик, щедрик, щедрівоньки,
потелились корівоньки,
та й на фермі потелились,
теляточка народились.

Будем растить тих теляток —
то колгоспників достаток.
То колгоспна росте каса,
для народу — масло й м'ясо.

(«Щедрівки». Киев, 1968)

Действительно — коровий фольклор. Это коровьё прет отовсюду — достаточно взглянуть на

* Пасхи.

пугала в «украинских» костюмах на «самодеятельной» сцене или услышать «манеру» их пения.

Надо поехать по этой пустыне, чтобы понять ценность такой нетронутой структуры, как Космач, при современной украинской бесструктурности! Надо увидеть эти праздники, сведенные (будь то свадьба или день рождения) к одинаковой пьянке, чтобы понять, какое это сокровище — гуцульская свадьба, где сохранилась вся традиционная обрядность. В современной украинской безликости «фольклор» меняется после каждого газетного постановления. Херсонская самодеятельность поет ту же песню, что и черниговская, а мы безразлично наблюдаем гибель села Космач, села со своим лицом, быть может, наивыразительнейшим, наисамобытнейшим на Украине!

Любчик еще живет. В 1969 г. в Жидачеве Львовской области сбросили при строительстве автостанции с высоты 8 метров деревянное распятие XV века, старейшее на Украине. Ежегодно на весенних ярмарках в Косове банды так называемых «активистов» бьют писанки (об этом писала даже «Комсомольская Правда»). Они же добивают по ночам за 25 рублей последние кресты на перекрестках дорог Западной Украины, кресты Воли, поставленные в честь отмены крепостничества.

В ноябре 1969 года трое неизвестных в милицейской одежде зашли в Успенскую церковь во Львове, вынесли старинные книги во двор и сожгли. Опять сожгли. И опять украинские ценности. Кто сжег? Это узнать невозможно. Акты о сожжении запер в сейфе председатель Львовского областного филиала Общества охраны памятников истории и культуры Кудин. Их не могли увидеть даже работники Общества. Странное Общество. Что-то неясно, кого оно защищает: исторические памятники от поджигателей или поджигателей от гнева общественности? И вообще: не формируются ли руководящие кадры Общества по тому

же принципу, что и уполномоченные в делах церкви в Ивано-Франковске? Создается впечатление, что они проявляют интерес не столько к памятникам культуры, сколько к людям, интересующимся памятниками культуры. Списки памятников составлять не спешат, зато списки людей, интересующихся ими, составлены давно. На счету Общества большие суммы, однако на реставрацию и сохранение старины тратятся пустяки.

Да, Любчик и Литуева еще живы, а над горами космачскими вырисовывается уже новая тень — призрак массовой культуры. Надвигается б е з л и к о с т ь. Песня по радио — одна на все континенты. Мода — одна в Японии и Бразилии. Нужно всегда быть готовым к Сопротивлению и не верить в позолоченные игрушки. Гуцул не верит в бога, дифференцированного на Добро и Зло. В живой жизни они сплетены в неразрывный клубок. Массовое образование, массовая медицина — это хорошо. Но вместе с ними пришла массовая культура. Вместо рая, обещанного утопистами, пришли обескультуривание, отчужденность, дегуманизация, потеря корней. Есть английский банк, но нет английского фольклора. В человеке гипертрофированно развивается техническая функция за счет духовной, — и это почему-то именуют прогрессом. Никогда еще не было такой насущной необходимости организовать и мобилизовать опыт Сопротивления, взять на вооружение то, что уже не раз спасало нацию от потери своего лица. Каждый народ должен найти этот прием в своем наследии и выработать собственную вакцину против новой беды.

Украинцы должны искать в Космаче.



Космачане писали всюду. На Украине им не помог никто, — на Украине, которая хвалится, что имеет 100 тысяч научных работников и больше, чем Англия,

студентов на душу населения. Ну, что ж, в таком случае космачане имеют право апеллировать к мировой общественности. Есть еще ООН, ЮНЕСКО. Космач — это культурная ценность не только украинского, но и мирового масштаба. Космачская писанка давно получила признание во всем мире.

На II сессии генеральной ассамблеи ЮНЕСКО украинская делегация, поддержав «Основной проект взаимного признания ценностей», заявила: «Украина, как и другие социалистические страны, имеет большой опыт в организации образования, науки и культуры и охотно поделится этим опытом». Нельзя сказать, что это ложь. Но и не правда. Это полуправда — продукт полубразования. Пусть украинская делегация поделится опытом в ЮНЕСКО — опытом полубразования — образования на разрушенных традициях. Пусть расскажет, что фольклор на Украине сохранился только там, куда не добрался атеистический культуркамф. Пусть расскажет о старейшем на Украине распятии, сброшенном с высоты 8 метров, о художниках, сжигающих картины, о режиссере, обкрадывающем музеи, и украинском интеллигенте, которому это безразлично. И пусть расскажет наконец о любчиках, тех, что жгли музеи при Сталине, и тех, что сожгли теперь книги в Успенской церкви.



Широкая чаша меж гор, а в ней Космач — такое непохожее на другие село. Здесь я понял: Космач всегда будет непохожим, всегда будет иметь свое лицо. Этих людей никогда не разложат материализмом. Материальное никогда не было для них главным — ни когда строили дом, ни когда шли в опришки, ни теперь, когда едут на сезонные заработки в далекие края. Люди в этих горах обладают удивительной способностью одухотворять все вокруг себя.

Мизерные заработки, вечное блуждание по сезонным работам — кажется, от такой жизни можно навеки забыть о Довбушевской церкви. В Космаче о ней говорят все. Впервые я услышал об украденном иконостасе в автобусе Коломыя—Космач, а потом в каждой хате: «Осиротили нас».

Есть миллионы людей с высшим образованием, которые все знают, но ничего не имеют — ничего святого. Нужно ли доказывать, каким духовным капиталом на этом духовном пожарище являются космачане, чувствующие себя сиротами без Довбушевского иконостаса?

Мизерные заработки, но никто не радуется, что посреди села выросла вышка нефтеразведчиков. Все молят Бога, чтобы нефть не нашли. Нет, Космач не купить материализмом. Здесь не продадут право первородства за чечевичную похлебку.

Мы запрещаем ездить на мотоцикле по заповеднику, чтобы не нарушить атмосферу, необходимую для нормального существования, скажем, редкостных птиц. В заповеднике нельзя ничего изменить. Когда же мы поймем, что Космач — тоже заповедник, только в тысячу раз более драгоценный? Что в Космаче тоже нельзя нарушать атмосферу, в которой выросло космачское искусство? Добыть в Космаче несколько тонн нефти ценой уничтожения такого явления, как космачская писанка?! И допустимы ли вообще разговоры о какой-либо индустрии в таких уникальных местах, как Космач, Яворив, Брустуры?

Нефтяная вышка уже торчит, хотя ее в Космаче никто не хочет. Художественной артели, которую космачане требуют давно, до сих пор нет. Космачские вышивальщицы тратят больше усилий на поиски ниток, чем на вышивание. Артель обещают на 1972

год — нет, не стройку, а... техническую документацию... Почему ее нужно готовить три года (обещали в 1969) — никто не знает. Можно подумать, что это проект американского космического корабля, который должен лететь на Сатурн.

Любчики успели сделать многое. Из вещей, собранных для Довбушевского музея, осталось немного. Решение сельского совета об открытии музея уничтожено. Космачанам не помогает никто, кроме нескольких энтузиастов. Но они не сдались. Все готовы снова отдать свои семейные реликвии в Довбушевский музей, — лишь бы была гарантия, что они снова не исчезнут. И все полны решимости снова требовать украденный иконостас, несмотря на запугивание «национализмом».



Год 1969. Горной тропой спускается в долину свадьба, — медовый звон колокольцев, кони, обвешанные медными колесами, несказанно буйное гильце (деревце) впереди, на первом коне, такое буйное, что за ним не видно седока, дальше князь в девственно-белой одежде, с барткой в руке.

Гильце — Дерево жизни. Символ бессмертия. Его держит впереди себя немолодой человек. А ведь это символ его бессмертия. Он объехал полсвета, видел ад за полярным кругом, но не потерял своего лица, не стал «чуваком», вернулся космачанином. И вот он снова держит в руках гильце — так же, как держали его предки при Довбуше. Он не выпустит из рук этого дерева. Это — КОСМАЧ.

Я вернусь еще раз в эти горы — набираться сил, учиться Сопротивлению, познавать себя, искать ответ на вопрос: «Кто еси?».

Ивано-Франковск,
январь 1970 года

МОРОЗ Валентин — родился в 1936 году, украинский историк и писатель. Первый раз был арестован в 1965 году, по освобождении в 1969 г. не мог найти работу из-за своих «преступных убеждений».

В 1970 году был вновь арестован, приговорен к шести годам тюремного заключения, трем годам лагеря строгого режима и пяти годам ссылки.

Обвинен в авторстве самиздатских статей, распространении антисоветской пропаганды.

Кардинал Иосиф Слипый

ГДЕ НАЙТИ СПРАВЕДЛИВОСТЬ?

(О трагической судьбе католической украинской церкви)

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Публикуемый ниже авторизованный текст выступления кардинала Иосифа Слипого на всемирном Синоде епископов, собравшемся в Риме в октябре 1974 года, произвел огромное впечатление на более двухсот представителей епископата, прибывших туда



со всех континентов. Греко-католическую (униатскую) церковь на Украине называют часто «Церковью молчания», но более подошло бы к ней название — «Современная катакомбная церковь», ибо в результате насильственного присоединения к русской православной церкви, контролируемой советскими властями, она вынуждена уйти в подполье. Верующие

молятся тайком и вместе со священниками становятся жертвами преследований, заключаются в лагеря и сумасшедшие дома. Заговор молчания вокруг этих преследований прерывается время от времени главой украинской греко-католической церкви кардиналом Слипым, проводившим 17 лет в лагерях, освобожденным Хрущевым по настоятельным просьбам папы Иоанна XXIII, а также духовными лицами и представителями

миллионов украинских католиков в диаспоре (главным образом в США, Канаде и Австралии). Вот уже несколько лет ведут они ожесточенную борьбу против политики Ватикана, жертвующего этой Церковью ради некоего «экуменического» диалога с патриархом православной церкви Пименом и нежелания «дразнить» Москву. Ватикан отказывается легализировать Синод украинских епископов, созданный в Риме в 1971 году, утвердить «патриаршую конституцию» украинской церкви. Украинские же католики полагают, что по аналогии с другими восточными обрядами (мелхитским, маронитским, халдейским, коптским и сирийско-малабарским), они также имеют право на своего патриарха и синод, т. е. на автономию не только в области литургии (она не подвергается сомнению), но также в канонической и административной. Среди Восточных церквей, остающихся в Унии с Римом, Украинская церковь играет наиважнейшую роль. Объясняется это сплоченностью и сознательностью верующих, а также численностью (остальные Восточные церкви — на Ближнем Востоке и в Северной Африке — носят реликтовый характер). Ватикан отказывается удовлетворить требования украинских униатов, считая, что патриарший престол связан с территориальной юрисдикцией, а украинская церковная иерархия действует сегодня в эмиграции. По мнению украинских католиков — это лишь формально-юридический предлог, в действительности же отказ связан с политическими расчетами (надежда договориться с Москвой ценой уступок, прежде всего ценой молчаливого согласия на ликвидацию униатской церкви на Украине). Живущие в свободном мире украинцы считают эти соображения Ватикана «аморальными, иллюзорными и вредными для жизненных интересов Украины». Украинские епископы не соглашаются с ватиканской аргументацией отказа предоставления украинской церкви полной автономии, считая, что диаспора ук-

раинских католиков нуждается в собственном патриархе и самоуправлении (синоде), ибо иначе греко-католический обряд вымрет, а подписанная 376 лет назад Брестская уния будет вычеркнута из истории Церкви. «Никто не хочет гибнуть, — заявил недавно кардинал Слипый, призвав противопоставить угрозе исчезновения Украинской церкви терпеливую борьбу за свое признание. — Патриархат будет осуществлен, я уверен в этом. Может быть, завтра, может быть, послезавтра, но время это придет.»

Борьба эта, как оказывается, — не напрасна. Документация, представленная в письме Папе от 18 апреля 1973 года,* и протесты против «манипуляций» ватиканской бюрократии принесли некоторые результаты. На последнем Синоде в Риме кардинал Слипый был фактически приравнен к другим патриархам Восточных Церквей, с ним даже как бы «заигрывали» (он фотографировался с кардиналом Вийо, ведающим иностранными делами Ватикана). Эти мелкие проявления внимания пока, конечно, изменили только психологическую атмосферу. Нужно, однако, помнить, что все процессы, особенно в вопросах деликатных, вызревают в римской курии необычайно медленно. Необходимо помнить, что три года назад, на предыдущем Синоде, кардинала Слипого вовсе не замечали, а некоторые элементы в римской курии относились к нему просто неприязненно. «Где искать справедливость? — спрашивают украинские католики», — вопрошал в своем волнующем выступлении, посвященном «экзотическим проблемам Востока», кардинал Слипый, обращаясь к епископам всего мира. Некоторое улучшение отношения Ватикана к Восточным церквям намечилось в прошлом году после назначения на пост их префекта французского кардинала Поля Филиппа. На торжественной службе по случаю

* „Diakonia“, Vol. 9, No. 3, 1974. John XXIII Center for Eastern Christian Studies, Fordham Univ., New York.

национального украинского праздника и 30-летия смерти львовского митрополита А. Шептицкого в ноябре этого года, которую отправлял кардинал Слипый в окружении десятка священников и дьяконов, присутствовали три римских иерарха, в том числе кардинал Филипп и личный представитель кардинала Вийо. Всем этим, однако, недоволен многолетний секретарь конгрегации архиепископ Бруни, которого считают «врагом» украинцев. Бывший декан коллегии кардиналов и бывший префект конгрегации Восточных церквей кардинал Тиссеран говорил перед смертью: «Пока Бруни остается членом этой конгрегации, восточные обряды, а в особенности Украинская Церковь, не могут рассчитывать на получение того, что им принадлежит по праву». Этот же Бруни скомпрометирован дружескими связями с представителями итальянских фашистских кругов, в частности некой Лючианой Фрассати, вот уже более 36 лет поддерживающей организацию польских фашистов, руководимых «фюрером» Б. Пясецким (до войны — «Фаланга», сегодня — «Пакс», союзник сталинистов), агентом КГБ, по заданию которого осуществляет антикатолическую диверсию в Польше.

Украинские епископы и организации мирян в диаспоре, несмотря на неудачи, по-прежнему упорно борются за свое дело. Они хотят остаться верными Папе, лояльными по отношению к Апостольской Столице, но требуют от Рима права на автономию и защиты. На днях в Риме вышла из печати официальная публикация на четырех языках (латинском, украинском, английском и итальянском): «О патриаршей конституции Особенной Католической Церкви Украинцев» (Русинов).^{*} Это сборник канонов юридической и ад-

^{*} De constitutione patriarchali Particularis Ecclesiae Catholicae Ucrainorum (Ruthenorum) — Editiones „Litterae Nuntiae“ Particularis Ecclesiae Catholicae Ucrainorum No. 3, Roma, ottobre 1974.

министративной организации украинской церкви. К работающему в Риме всемирному Синоду епископов обратилось с призывом общество «За патриарший строй в Украинской Католической Церкви» („Society for the Patriarchal System in the Ukrainian Catholic Church“. Philadelphia, Pa. 19141).

В этом «Обращении к совести всемирного Синода епископов» говорится: «Наша вера дает нам право и обязывает нас обратиться к вам с петицией, касающейся положения католической Украинской Церкви. Эта самая большая из остающихся в Унии с Римом Восточных Церквей стоит в этот исторический момент перед угрозой смерти... В прошлом Ватикан громко выступал в защиту всех порабощенных — от Би-афры до Бангладеша, но миллионы украинцев, человеческие права и религиозную свободу которых хронически нарушают, остаются без защиты... Мы призываем вас позаботиться о голосах, доносящихся из-за «железного занавеса». Мы призываем вас влить новый дух в сердца тяжело испытанных верных католической Украинской Церкви в СССР. Это можно сделать лишь в том случае, если вы, почтенные отцы, твердо осудите религиозное человекоубийство, практикуемое в Советском Союзе, и используете все имеющиеся в вашем распоряжении средства для облегчения критического положения украинского народа... Мы призываем вас отказаться от политических расчетов и действовать в согласии с христианской этикой ответственности... Наш призыв касается также условий нашей Церкви в диаспоре. На протяжении минувших десяти лет Украинская Церковь, признанная Особенной Церковью, подвергалась в свободном мире бесчеловечным несправедливостям и обидам со стороны Святой Конгрегации для Восточных Церквей и тех членов Римской Курии, которые, стремясь к улучшению отношений с Москвой, хотели пожертвовать Украинскую Церковь на алтарь политического оппортуниз-

ма... Мы надеемся, что Святой Дух вдохновит вас на спасение католической Украинской Церкви. Ваши решительные действия не только спасут нашу Церковь от гибели, но и обеспечат духовное благополучие Римской Католической Церкви».

Синод ответил на этот призыв общими словами в документе (неофициальном) «О защите прав человека». Этого, безусловно, мало. Здесь должен выступить высочайший авторитет, то есть Глава Церкви Павел VI. Последний неоднократно выступал с протестами против религиозных, расовых, социальных и политических преследований, называя по имени государства, притесняющие человека. Всегда, однако, это были малые или средние по размеру государства: Биафра, Чили, Родезия, Южная Африка, Испания. Но Советский Союз, на языке папы, все еще остается «некой страной». Непрерывающаяся борьба украинских католиков, живущих в так называемом свободном мире, против «заговора молчания» представляет собой часть общей борьбы с атеистическим наступлением коммунистической идеологии, с советским тоталитаризмом. Она является также конкретным примером борьбы за равноправие, против технократического мышления и конъюнктурных расчетов, присущих некоторым органам ватиканского аппарата (аналогичными соображениями руководствуются и аппараты некоторых западных государств).

Технократическое мышление этого рода и материальные расчеты мешают католической церкви выполнять ее евангельскую миссию, значительно редуцируют силу ее воздействия в мире. Об этом говорили в своих критических выступлениях на Синоде многочисленные представители епископата, в особенности из «третьего и второго мира» (Африка, Азия, Латинская Америка и Восточная Европа).

Доминик Моравский
Рим, 20 ноября 1974

Святейший отец, преосвященные отцы и братья!

Я говорю от имени Украинской Католической церкви и, если не ошибаюсь, как старейшина Синода.

Сообщения, какие мы слышали о расширении веры, раскрывают нам сегодняшнее ее состояние в Африке, Америке, а также и в Европе. Но кажется нам, что эти, да и другие сообщения не дают полной картины с экуменической точки зрения. Выступавшие говорили лишь о Церкви латинского обряда, а не о всей Христовой Церкви. А во всех странах света есть миллионы католиков восточного обряда и больше десяти миллионов необъединенных. И может таким образом создаться представление, что Католическая Церковь имеет лишь латинский обряд.

Кроме того, выступавшие говорили о странах, в которых существует свобода вероисповедания, практикования и распространения религии. Но в мире есть много великих народов, в СССР, в Китае, в других странах, где нет свободы веры, а религию преследуют и стремятся уничтожить. Мы не можем не видеть нашими глазами Украины и украинского народа. И тем не менее христианские государства всего мира устанавливают и поддерживают связи с Советами и другими безбожными режимами. К сожалению, такие связи существуют и терпят страны с высокой культурой.

Разве не охватывает ужас честных людей, знающих, что там священника, тайком приобщившего к таинству Св. Причастия, отправляют в Сибирь, за Полярный круг на три или больше лет каторжных работ, а того, кто собирал подписи под заявлением в московское учреждение о разрешении служить Св. Литургию, сажают в сумасшедший дом — не лечить, конечно, а чтобы психически сломать.

Верные священники, монахи, монахини гибнут от преследований, допросов, домашних обысков, пыток, ран и террора.

Какая может быть евангелическая работа в таких ужасных условиях? Что же нам остается делать, как вам кажется, дорогие братья? По крайней мере, Синод должен решительно и громогласно запротестовать. Разве не должны мы помогать всеми способами и силами тем, кто так ужасно страдает? И все-таки вера там не гибнет!

Врачи, служащие, ученые принимают духовный сан и героическими подвигами защищают и сберегают веру.

Отцам запрещается учить детей молиться, а все же дети становятся верующими.

Когда я сам находился в тюрьме, я встретил трех студентов медицины, осужденных на 10 лет за то, что они носили на сердце крестики.

Речь здесь идет не о политике, не о борьбе с коммунизмом, речь идет о воинствующем атеизме, ставящим своей целью уничтожение веры и религии. Прежде всего встает вопрос: что делать в таких условиях, в такой ужасной атмосфере? Прежде всего, не отчаиваться. Не говоря о других возможностях, Св. Литургия, передаваемая по радио, катехизис и религиозное воспитание очень помогают укреплению духа, радуют, несут помощь.

Мы должны подумать, как в этих условиях восстановить иерархию, как уделять Св. Причастие?

В то время как положение Церкви в Советском Союзе ухудшается, то в Польше, кажется, оно изменяется в лучшую сторону.

Объявив этот год годом справедливости во всем мире, Вселенская Церковь прекрасно выразила, что основа справедливости, вытекающая из евангельского учения, имеет значение не только в личной жизни, но также и в жизни народов.

Проповеди Вселенского Архиерея и церковных иерархов, осуждающие преследования и несправедливости в Биафре, Бангладеше, Чили и Палестине, а также в других местах, прекрасно подтверждают наши слова.

Украинский народ, как уже было сказано, до сих пор терпит ужасные религиозные и национальные преследования. Жертвами жестоких преследований становятся не только иерархи и священники, невыгодные режиму, но и верующие. Самые выдающиеся ученые, выступающие в защиту христианской церкви на Украине, становятся жертвами насилия и преследований.

Среди этих ученых, имена которых широко известны, мы находим историка Валентина Мороза, Евгена Сверстюка, Леонида Плюща, Вячеслава Черновила, Ивана и Надю Свитличных, Юрия Шухевича, Святослава и Нину Караванских, Игоря и Ирину Калинец, Василя Струса и многих других.

Один из них — Валентин Мороз, осужденный на 14 лет тюрьмы и ссылки, еще в июле этого года начал голодовку и готов даже умереть, протестуя против чудовищных, нечеловеческих условий во Владимирской тюрьме.

Этот замечательный историк нашего времени сделал целью своей жизни защиту христианской культуры Украины и Церкви от гибели. В своих научных трудах, которые были причиной его жесточайшего приговора, он смело утверждает, что украинская культура так неразрывно связана с религией, что невозможно уничтожить культуру, не уничтожив одновременно религиозную жизнь, и наоборот.

Есть и другие знаменитые ученые, которые, как Валентин Мороз и названные выше, преследуются за защиту правды.

В этих условиях обязанностью нашей и всей Вселенской Церкви является осуждение всей несправед-

ливости, которая ломает свободу веры, совести, мысли и слова, и требование освобождения из кандалов, из тюрем, из сумасшедших домов осужденных без вины и преступления; в особенности мы должны сделать это для тех, кто защищает Божьи и человеческие права.

Если не позаботится Святая Церковь, то кто же тогда будет беречь Божью и человеческую справедливость?

Пожелаем, чтобы этот год, который называется годом справедливости, благодаря обращению Вселенской Церкви ко всем, кто несет историческую ответственность перед миром за несправедливость и жестокое преследование людей, закончился скорым и полным их освобождением.



ПОСНФ КАРД. (Синий - Ковершинский - Дичаконский)
Перхон. Архисп. Управління, Митрополит і пр.

Ватикан, дня 27 грудня 1974

Високодостоїнні Панове !

Прохаю прийняти шире подяку за милий привіт.

Нехай Повонароджений Христос благословить Вас найкращими
успіхами у ваших подвигах.

Володимир Кар'єв
Христос рождається !

Високодостоїнні Панове
Владимир МАКСИМОВ, Віктор НЕКРАСОВ
Андрей СИНЯВСКИЙ і Александер СОЛЖЕНИЦИН
Франкфурт

ПИСЬМО ДОКТОРУ ВАСИЛЮ БИЛАКУ*

Уважаемый господин доктор!

Со мной случилось следующее:

В субботу, 23-го марта, примерно в 10.30 утра, когда я со своей женой и детьми находился на нашей даче в деревне Проводин (район Чешская Липа), в наш дом проникли двое полицейских, один из которых, в форме, с чином вахмистра, был вооружен дубинкой и пистолетом, а второй, одетый в штатское, имел чин майора государственной безопасности и звали его Йозеф Мелихар. Мужчина в форме сразу же грубо заявил мне, чтобы я собрался и поехал с ними в районную полицейскую дирекцию с целью какого-то объяснения согласно § 16, о котором не имею, к сожалению, представления, поскольку не слишком разбираюсь в уголовном праве, а также не интере-

* Билак, Василь — секретарь ЦК и член Президиума ЦК КПЧ. По профессии он портной — недоучка, которого никогда не допускали даже к шитью пиджаков; закарпатский украинец, т. е. представитель национальности, практически не представленной в Чехословакии. В политике потерпел крах уже в 1968 году, когда даже после советской оккупации он не отважился явиться на съезд компартии Словакии, первым секретарем которой являлся в то время. На политической сцене появился снова благодаря содействию советских танков и своего близкого друга П. Шелеста. (Прим. перев.)

суюсь им, так как у нас в семье до сих пор были конфликты только с нюрнбергскими законами, и всего два года назад — с нашими народно-демократическими, однако, по недоразумению.

Я заявил, что плохо себя чувствую и не могу поехать на допрос, но ежели они действительно хотят какого-нибудь объяснения, то я мог бы изготавить его дома.

Однако мне пришло в голову, господин доктор, что в этом могла бы быть какая-нибудь закорючка: что еще я должен был объяснять полиции в 1974 году, когда уже с 1969 года мне не разрешается ничего объяснять даже штатским?

Замечу здесь, господин доктор, что я и мею право когда угодно отказаться от допросов и подобных развлечений не только с полицией, но даже с армией, потому что у меня были два апоплексических удара, тяжелое сотрясение мозга, я страдаю долголетней и тяжелой астмой, а сверх того я принимаю в довольно больших количествах не только успокаивающие средства, но также и кортикоиды, что, кроме всего прочего, декальцифицирует кости и тем самым повышает риск переломов. Поэтому мне было очень не по душе, когда мужчина в форме начал тянуть меня одной рукой за запястье и трясти меня при этом, а в другой руке у него была резиновая дубинка. Второй увещевал меня, чтобы я шел «лучше по-хорошему, или...». Из дому они не двигались, время шло, на все это смотрели мои маленькие дети (9 и 6 лет), и тогда, наконец, хотя и не добровольно, я поехал на допрос — жена с детьми сопровождали меня.

Когда меня ввели в помещение, где я должен был давать объяснения, то там сидел за столом человек, куривший папиросу, и вообще было сильно накурено, несмотря на открытое окно. Я сразу обратил его внимание на то, что не могу дышать папиросным дымом, после чего незнакомый мужчина начал на меня так страшно орать, что это прекрасно слышали и моя жена, и дети на улице, причем их изрядно напугало, что я не кричал тоже, как это обычно делаю, когда кто-нибудь кричит на меня, но я был не в ударе, так что он выиграл. И я сразу сообразил, что вышеупомянутый не является Франей (так звали моего излюбленного следователя из Рузини*) и что он не стерпит, чтоб я ему говорил, будто у него руки в крови.

То, что это не был майор Франя, я узнал с первого взгляда, но в защиту названного выше майора Франи я должен заметить, что мое утверждение, касающееся крови на руках СТБ,** не хотел стерпеть даже он и назначил мне штраф в размере 100 Кчс, хотя и отменил мне его позже, на основании моего объяснения, что в отношении этой крови на руках СТБ имеются три официальных документа КПЧ (Барак, Колдер, Пиллер),***

* Рузине — следственная тюрьма СТБ в Праге. (Прим. перев.)

** СТБ — Статни беспечност (чешск.) — эквивалент советского КГБ. (Прим. перев.)

*** Имеются в виду три комиссии ЦК КПЧ под председательством Барака, Колдера и Пиллера, которые занимались изучением политических процессов, происходивших в 50-х годах в Чехословакии, и имевшими в них место незаконностями. Заключение двух последних комиссий опубликованы недавно на Западе. (Прим. перев.)

и что если у господина Франи руки тоже в крови, то тогда я с радостью заплачу этот штраф, ну, а если у него руки случайно не в крови, то тогда я не знаю, почему он возмущается.

Разумеется, этот человек, а был им полковник Кашны, не имел никаких причин орать на меня, ибо я только обратил его внимание на то, что не переношу папиросного дыма, тогда как о крови пока не было произнесено ни единого слова, и даже позже мы этого вопроса не коснулись.

Допрос протекал далее под жанровым впечатлением вступительного крика и длился два с половиной часа. Все трое господ следователей коллективно курили прямо мне в лицо одну папиросу за другой, так что вечером со мной случился приступ астмы. Если бы я перед этим не попросил в соседней больнице сделать мне внутривенное введение сандостена (превентивно), приступ случился бы у меня уже в течение допроса — в этом отношении у меня уже есть опыт.

А знаете, господин доктор, из-за чего, собственно, меня тащили на этот допрос и почему из-за этого приехал в субботу в самую Чешскую Липу из Праги полковник федерального «министерства любви»?*

Прямо-таки невероятно, Вам бы в этом, наверное, постыдились сознаться, но это факт! Как выяснилось, меня совершенно серьезно допрашивали на основании обоснованного подозрения:

* По Орвеллу: имеется в виду Федеральное министерство внутренних дел. (Прим. перев.)

- 1) в краже урны с пеплом Йозефа Смыковского на Ольшанском кладбище и в попытке провезти контрабандой эту урну в Австрию,
- 2) в авторстве соболезнующего письма Александра Дубчека, Вашего старого друга, господин доктор, госпоже Катрин Смыковской — и в переправке этого письма контрабандой в Египет или куда-нибудь еще, что потом, однако, сваливали также на мою жену, которую вызвали после меня.

Оставляю на Ваше усмотрение, господин доктор, что Вы об этом подумаете, однако, подчеркиваю, что незадолго до этого пражская полиция потребовала, чтобы доказал свое алиби мой старый коллега, журналист и личный друг Карел Кынцл (может быть, Вы изволите помнить, господин доктор Гусак «положил его однажды на лопатки»), а его сын Иван, очень хороший и порядочный юноша, был схвачен полицией в ремесленном училище, отвезен в Конвиктскую улицу, где его раздели догола и в таком виде допрашивали — и то, и другое будто бы в связи с ограблением какой-то почты и застреленным полицейским!!!

Я думаю, господин доктор, было бы довольно опасно не только для нас, которые не любят сегодняшнее правительство, но и для Вас, который его представляет, если тайная полиция начала проявлять столь явные признаки безумия. Разве не достаточно всего того, что уже было, и разве не достаточно того, что еще есть?

В тюрьме сидит, например, вот уже более четырех лет, явно без надежды на минимальное снисхождение, мой старый друг, телеви-

зионный драматург и писатель, Владимир Шкутина, который привез нам «Золотую розу» из Монтро и который, в отличие от меня, н и к о г д а не интересовался политикой. Я был на обоих его процессах, господин доктор, и скажу Вам, что с такими обвинениями уважающий себя прокурор не отважился бы выступить даже в Патагонии. Не говорю здесь обо всех остальных случаях, которые не перестают глубоко беспокоить меня, ведь достаточно этого одного: Шкутина, спокойный и тихий человек, кроме того, типичный непрактичный интеллеktуал, в течение ряда лет болеющий нарушениями поджелудочной железы, сидит более 4 лет во второй исправительной группе в Мирове,* среди обыкновенных преступников, сверх того, — рецидивистов, а также, наверное, убийц, и никому в этом просвещенном обществе не придет в голову, что это слишком сильный способ мести за то, что человек написал книжку, в которой тайная полиция предстает в неблагоприятном свете! Вы сами знаете, о чем идет речь, я не должен вникать в подробности. Мне становится очень больно, когда я об этом думаю, — или хотя бы о том, что его умная и милая дочурка, которую я столь люблю, должна так долго жить без отца, который, само собой, любит ее еще больше. Я хорошо помню тяжелые травмы у детей, чьи родители были схвачены гестапо по столь же абсурдным поводам во время немецкой оккупации; я сам видел и до сих пор ощущаю потрясение моих детей от переживаний 31-го января 1972 г., когда меня уволокла наша полиция.

* Миров — одна из самых известных тюрем в Моравии. (Прим. перев.)

Ваши секретари, господин доктор, рутинерски возражат, что мое письмо скорее касается Генеральной прокуратуры, чем Вас, — как общеизвестно — Партия никогда не вмешивалась и не вмешивается в работу и полномочия государственных органов. Мы же с Вами, господин доктор, Вы как активный государственный деятель, а я как бывший журналист, хорошо разбираемся, что к чему, и не будем поэтому мелочно валиться на колени перед такой цветистой чиновничьей болтовней, предназначенной для непосвященных трудящихся. Что же касается Генеральной прокуратуры, то у меня имеется собственный горький опыт и я осознанно не обращаюсь туда. А если бы я узнал, что Вы возьмете мое письмо и пошлете именно туда, то я лучше бы сразу отнес его в какое-нибудь агентство печати, о внимании которого у меня заранее нет никаких иллюзий. Нет, я пишу Вам намеренно.

Год назад я отправил в Генеральную прокуратуру письмо с очень важным содержанием, поскольку меня хотели с помощью весьма примитивных фокус-покусов втянуть в очередное «преступление». Сначала я послал к чёрту трех сыщиков, которые должны были это устроить, а потом я написал обо всем этом и вместе с документацией отправил в Генеральную прокуратуру. У последней было две возможности: передать дело на расследование собственному аппарату или же выбросить все это в мусорную корзину. Однако прокуратура обжулила меня: списнула письмо тайной полиции, на которую я, хотя вежливо и поделовому, и почти незаметно, но вместе с тем эффективно, как раз и жаловался.

Я допускаю возможность, что господин д-р юр. наук Яромир Прокоп, который занимается мною как заместитель генерала Ферйенчика, не понял этого, так как уже в Рузине, где он меня тоже допрашивал, я обратил внимание, что хотя у него была очень красивая секретарша, но совсем минимальная способность улавливать факты. А это, господин доктор, тоже мое несчастье — я имею в виду этого доктора Прокопа, — у него, во-первых, не развито чувство осмысливания фактов, далее, — это раздражительный старик, который не любит меня, потому что он не умнее меня, а также по другим причинам, о каковых моя жена говорит, чтобы я их лучше не приводил.

Так вот, этот вышеупомянутый Прокоп послал мою жалобу полиции. А 19-го июня 1973 г. ко мне в Проводин вечером явился мой личный телехранитель-топтун майор Йозеф Влк, или же его alter ego, майор Ота Шимек (к сожалению, они сильно похожи друг на друга, и часто я не могу различить их в камышах или в лесу), и с улыбкой, полной надежды, передал мне повестку, по которой я должен был явиться в Рузину на другой день, во вторую половину дня, 20.6.1973, в 15.00 часов. Когда я подписал предъявленную им квитанцию о вручении, он ретировался в направлении на север, где его ждал служебный лимузин.

Я же, наоборот, располагаю лишь старой колымагой производства 1967 года (Шкода 1202). Вот на ней-то мне и пришлось отправиться в путь на следующий день перед полуднем в Прагу, так медленно, как я привык и как позволяют возможности указанного выше транспортного средства.

Только я отъехал примерно 4,5 километра от дома, как со мной произошла премилая авария (которая могла окончиться и смертельно), первая авария в моей жизни. Меня отвезли в больницу, останки моей машины — на двор полицейской станции в деревне Дуба; и там на следующий день моя жена встретила с майором Влком (или Шимеком), который интересовался обломками так же живо, как и она.

Это, господин доктор, тоже не подняло моего настроения и не добавило также доверия к Младой Болеслави, дорожному управлению и другим учреждениям. Но с того времени меня на допросы уже не вызывали — вплоть до прошлой субботы. Вместо этого я мог предаваться иным развлечениям: перед одной комиссией должен был объяснять, что не являюсь владельцем двух квартир, перед другой, — что не растрачиваю свою пенсию (1.475 Кчс в месяц) на проституток в барах; перед третьей, — что незаконно не потребляю электрический ток. Забор вокруг нашей дачки дважды подвергли измерению, с тем чтобы установить, будто налево он длиннее, а направо — короче. СТБ самолично приехала позаботиться, чтоб я платил налог на собаку не в деревне, где это стоит только 30 крон в год, а в Праге, где налог составляет 1.000 крон. На допросы были вызваны десятки моих друзей и знакомых. Им было порекомендовано, чтобы они со мной не встречались, или... Это случилось, например, с моим другом, часовым мастером в Опочне, с которым мы видимся раз в пять лет, с моим жестяником, моим автомехаником, моим телевизионным мастером и тому подобное. Полиция одновременно снимала на киноленту каждого, кто

приходил ко мне или уходил; и незаметные, хорошо одетые молодые парни и девушки сопровождали мою жену и меня во время наших покупок в магазинах, во время прогулок с собакой, в трамваях, в автобусах, по дороге в больницу, а с помощью подслушивающего устройства — еще и в уборной. Они знают обо мне абсолютно все (даже упрекнули меня в том, что однажды я ехал в Проводин спрятанный в шине автомобиля доктора Вацлава Вrabца), а если они чего-либо не знают, то их сразу же охватывает беспокойство, не обкрадываю ли я могилы и не пишу ли неподходящие соболезнующие письма.

Так что, если подытожить, господин доктор, я живу не так уж спокойно, и вследствие общей усталости и, особенно, необходимости лечиться пребыванием у моря, мы с женой попросили разрешения уехать за границу на более длительное время. Я получил приглашение принять профессуру в США, хотел бы пробыть там два-три года, между тем, обстановка здесь могла бы соответственно нормализоваться, и тогда я с радостью вернулся бы, потому что я здесь родился, играл здесь в шарики, тут похоронены мои предки, наверное, до восьмого колена, просто здесь мой дом, и я всегда тосковал вдали от него. Ведь Вы, может быть, тоже мечтаете вернуться домой, господин доктор, хотя и не показываете вида!

В секретариате, видным деятелем которого Вы, господин доктор, являетесь, есть тоже три человека, с которыми я некоторое время работал

(приблизительно 10 лет) — Вы знаете, кого я имею в виду; один из них 16 лет тому назад, к сожалению преждевременно для моего характера, убеждал меня в том, что социализм не подходит для Средней Европы; второй действовал мне на нервы своими рукописями; а третий у меня на глазах впал в истерику и не оправдал себя как мужчина в критический момент, но уже лучше оставим все это в стороне. Эти люди знают меня и могут подтвердить, что я никогда не тяготел ни к выкрадыванию гробов, ни к писанию соболезнующих писем для государственных деятелей. За все время моей работы в «Руде Право» (12 лет) я написал всего лишь одну речь для государственного деятеля, а именно, — господину президенту для ООН, причем я должен был написать ее за одну ночь, так как министр иностранных дел не способен был справиться с этим в течение двух месяцев, но это взял на себя мужественно Честмир Цысарж, поскольку он гораздо лучше мог использовать авторство этого выступления для своей подающей надежды политической карьеры, тогда как я никогда не думал об этом, как лицо пишущее, неуравновешенное и несколько взбалмошное, — эти мои качества еще соответственно усилились в результате всего случившегося.

Я понимаю, что не выражаюсь достаточно сжато, однако как журналист я уже вышел из формы, а как писатель — еще не вошел в нее, кроме того, я даже не умею жаловаться. Да, действительно за все эти годы, собственно говоря, я вообще не жаловался, причем не потому, что не

знал, кому бы пожаловаться. Я, может быть, и попробовал бы это, но имея определенный процент еврейской крови, я стремлюсь лучше ни на что не жаловаться, чтоб не получить пинком больше; только теперь, почти над гробом и уже действительно загнанный в угол, жалею, к тому же прямо на тайную полицию, что (я понимаю это, господин доктор) — дерзость. Но я надеюсь, что Вы не антисемит, знаю только, что Вы не любите православную церковь, а я ее тоже не люблю, так что мы с Вами сойдемся хотя бы в этом, хотя я думаю, что православным нужно бы тоже дать пожить.

Пишу Вам, господин доктор, потому что, используя жалкие остатки своего, имевшего когда-то место, журналистского опыта, я решил, что в этом государстве Вы являетесь наиболее влиятельным государственным деятелем. Кроме того, я думаю, что в Вас счастливо сочетаются предпосылки для критического взгляда на чешский вопрос, а тем самым — и на мою личную проблему, которая связана с ним. Вы иностранец, благодаря чему Вы смотрите на нас со стороны, а значит, — объективно, видите, какие мы чудачки и какие мы дети, так, может быть, Вы будете милосердны. Кроме того, Вы — политолог, значит ученый, но при этом — бывший ремесленник, что тоже хорошо, так как сможете найти правильное отношение между сложностью и простотой вопроса. Будьте так добры, поймите меня и стряхните с моей спины этих полицейских полковников, прошу Вас! Мне необходим покой, я хочу подлечиться где-ни-

будь у моря, а может быть, еще и увидеть, как пойдет на танцевальный бал моя маленькая дочурка, хочу еще написать хотя бы одну-две смешные книжки для Ивана Скалы и хочу жить снова без страха, без ожидания новых неожиданностей, просто с чувством, что я тоже уместаюсь в Декларацию прав человека.

Мне кажется, это не так уж много, а Вы обладаете такой властью, что можете не только отдать распоряжение послать меня обратно в Рузину для полной ликвидации, но и позволить мне уехать куда-нибудь в другое место, не вызывая здесь сплошных затруднений.

Вот и все. Не сердитесь, что я Вас беспокою, но накопилось достаточно всего, и я, к тому же, как-то духовно вырос из марксизма-ленинизма, так что с организациями, которые меня исключили, не хочу иметь ничего общего; это, господин доктор, наверное, единственный положительный факт, который я извлек из своего опыта: я рад, что уже не участвую во всем этом.

Будьте поэтому столь добры и предоставьте мне возможность тихого ухода из центра внимания, а также и тех организаций, членом которых я никогда не был, в связи с чем они даже не могли бы меня исключать, несмотря на то, что столь преследуют меня.

Если я вскоре получу сообщение о том, что моя просьба об отъезде удовлетворена, то буду считать это, господин доктор, выражением Вашего личного понимания.

В этой связи позволю себе пожелать Вам приятного пребывания в Чехии, так как каждый человек должен иметь право выбрать себе страну, в которой он хотел бы жить. А у нас, за исключением погоды, в основном бывает довольно приятно.

*И. Гохман
27. 3. 74, Прага*

Р. S. К Вашей любезной точке зрения, высказанной в курсах партийного просвещения: разрешите заметить, что Вы правы, считая меня националистом.

ГОХМАН Иржи — родился в 1926 году, работал плотником, банковским служащим, журналистом в чехословацкой армейской газете. В 1946 году вступил в коммунистическую партию и был исключен из нее в 1969 году. Бывший корреспондент ежедневной газеты КПЧ «Руде Право» в США, Гохман объединял вокруг себя силы реформистской группы Дубчека и как член редакционной коллегии еженедельника «Репортёр» был горячим приверженцем «Пражской весны». После её подавления 18 месяцев находился в заключении, где его здоровье угрожающе ухудшилось. В результате протестов мировой общественности летом 1974 года власти разрешили ему выехать за границу. Гохман лишен гражданства и теперь живет в США.

Запад — Восток

Карл-Густав Штрём

СОВЕТСКАЯ ПОЛИТИКА НА БАЛКАНАХ

Осенью 1974 года, через пять дней после бесед с Брежневым и возвращения из Москвы идеолога Союза Коммунистов Югославии и заместителя Тито, Эдварда Карделя, белградские власти объявили о раскрытии «коминформовского», что значит просоветского, заговора. В своей речи в Есенице президент Тито сообщил, что заговорщики основали новую коммунистическую партию, провели съезд и избрали даже генерального секретаря, проживающего «за рубежом». Насколько до сих пор известно, дело идет о черногорцах и сербских коммунистах района Косово.

Почти одновременно с этим выступлением Тито, в Венгрии, неподалеку от югославской границы, начались осенние маневры советских войск, на которые Югославия ответила маневрами в Словении, то есть на территории, являющейся стратегическим ключом в случае советской интервенции. Известный югославский радиокомментатор Милица Сундич бросила тогда по радиостанции Загреб обвинение нескольким социалистическим странам в том, что они нарушили, по меньшей мере, дух отношений, принятых между суверенными державами.

Эти события ясно показывают, что советская политика вступила в новую фазу, как в отношении к хоть и коммунистической, но придерживающейся политики неприсоединения Югославии, так и в отношении к другим странам юго-восточной Европы. В Мо-

скве решили, очевидно, отказаться от господствовавшей до сих пор сдержанности, усилить не только дипломатическое, но и идейно-политическое, а если понадобится, то и военное давление на коммунистические государства, отказывающиеся от безоговорочного подчинения советским требованиям.

В Москве отнюдь не забыли, что после 1948 года Советский Союз потерпел на Балканах ряд тяжких политических и идеологических поражений. Конфликт между Сталиным и Тито привел к тому, что линия «Любек — Триест», о которой с такой опаской говорил в свое время Черчилль, в ее южной оконечности выпала из-под советского контроля. Югославия оставалась коммунистической, но стала независимой от Советского Союза. А это, в свою очередь, повело к разворачиванию целого ряда явлений, весьма неприятных или, по меньшей мере, связанных с осложнениями для советского руководства, от нейтрализации Австрии (из восточной зоны которой пришлось вывести советские войска) до Венгерского восстания 1956 года. Пусть не прямо, но «титоизм» сыграл определенную роль во всех попытках восточноевропейских народов и правительств избавиться от советской гегемонии, даже там, где сам Тито и партийно-государственное руководство в Белграде вовсе не хотели этого.

Самым фактом своего существования Югославия подавала тут пример другим. Тито — и в этом несомненное всемирное значение его личности — впервые показал, что вождь коммунистической партии может не исчезнуть в архипелаге ГУЛАг, вступив в конфликт со Сталиным. Маршал Югославии, глава югославского Союза Коммунистов показал пример всем «ревизионистским» и «национал-коммунистическим» течениям. Даже коммунисты Албании, несмотря на историческую враждебность к сербским и югославским коллегам, смогли освободиться от советского влияния и

выйти из Варшавского договора только потому, что между Тираной и Москвой лежала независимая Югославия. Советские танки, беспрепятственно вступившие в Прагу и Будапешт, не рискнули пройти сухопутным путем в Албанию.

Факт самостоятельного существования Югославии сыграл решающую роль и для румынской политики независимости. По югославской территории проходит единственная не контролируемая ни Советским Союзом, ни державами Варшавского договора линия связи между Румынией и западным миром. Когда 21 августа 1968 года советские танки вошли в Чехословакию, Румынии, казалось, тоже предстояла оккупация силами держав Варшавского договора. Тогда заговорили было уже о возможном румынском правительстве в изгнании на югославской территории. Не следует забывать в этой связи о том, что глава румынской компартии Чаушеску и маршал Тито были последними двумя главами иностранных государств, с энтузиазмом встреченными чехами при посещении Праги, куда они приезжали для переговоров с тогдашним главой КПЧ Дубчеком всего лишь за несколько дней до интервенции.

Ни Тито, ни Чаушеску не закрывали глаза на угрозу, перед которой они стояли. Нельзя забыть тут речь, которую Чаушеску в качестве генерального секретаря РКП произнес перед населением Бухареста на площади Дворца Республики 21 августа 1968 года, в день вступления советских войск в Чехословакию. Чаушеску отказался тогда признать советское утверждение о «контрреволюции» в Чехословацкой республике и заявил, что «вооруженное вмешательство во внутренние дела любого из «социалистических государств» ничем не может быть оправдано».

Дословно глава румынской партии сказал так: «Говорят, будто в Чехословакии возникла угроза контрреволюции. А завтра найдется, пожалуй, кто-ни-

будь, кто скажет, что контрреволюционные тенденции проявились и у нас здесь, на этом собрании. Но мы ответим всякому: румынский народ никому не позволит посягнуть на территорию своего отечества. Посмотрите: здесь перед вами весь наш Центральный Комитет, Государственный Совет, Правительство. Мы все полны решимости преданно служить нашему народу в деле социалистического строительства, в защите наших революционных достижений и нашей независимости... Будьте уверены, товарищи, что мы никогда не станем предателями отечества, предателями интересов народа».

Эта речь Чаушеску — одно из интереснейших политических выступлений среди всех, имевших когда-либо место в коммунистических странах. Она выбивается из того партийного шаблона, которым обычно отличаются официальные заявления правящих коммунистических партий. Она показывает не только готовность румынских коммунистов — в противоположность чехословацким — к вооруженному сопротивлению, но и то, что Чаушеску вполне серьезно считался с возможностью быть в один прекрасный день захваченным и увезенным советской специальной оперативной группой, как это случилось с его коллегой Александром Дубчеком. В речи сказывается также стремление «национал-коммуниста» Чаушеску в момент опасности добиться максимального совпадения политики партии с национальными интересами румынского народа, хотя бы путем заверения, что компартия Румынии не предаст своего отечества. Упрек в измене родине в пользу чужеземных оккупантов был одним из главных упреков, которые после 1945 года бросались восточноевропейским коммунистам и в особенности кадровым работникам РКП.

Этот возврат к заботе о собственной нации и оглядка на романские, западнические традиции в Румынии послужили тогда и служат до сего дня одним

из эффективнейших средств самозащиты бухарестских руководителей от мощного советского соседа. Для советского руководства, однако, именно эта позиция румынских товарищей представляет собой идеологический вызов, в сущности, непростительный.

В отношениях с Югославией проблематика оказывается более глубокой и сложной. Традиция отмежевания, отталкивания от русских и советских элементов, уже несколько десятилетий сказывающаяся в Румынии, в югославском многонациональном государстве отсутствует начисто. Наоборот, народы Югославии всегда чувствовали и продолжают чувствовать свое родство с русским народом. Сербь и черногорцы не забыли участия России в деле освобождения Балкан от турецкого владычества. Далеко идущее сходство в языке, мечта об объединении всего славянства, вплоть до веры в «матушку Русь» („Majka Rusija“), наложили свою печать и на интеллигенцию, и на политиков всех народов современной Югославии. Черногорскому епископу времен Наполеона принадлежат слова: «Вместе с русскими братьями нас сто миллионов!».

Югославские коммунисты подхватили эту любовь ко всему русскому и перенесли ее в область идеологии. Тысячи югославских партизан гибли со словами «да здравствует Советский Союз!». Тем болезненнее было разочарование именно югославских коммунистов, когда именно Сталин и великий Советский Союз даже не подумали о равноправном обращении с их страной, с ее партизанским движением. Не будь в рядах коммунистических руководителей Югославии так безмерно велико разочарование в Москве, в Кремле, в Сталине, весьма возможно, что дело никогда не дошло бы до разрыва 1948 года.

Правда, посвященные — мы имеем в виду руководящих работников СКЮ, — с самого начала не разделяли идеалистической веры в Москву. Когда Эд-

вард Кардель, ныне «второй человек» в Югославии, прочел в 1948 году первые печатные нападки ВКП(б) на югославских коммунистов, он сказал: «Теперь нам нет пути назад... Я слишком хорошо знаю русских товарищей, я понимаю логику их мышления. Они объявят нас гуртом фашистами, чтобы перед всем миром морально и политически оправдать свою борьбу против нас. Если бы они могли, они ликвидировали бы нас силой. Мне кажется, что они не решились на это только по внешнеполитическим соображениям».

Говоря о конфликте со Сталиным, Тито и сам тогда отмечал, что дело тут отнюдь не в теоретических или идейных расхождениях, а в межгосударственных отношениях, то есть в соотношении сил, в политике силы. Именно этим Тито оправдывал перед своим биографом Дедьером также тот факт, что поначалу вел себя так, будто в основе конфликта со Сталиным лежит некое «недоразумение». Глава югославской партии и правительства говорил тогда, что «это было необходимо. Это не было заискиванием. Из-за наших масс. Авторитет Сталина был непререкаем. Если бы мы стали действовать слишком поспешно, мы оторвались бы от масс и сталинцы разбили бы нас. Мы не могли позволить себе озлобления. Нужно было выждать время, пока Советский Союз своими действиями доведет массы до того, что они сами закричат «долой Сталина!».

Рассуждая теперь о советской политике на Балканах, нужно помнить обо всех этих, лежащих уже в далеком прошлом, фактах. В своей книге «Потерянный бой И. В. Сталина» („Izgubljena bitka J. V. Staljina“, Beograd — Sarajevo, 1968) югославский коммунист Владимир Дедьер описывает, как члены советской миссии среди партизан уже в 1944 году — то есть еще в разгар второй мировой войны — старались завербовать агентов для НКВД. «Эта вербовка для советской тайной полиции, — пишет Дедьер, — приняла

еще больший размах после освобождения. Работники советских органов госбезопасности (*obaveštajci*), как саранча, набросились на все важнейшие узлы в армии, в хозяйстве, в аппарате ЦК. Даже главную шифровальщицу (*glavna šifrantkinja*) Центрального Комитета они пытались захватить в свою сеть. Весной 1948 года прибывшие из Москвы ловцы мертвых душ старались завербовать чуть ли не каждого из нас».

После такого опыта можно только удивляться все новым и новым попыткам Тито добиться примирения и даже идеологического сближения с Москвой. Как могли югославские коммунисты после всего случившегося сохранить хоть какое-то доверие к своим московским партнерам? И если верно утверждение Милована Джиласа, что Тито принадлежит к ничтожному числу государственных деятелей, не строящих себе иллюзий относительно советской политики, то как объяснить тот зигзагообразный курс в отношениях с СССР, который именно Тито избрал после смерти Сталина?

Ответ на этот вопрос лежит отчасти в личных свойствах югославского маршала, этого заядлого тактика и эквилибриста, отчасти, однако, и в определивших его политику объективных факторах. Как коммунист он не может совсем оторваться от Советского Союза. Он вынужден стремиться к тому, чтобы держаться от советских товарищей на расстоянии, не позволяющем им поколебать его режим; но в то же время крупные поражения Советского Союза отнюдь не в его интересах, ибо влекут за собой угрозу для югославского коммунизма. Пределы активности проходят для титоизма там, где советский коммунизм может начать разлагаться, распадаться. Для югославского титоизма советский коммунизм представляет собой таким образом, с одной стороны, угрозу, с другой, однако, гарантирует его существование. В этом

основа всей проблематики как для самого Тито, так и для любого его преемника.

К тому же, Югославия — многонациональное государство с очень сложной внутренней структурой. Противоречия между сербами и хорватами, важнейшими и наиболее многочисленными народами Югославии, не разрешились и под коммунистической властью. Здесь у Советского Союза оказывается немало зацепок для политического вмешательства. Так, Москва совершенно очевидно одобряла определенные экстремистские круги хорватских сепаратистов, с другой стороны, поддерживая сербских и черногорских централистов и догматиков. В то же время сейчас уже едва ли можно сомневаться, что советская сторона неоднократно протестовала как против действий хорватского партийного руководства в Загребе, так и против «сербских либералов» в Белграде. Когда в 1971 году Тито снял с постов хорватских коммунистов из окружения Мико Трипало и профессора Савки Дапчевич-Кучар, а год спустя сместил и главу сербской компартии Марко Никезича (многолетнего и уважаемого министра иностранных дел) вместе с секретарем партии Латинкой Перович, это означало конец попыток отстроить «плюралистическую» разновидность коммунизма. Это означало также конец «либеральной» фазы югославского режима и, следовательно, новое приближение к советским методам управления.

Тито вновь открыл прелесть «демократического централизма». Партия снова активизировалась, а с нею вместе, понятно, и югославская тайная полиция. В Москве могли с удовлетворением отметить, что югославская попытка создать «самоуправляющийся социализм» наткнулась на большие трудности. Волна новой индоктринации, отказа от либеральных вольностей в югославской модели коммунизма повела, однако, к тому, что догматики, «сталинисты» всех ма-

стей и оттенков почувствовали себя правыми и — говоря словами Тито — «снова подняли голову».

В такой ситуации, по мнению многих наблюдателей, Москве оставалось только подождать, чтобы после кончины или отказа от власти 82-летнего Тито снова взять Югославию в свои руки. Раскрытие просоветского заговора в недрах Союза Коммунистов Югославии, если связать его с активизацией советской политики в Албании, где министр обороны Балуку оказался впутанным в просоветскую авантюру, указывает, во всяком случае, на то, что в Москве хотели бы разрешить «балканский вопрос» поскорее и, по возможности, не дожидаясь ухода Тито.

В чем корни такого нетерпения советского руководства? Во-первых, в нем действует далеко идущее непонимание духа малых народов. Во-вторых, советское руководство склонно, по-видимому, делать неверные выводы из некоторых кризисных явлений в Югославии. (Это, впрочем, традиционная «болезнь» советских руководителей.) В-третьих, в партийном руководстве, в Советской армии и в органах государственной безопасности имеются, как кажется, круги, считающие необходимым «окончательно» рассчитаться с ревизионистами и национал-коммунистами по внутривосточным соображениям; в этих кругах опасаются, что «бациллы» уклонизма могут распространиться и дальше на восток. Наконец, в-четвертых, общий характер развития событий на Ближнем Востоке, греко-турецкий конфликт на Кипре, переворот в Португалии и неопределенность внутреннего положения в Италии укрепляет в советском руководстве позиции тех, кто настойчиво добивается прямого доступа к Средиземному морю.

Во главе Югославии стоит 82-летний старец. Кто и что придет на его место, неизвестно. С определенностью можно сказать только, что «послетитовская эра» началась уже при жизни Тито и что советское

руководство хотело бы сыграть в ней решающую роль. Советская политика в отношении Югославии входит при этом в состав политической концепции, охватывающей всю Европу. Путем нейтрализации и разрушения пояса национал-коммунистических государств, простирающегося сейчас от Адриатического до Черного моря (Албания, Югославия, Румыния), советские руководители хотели бы добиться решающего сдвига в соотношении европейских политических сил. Удастся ли им это, будет, однако, зависеть от воли к сопротивлению, с которой народы Югославии будут противостоять новому вмешательству в их внутренние дела.

“СЕРВЕЙ”

Журнал исследований Востока и Запада

№ 93 (осень 1974 г.) содержит:

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ Роберта Вольстеттер
ВОСТОК — ЗАПАД Роберт Бэрнс
Робер Легвольд

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ СЕГОДНЯ

Ученые — антрепренеры

КПСС — сообщение изнутри

Высылка западных корреспондентов

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РУМЫНИИ Кеннет Джоуитт

МНЕНИЯ И РЕЦЕНЗИИ

«Архипелаг ГУЛаг», т. 2

«Континент»

Агнес Смедлей в Китае

Годовая подписка (4 номера): 4 ф. ст. или 10 ам. дол.

Подписка для студентов: 2 ф. ст. или 5 ам. дол.

Цена одного номера: 1 ф. ст. или 2,50 ам. дол.

Заказы направлять по адресу:

Journals manager, Oxford University Press, Press
Road, Neasden, London NW10 0DD, England

ХОРВАТСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ И СТУДЕНЧЕСКИЕ РУКОВОДИТЕЛИ В ЮГОСЛАВСКИХ ТЮРЬМАХ

Владо Г о т о в а ц, редактор «Хорватского еженедельника», поэт и эссеист, член Пен-клуба, 27. 10. 1972 г. приговорен к 4 годам тюремного заключения строгого режима. Стало известно о том, что в тюрьме подвергается издевательствам.

Златко Т о м и ч и ч, редактор «Хорватской литературной газеты», поэт, в конце 1972 года приговорен к 4 годам тюремного заключения. Подвергался неоднократно наказаниям в лагере Стара Градишка. Нуждается срочно в медицинской помощи.

Д-р Шиме Д ж о д а н, доцент юридического факультета Хорватского университета в Загребе, специалист по экономике и политический деятель. 23. 11. 1973 г. приговорен к 6 годам тюремного заключения строгого режима. Тяжело болен, недолечен. Находится в тюрьме Лепоглава.

Д-р Марко В е с е л и ц а, доцент экономического факультета Хорватского университета в Загребе, депутат Скупщины СФРЮ, специалист по экономике и писатель. В конце 1972 г. в Загребе приговорен к 7 годам тюремного заключения.

Йозо И в и ч е в и ч, ассистент юридического факультета Хорватского университета в Загребе, секретарь культурной организации «Матица хрватска» и ответственный редактор «Хорватского еженедельника» до 1971 г. В конце 1972 г. приговорен к 5 годам тюремного заключения.

Звонимир Ч и ч а к, студенческий проректор Хорватского университета в Загребе. В сентябре 1972 г. приговорен к 3 годам строгого тюремного заключения.

Дражен Б у д и ш а, председатель Союза студентов Загреба, в сентябре 1972 г. приговорен к 4 годам строгого заключения. Болен. Держал голодовку в тюрьме.

Анте П а р а д и й к, председатель Союза студентов Хорватии, в сентябре 1972 г. приговорен к 3 годам строгого заключения.

Инж. Анте Т о д о р и ч, директор сельхозпромышленного предприятия «Агрокомбинат», в апреле 1974 г. приговорен к 13 годам тюремного заключения.

Рудольф М и к у л и ч, заместитель директора «Агрокомбината», в апреле 1974 г. приговорен к 12 годам тюремного заключения.

Все эти интеллектуалы, руководители студенчества и экономисты были деятелями «хорватской весны», в большинстве своем члены партии и хорватские патриоты.

В тюрьме находится также хорватский эмигрант, поэт Мирко В и д о в и ч, французский подданный, отец многочисленного семейства, в сентябре 1971 г. приговорен к 4 годам строгого тюремного заключения, уже в тюрьме срок заключения увеличен на 1 год.

Михайло М и х а й л о в впервые приговорен в 1965 г. к 5 месяцам условно за «Лето Московское 1964». Вторично — за «распространение ложных сведений» в 1966 г. — к году лишения свободы и году поражения в правах. Третий раз (уже в тюрьме), 19. 4. 1967 г. «за распространение вражеской пропаганды» к 4½ годам тюрьмы и 4 годам поражения в правах. Четвертый раз — 28. 2. 1975 г. за статьи в иностранной и русской эмигрантской печати — к 7 годам тюрьмы строгого режима и 4 годам поражения в правах.

СУДЬБА ПИСАТЕЛЕЙ В РЕВОЛЮЦИОННЫХ ДВИЖЕНИЯХ*

«Великая Октябрьская Социалистическая Революция оказала решающее влияние на мировую литературу...» — так начинается посвященная этому вопросу книга, изданная Академией наук СССР¹. Это утверждение повторяет пророчество Троцкого в его «Литературе и революции»: «Искусство этой эпохи будет всецело находиться под влиянием революции». Писал он это в 1924 году. Характеризуя революционное искусство, Троцкий утверждал, что оно полно неограниченной веры в будущее. Он закончил свою книгу предсказанием, что человек станет неизмеримо сильнее, умнее и культурнее. Типичный средний человек, по его словам, достигнет вершин Аристотеля, Гёте или Маркса. А над этой грядой будут возвышаться новые вершины.

Со времени, когда это было написано, было много возможностей наблюдать за влиянием революции на искусство и литературу. Мы еще не достигли предсказанных Троцким высот: «типичный средний человек» пореволюционной эпохи еще не достиг вершин Аристотеля или Гёте, как не достиг их даже и средний член брежневского политбюро. Но о том, во что

* Эта статья уточнена и дополнена специально для «Континента».

¹ А. И. Пузиков, В. П. Щербина, Я. Е. Эльсберг, «Великий Октябрь и мировая литература» (Москва, 1967).

выливается столкновение литературы и революции, говорить уже можно. При сравнении этого процесса в разных странах картина становится более ясной и дает возможность проникнуть в суть нашей эпохи, или даже в условия самого человеческого существования.

Чем привлекает революция писателей? Какова их судьба после революции? Что случается с их надеждами и опасениями? Как отражается на них революционный опыт? Какой отпечаток оставляет революция на литературе? И, наконец, как меняется сама революционная идея? Таковы вопросы, требующие сравнительного изучения в контексте разных революций, если мы хотим видеть преломление культуры в современных революционных стремлениях, исходя из их исторической перспективы, и оценить вероятные результаты этого в будущем.

Участие писателей в революционных движениях представляет собой часть большей проблемы — роли интеллигенции в политике. До Нового времени мыслитель мог оказывать прямое влияние на политику только как советник владетельной особы. К каким результатам для них это приводило, могли бы засвидетельствовать Аристотель и Ибн Хальдун, Макиавелли и сэр Томас Мор. Ведь именно это вдохновило Мора на создание «Утопии». В письме Эразму он признался, что мечтая об идеальном обществе, видел себя «в роли властителя Утопии»². Так, в самом начале Нового времени, когда выходящая из религиозных веков древняя мечта о рае была принесена на землю, традиция утопии, воодушевляющая интеллектуалов, исходила из двух источников: схематического идеализма и крушения их политических надежд и тяги к власти. (Джон Мильтон, принимавший участие в

² Мельвин Ласки, «Утопия и революция», — неопубликованная рукопись.

революции, писал в «Потерянном рае», что лучше царствовать в аду, чем служить в раю.) Но только появление интеллигенции как социальной группы объединило утопические идеи с идеями революционными. Старые мифологические и религиозные идеи — спасения и тысячелетнего царства — приняли светские формы: построение идеального общества путем насильственных перемен. Когда будут взломаны ворота в мирской теперь Святой град, начнется новый цикл истории при абсолютной перестройке социальных отношений на справедливых и рациональных основах. Мысль о существовании идеальной обители и спасения настолько упорно повторяется во всех своих исторических метаформах, что она, бесспорно, отвечает постоянно присущим человеку психологическим особенностям, а не только меняющимся социальным потребностям. Они, конечно, тоже зависят от исторических условий и от наличия таких социальных сил, для которых они особенно привлекательны и которые способствуют их распространению. Интеллигенция и есть такая сила. Характер и изменения интеллигенции были в разных странах различными, и из-за этого название «интеллигенция» не обозначает одно и то же в разных контекстах. Несмотря на все трудности определения понятия «интеллигенция», это одно из тех понятий — как и народничество и романтизм, — без которых нельзя обойтись³.

Внутренние различия в среде интеллигенции в разные времена и в разных местах оказывали существенное влияние на различное отношение писателей к революционным идеям. Классический пример этого,

³ Термин этот был впервые применен в России в шестидесятых годах прошлого века и долго считался *sui generis* русским явлением; потом он применялся в других отсталых странах; теперь применяется также в индустриальных и «поиндустриальных» странах.

— конечно, русская интеллигенция, которая развивалась от народнического и даже нигилистического упорства разночинцев к профессионализму послевоенного периода, и от социальных и политических — к культурным и эстетическим интересам литературы Серебряного века (до первой мировой войны). Писатели, все еще преданные революционным идеям — а их было меньшинство, — отражали раскол в среде интеллигентов. Но даже в их числе, автор символического «Буревестника», Максим Горький, откликался на перемены в настроениях интеллигенции. И когда, наконец, долгожданная революция пришла, этот многолетний друг Ленина написал свои «Несвоевременные мысли», в которых он так резко критиковал большевистскую революционную практику террора и цензуры.

Социальные предвестники литературной и профессиональной интеллигенции проявились уже до Французской революции в политической жизни в лице «философов» и «физиократов». Но они были реформистами, не революционерами. Литературным предвестником революции был Руссо, с его абстрактной идеей народного суверенитета, включающего право цареубийства. Он был прообразом того, что сегодня стало стереотипом «отчужденного интеллектуала». Его революционные фантазии сильно напоминают идеологические рационализации позднейших революционных устремлений, рационализации, которые, будучи сформулированы, привлекали следующие поколения политических литераторов, пользовавшихся ими, конечно, в духе своей эпохи. Уже у Руссо есть идея отчуждения, злорадно навязанная современным обществам: потеря счастья и потеря нравственности приводят к тому, что *l'homme naturel* становится *l'homme civil*. И Штирнер, и Маркузе, конечно, прямые наследники Руссо. Всем народническим и марксистским мечтам девятнадцатого и двадцатого столе-

тий предшествовало понятие элиты — просвещенного революционного авангарда: «Как может слепая масса, часто не знающая, чего хочет (поскольку, как правило, не ведает, что для нее хорошо), создать для себя большую и трудно осуществимую систему законодательных учреждений?» Ее может создать только законодатель — «инженер, который строит машину». Здесь уже виден Робеспьер, ожидающий момента для возведения на престол Богини разума, чтобы властвуя при помощи террора, насильно заставить людей быть свободными. У Руссо, не в пример Томасу Мору, есть уже и географическая проекция Утопии. *Le noble sauvage* действительно существует, и, хотя энциклопедисты скептически относились к утопическим писаниям, современная «интеллигенция» искала его в Бугенвиле и в других экзотических местах с тем же позитивистским любопытством, как наши современники, истинно верующие прогрессисты отправлялись в паломничество в центры своих утопий: в Москву, в Пекин или в Гаванну.

«Философы» эпохи Просвещения, с их либеральными идеями просвещения и с их умеренными, хотя и наивными, мыслями о разуме в политике, еще не были подлинными приверженцами революции. Все они (за исключением Кондорсе), когда настала революция, уже умерли, а если бы еще были в живых, вероятно, пали бы жертвами террора. Они находились под слишком сильным влиянием Локка, их прельщал пример британского конституционализма; будучи под влиянием вольтеровского скептицизма, они не принимали Руссо в теории и никак не могли принять его на практике. Но все же, как отметил Кольридж, существовала «природная близость» между их философией и деспотизмом, «несмотря на их гордые претензии, что они — эмансипаторы человечества». Когда же пришла революция (а Гонкуры писали, что она началась в салонах, посещавшихся философами), главную роль в

ней играла другая часть интеллигенции: провинциальные юристы, вроде Робеспьера, самоучки, искатели приключений, вроде Марата, служащие, *les roturiers*... Была приготовлена сцена для первой демонстрации трагикомических ошибок, периодически проявляющихся при конфронтации теории политических литераторов с революционной практикой. Писатели (хотя не всегда — литература) — обычные жертвы этих ошибок. Тех из них, кого захватил революционный миф спасения, зачастую терзали муки разочарования, что не мешало увлечению последующих поколений литературной интеллигенции революционными идеями, — они привлекали их, как мошкарку пламя. Правда, в более поздние времена многие из таких писателей предпочитали молиться этой идее из безопасного далека, но история подтверждает, что они, как и остальное человечество, не обязательно разочаровываются из-за безответной любви, и ими, как и остальным человечеством, движут чувство и мифы, а не разум и исторический опыт.

Скрываясь во времена террора, Кондорсе написал свой знаменитый «Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума», в котором он (как позднее Троцкий) утверждал, что «способность человека к совершенствованию не знает границ» и «теперешний уровень знаний убеждает нас, что новая эра будет счастливой». Кондорсе написал эти слова в марте 1794 года. Три недели спустя он был арестован и принял яд, чтобы избежать гильотины. Троцкий прожил 15 лет до того, как топорик сталинского убийцы пробил ему череп. Это подтвердило намного лучше его предсказание 1924 года (в «Литературе и революции») о том, что «жизнь в будущем не будет однообразной», чем предсказанную им тенденцию человека к совершенствованию.

Для художественной литературы период Французской революции и эпоха Наполеона были бесплод-

ными. Троцкий, в своей «Литературе и революции», объяснял это тем, что французы были слишком заняты деланием революции, но это объяснение нельзя признать удовлетворительным. На самом деле, многие писатели ушли в изгнание, а немногие оставшиеся боялись за свою жизнь. Не все они могли, как Сийес, воскликнуть, когда всё кончилось: «Я выжил!» Во время террора был казнен поэт Камиль Демулен — друг Робеспьера⁴, как и другой — самый значительный поэт этого поколения — Андре Шенье. Историк литературы П. Е. Шарве отмечает, что «эмиграция, как неизбежное следствие революции, оказала важное и ценное влияние на французскую литературу»⁵. В наполеоновскую эру вольтерианский дух и либерализм Монтескье прозябали в Institut из-за деспотического полицейского контроля, осуществляемого Фуше по поручению императора, который ввел строжайшую цензуру и высокомерно называл либеральных интеллектуалов *métaphysiciens nébuleux* или *idéologues*. Мадам де Сталь была изгнана из Парижа, ее *De l'Allemagne* не была пропущена цензурой, за ней установили полицейский надзор и в конце концов она бежала за границу. Бенжамен Констан был постоянно в оппозиции к Наполеону и в конце его царствования переехал в Германию. Свою лучшую вещь «Адольф» он опубликовал только в 1819 году, хотя она была написана уже в 1806. И только после падения Наполеона французская литература снова расцвела с Шатобрианом и Гюго, Ламартином и Виньи, Стендалем и Мери-мэ.

⁴ Робеспьер, когда был молодым юристом, выступал против смертной казни, но потом отказал друзьям Камилля Демулена его помиловать. В это время его собственная казнь была уже не за горами.

⁵ «Литературная история Франции», (Лондон, 1967), том IV, стр. 32.

Французская революция оказала большое влияние на писателей за границей. Сначала революция была встречена ими весьма сочувственно, но постепенно их энтузиазм рассеялся и во многих случаях заменился полным разочарованием. Революция представлялась им защитницей страждущих и слабых, бедных и порабощенных, она вселяла новые надежды для угнетенных и всего человечества. Она должна была привести к господству разума и к равенству. «Жить во время этого рассвета было блаженством, а тем паче счастьем было быть молодым». Вордсворт объяснил, что было причиной его энтузиазма:

«Сколь привлекательна романтическая страна!
Страна, права в которой осуществляются Разумом...»

Но скоро пришла горечь разочарования, и Вордсворт увидел, что революционеры «в свою очередь стали порабощателями». Это определение повторяется снова и снова и находит свое отражение в каждом новом случае «Крушения кумиров». Кольридж, который сначала тоже приветствовал революционные идеи, писал в горьком разочаровании:

«Рабы по собственному принуждению! В дикой игре
Они разбили свои оковы и носят имя
Свободы, написанное на еще более тяжелых цепях!»

Разочаровались Гёте, Кант, Бетховен. Гойя подвел итог: «Мечта о Разуме порождает чудовищ». Это стало лейтмотивом разочарованных писателей. Гельдерлин писал: «Государство становится адом на земле как раз из-за того, что люди хотят превратить его в свой рай». Позднее Достоевский, забросивший революционные идеи своей молодости, повторил эту мысль, восставая против революционного нигилизма нечаевщины. Он говорил, что политика, начинающаяся с не-

ограниченной свободы, кончается неограниченным деспотизмом. Эти мысли неоднократно повторялись многими писателями вплоть до наших дней. Однако мысль эта не нова. Уже Паскаль сказал, что человек — не ангел и не животное, но, к сожалению, тот, кто хочет быть ангелом, ведет себя, как зверь.

Во Франции, после Реставрации, литература отразила всеобщее разочарование, освобождение от иллюзий революционных идей. Ранняя фаза французского романтизма явилась запоздалой реакцией на веру в Разум и в неограниченную возможность совершенствования человека, как она проявилась в эпоху Просвещения. Но время шло, и в памяти стали стираться массовые сентябрьские убийства, террор, превращение «чистого разума» в фанатизм революционного практического разума, агрессивный милитаризм наполеоновской эры. Они больше не препятствовали фанатизму писателей, как раньше. В 1830-х годах романтизм приобрел во Франции и в других странах также и революционное значение. Во Франции революционный миф произрастает на почве отождествления патриотизма и революции. Пламенная риторика Сен-Жюста и Дантона, пафос революции как представления, слава французского оружия при императоре — все это оказывало особое влияние на потерпевшую поражение страну и ее писателей. Эту эволюцию очень ярко отражает сын наполеоновского генерала — Виктор Гюго. Скептицизм Токвиля будет понят только позже. Он был первым мыслителем, который понял, что революционное движение преобразует религиозную веру в политическую, сохраняя основные характеристики религиозных убеждений. Как и религиозные движения, революционные сохраняют догматический фанатизм, хотя их вера не трансцендентальна. Но в 1840-х годах надежды и отчаяние снова стали абсолютными и приняли исключительно политические формы. Такие революционные общества, инспириро-

ванные «заговором равных» Бабефа и Буонарроти, развились в обществе, которое включало большое число «людей с краю» — честолюбивых, но потерявших надежду людей, считающих себя интеллектуалами, типа Жюльена Сореля и Растиньяка, — имевшими, однако, очень мало шансов «покорить Париж». Революционная идея снова овладевала умами: Маркс и Энгельс изучали «французскую революционную традицию».

После неудачи, постигшей «*Les Trois Glorieuses*», маятник качнулся снова в другую сторону. Бодлер сожалеет о своем «революционном угаре», как и Флобер, чье «Воспитание чувств» с особым удовольствием читали люди среднего возраста во время парижских беспорядков в мае 1968 года. После бурных «июньских дней» 1848 года и переворота 1851 года французские писатели отвернулись от «революционного утара». Для Бодлера видение рациональной утопии — это извращенное отражение земного рая; утописты, эти организаторы общественного счастья — обманщики, умело манипулирующие людьми во имя фикции. В своей «*Le Poème du Haschisch*» Бодлер иронически замечает, что «Жан-Жак (Руссо) одурманил себя без гашиша».

В истории любви между литературой и революцией во Франции есть свои превратности, и самый пламенный из современных «влюбленных» — Жан-Поль Сартр — особенно страстно бьет и по Бодлеру, и по Флоберу. В посвященных им книгах он отмахивается от Бодлера как от простого повстанца, который, не в пример настоящим революционерам, не хочет изменить мир, а от Флобера — как от буржуазного интеллектуала, который, «несмотря на свои попытки видеть мир глазами аристократа», сохранил «буржуазный взгляд на буржуазию». Романтический оптимизм Сартра теперь уже немного ослаб, но всё еще время от времени вспыхивает:

«Будет ли человечество избавлено от эксплуата-

ции, отчуждения и всего, что столь отвратительно в обществе? Я не уверен... Историки утверждают, что революционеры никогда не знают, где и когда остановиться. Однако это неверно. Наоборот, они все время останавливаются, так что следующее поколение революционеров чувствует, что должно следовать за предыдущим... Может быть, было бы лучше, если бы наконец революционное движение было готово и хотело довести дело до конца»⁶.

Ничто не отражает так точно революционную приверженность к утопии после стольких разочарований: он, Сартр, не уверен, что ее удастся осуществить, но обвиняет предыдущих революционеров в том, что они не достигли цели в прошлом, оттого что не пошли до конца. (Непонятно, что это означает, если учесть, что Сартр выразил предпочтение «революции без террора»). Однако в своем отношении к революционному насилию он совершенно последователен, о чем свидетельствует его поддержка французских маоистов и немецких террористов. В интервью, опубликованном в журнале «L'Actuel», он защищал «смертную казнь для врагов Революции»: «Революция должна избавиться от многих из них, и я вижу лишь одно решение — убить их».

Что касается Французской революции, еще можно было пользоваться доводами ее шотландского сторонника (позднее разочаровавшегося) Джеймса Макинтоша, которого в 1791 году революция поразила «своей беспримерной мягкостью и тем, что так мало людей погибло в результате падения такой огромной груды». Эта аргументация уж совсем не годится для русской революции (число жертв французского террора насчитывало менее 20 тысяч, а советского великого террора — более 20 миллионов), так что формулировки стали более жестокими: «нельзя сделать яичницу, не разбив

⁶ «Нью-Йорк таймс мэгэзин», 17 октября 1971.

яиц»; однако конечная цель — утопия — и средство к ее достижению — революция — остались путеводными звездами для интеллектуалов и писателей, ищущих пути покороче и тотальные решения.

Наша собственная революционная эпоха дает яркие иллюстрации отношениям литературы и революции и судьбам писателей, попавших под колеса этих отношений. В самом общем плане поразителен контраст между смертностью революционно настроенных художников и писателей при революционных и неревolutionных режимах. Это парадоксально, но можно даже утверждать, что естественная смерть для них естественна только при неревolutionных режимах. Хотя и немного преувеличено, но в общем верно мнение о том, что они, как и другие писатели, пользовались несравненно большей творческой свободой в до-революционном, чем в послереволюционном обществе. Картина ясна, и два недавних нобелевских лауреата по литературе — Солженицын и Неруда — символизируют собой примеры этого. Или можно упомянуть Брехта. Или Пикассо, который в 1945 году стал членом французской коммунистической партии, но чьи «формалистические» картины все еще не демонстрируются в Советском Союзе⁷. Примеров такого рода — легион.

Поэтому совершенно неудивительно, что многие писатели, горячо верившие, что во время своего паломничества в Москву увидели «будущее в действии», не решились поселиться в стране своих снов, когда им представилась возможность выбора.

Когда Л. Фейхтвангер посетил Москву в 1937 году,

⁷ Посещение Брежневым Лувра совпало с выставкой картин Пикассо, устроенной по поводу 90-летия со дня рождения художника. Брежнева попросили дать отзыв о Пикассо. Этот отзыв следует сохранить для потомства: «У него появилась хорошая идея использовать голубя как символ мира». («Дейли телеграф», 1 ноября 1971).

он обнаружил там «подлинную свободу» (и написал книгу, оправдывающую московские процессы)⁸, но он предпочел вести беженскую жизнь при «формальной» буржуазной свободе — сначала во Франции, а потом в Америке. Так же поступил и Генрих Манн, поселившийся в США и умерший как раз в тот момент, когда, после долгих лет колебания, решил посетить ГДР. Брехт ездил в ГДР, но сохранил свой австрийский паспорт и швейцарский банковский счет.

Писателям гораздо легче сохранить приверженность к революции и веру в утопию, если им не приходится жить в ней. Неудивительно, что революционный опыт нашей эпохи вызвал противоположную реакцию изнутри и извне. Поразительно, что столь много столь хороших писателей временно или постоянно было захвачено революционной идеей и отождествило с ней Советский Союз. В их числе находились Анатоль Франс, Джордж Бернард Шоу, Ромен Роллан, Анри Барбюс, Теодор Драйзер, Эптон Синклер, Андре Мальро, Жюльен Бенда, Жан Геенно, Поль Низан, Андре Жид, Поль Элюар, Луи Арагон, Жан-Поль Сартр, Симона де Бовуар, Шон О'Кейси, Панаит Истрати, Мартин Андерсен Нексе, Людвиг Ренн, Иоганнес Бехер, Теодор Пливье, Хальдоур Лакснесс, Игнацио Силоне, Чезаре Павезе, Эллио Витторини, Васко Пратолини, Карло Леви, Джон Дос Пассос, Эдмунд Вильсон, Е. Е. Кумминг, Ричард Райт, В. Х. Оден и многие, многие другие.

Многие из них отказались от своей веры, другие прошли путь существенной эволюции взглядов. Каждый из них, конечно, представляет собой особый случай, но все они в то или иное время подпали под влияние революционного мифа, вне зависимости от их

⁸ О «признаниях» он написал следующее: «Если это была ложь, если это представление, то я не знаю, что правда». Цит. по книге Джона Кота «Попутчики», оттуда же взят и ряд дальнейших цитат.

индивидуального прошлого и личных качеств. Подобно их предшественникам времен Французской революции, они приветствовали русскую революцию, считали ее путеводной звездой к свободе и справедливости.

С самого начала они проявляли не только политическую наивность в своем паломничестве в революционную Мекку, но также готовность простить политическое насилие. Почтенный скептик Анатолий Франс заявил, что «если хочешь видеть наступление эры справедливости, то надо согласиться с тем, что может случиться на пути к ее достижению — с несправедливостью, зверством, кровью». Он не мог представить себе, какие масштабы все это может принять в двадцатом веке (вопреки указаниям партии, он защищал русских социалистов-революционеров, которых судили в Москве в 1922 году).

Позднее постепенно выработалась схема, которая совмещала моральное возмущение по отношению к одним странам с принятием террора и деспотизма в других. Она была изложена в «Die Massnahme» Брехта, где он поставил партию над нравственностью⁹; Оденем — в поэме «Испания», где он объявил, что «честно принимает на себя вину за необходимые убийства»; и Мерло-Понти, который в своем «Гуманизме и терроре» дает «диалектическое» оправдание сталинского «концентрационного мира».

Тупость некоторых современных комментариев сталинской эры невозможно понять. А выступали с

⁹ Брехт писал, что борец за коммунизм должен уметь «говорить правду и не говорить правды». Сцена признания товарища, которому предстоит ликвидация партией, предвидела московские процессы и заранее давала их рациональное объяснение. Обсуждение этого вопроса было проведено Берлинской академией искусств и литературы уже в 1780 году. *Est-il utile de tromper le peuple?*, Вернер Краус, Академи Ферлаг, Берлин 1966.

ними не только такие узколобые «попутчики», как Хьюлет Джонсон, Анна-Луиза Стронг или супруги Вебб, но и крупные литераторы. У Ромена Роллана было ощущение, что Сталин дал лучшую гарантию защиты духовных прав, Джордж Бернард Шоу называл его «хорошим слушателем», Генрих Манн утверждал, что Сталин скорее откажется от титула маршала, чем интеллектуала, Фейхтвангер писал, что «Сталину неприятно подвергаться идолизации»...

Во время Великой чистки, когда Анна Ахматова писала в своем «Реквиеме»:

«Эта женщина больна,
Эта женщина — одна.
Муж в могиле, сын в тюрьме,
Помолитесь обо мне», —

Арагон писал об обвиненных на московских процессах, что «считать этих людей невинными, означает всецело принять гитлеровский тезис»¹⁰.

¹⁰ Надежда Мандельштам писала в своих «Воспоминаниях» о том, что, когда она видит книги Арагонов этого мира, которые так стараются заставить их компатриотов жить, как мы живем, она чувствует, что ее долг — поделиться опытом.

Несмотря на свои еретические высказывания по поводу Чехословакии и Солженицына, Арагон остался членом компартии. Он даже получил 3 октября 1972 года — в день своего 75-летия — Орден Октябрьской Революции от Верховного Совета СССР. Но журнал «Летр Франсез», редактором которого он был, прекратил свое существование якобы по экономическим причинам, а на самом деле потому, что журнал стал мешать его французским и советским коммунистическим покровителям. В своем последнем обращении к читателям Арагон писал: «Моя жизнь подобна страшной игре, которую я полностью проиграл. Мою собственную жизнь я искалечил, исковеркал безвозвратно...» («Летр Франсез», 11 окт. 1972 года). Таким образом, это признание в духовном банкротстве было сделано им как раз в то время, когда его наградили советским орденом.

Когда Давид Руссе хотел раскрыть факты о сталинских каторжных лагерях, Сартр протестовал против этого, заявив: «рабочих Бийанкура нельзя лишать их надежды».

Что же случилось с надеждами русских писателей?

В своей «Матери», ставшей классическим революционным произведением, Горький предсказал, что после революции «Россия станет самой прекрасной демократией в мире». Когда революция настала, он уже не был в этом так уверен. Среди эмигрировавших писателей были Бунин, Бердяев, Андреев, Мережковский, Зинаида Гиппиус, Ремизов, Бальмонт, Ходасевич. Также Алексей Толстой, Цветаева, Эренбург и князь Святополк-Мирский, которые, однако, позднее вернулись. Но, ретроспективно, двадцатые годы кажутся золотым веком советской литературы. Иго социалистического реализма еще не обрушилось на писателей, во время нэпа у писателей еще была какая-то духовная передышка, в какой-то мере допускалась борьба между литературными течениями. Авангардистские художники и писатели все еще питались иллюзиями о союзе с политическим авангардом. Но партия уже становилась все более монолитной и «*Gleichschaltung*» литературы была лишь вопросом времени. Замятин, в романе «Мы» предвидевший Сталина в лице Благотворителя, предугадав и влияние такой «*Gleichschaltung*», заявил, что если русским писателям не разрешат писать без догматических оков, то у русской литературы не будет другого будущего, кроме... ее прошлого. А именно это и произошло. Мандельштам почувствовал это довольно рано, когда писал в 1923 году свое стихотворение «Век мой, зверь мой, кто сумеет...»

В 1930 году Роман Якобсон написал статью «Поколение, промотавшее своих поэтов», в которой он

описал судьбы четырех русских поэтов, принявших революцию, и одного, отвергшего ее. Он говорил о расстреле Гумилева, о длительной духовной агонии, невыносимых физических страданиях и падении Блока, о жестоких лишениях и смерти Хлебникова и о преднамеренных самоубийствах Есенина и Маяковского. Однако дальнейшие события показали, что своих поэтов и писателей «прототало» не только их «поколение».

На первом съезде советских писателей, в присутствии плеяды западных литературных «попутчиков» во главе со звездами типа Жида и Мальро, Жданов похвалялся оптимизмом советской литературы, говоря, что она пропитана энтузиазмом и героизмом. Еще раз новообращенный Горький, ставший к тому времени патриархом советской литературы, провозгласил «социалистический реализм» обязательным методом литературного творчества. Он назвал Достоевского ренегатом, никогда не понимавшим, что у человека на душе, и заявил, что настоящая литература, настоящая правда находится среди народных героев — этих древних и вечно живых героев трудящихся классов — Прометея, Святогора, Иванушки-дурачка, Петрушки и, наконец, Ленина. Мальро восхвалял сооружение Беломорского канала (построенного с применением рабского труда) и признал социалистический реализм ценным методом, чтобы тут же декларировать героический миф своего собственного толка: «Я считаю, что как Ницше воплотил нечто звериное в своем Заратустре, так и нам следует, не поддаваясь глупой сентиментальности, переоценить те ценности, которые сближают людей и дают новый смысл идее мужественного братства». Это была нотка, совершенно не соответствующая событию, положившему начало сюрреалистической эре в советской жизни и литературе.

Двумя годами позже умер Горький, якобы в результате объединенных усилий его докторов, погубив-

ших его, чтобы повредить советской литературе и революции. Годом позже Андре Жид, который в 1932 году писал, что его «преобразование имеет религиозный характер», и выражал убеждение, что «Советский Союз показывает путь к спасению», заявил: «Надо видеть вещи такими, какими они есть, а не такими, какими бы их хотелось видеть», и заключил, что «Советский Союз разочаровал нас в наших глубочайших надеждах»¹¹. Это стало лейтмотивом целого поколения западных писателей, которые с энтузиазмом приняли революционную идею, но были разочарованы русской революцией, как их предки — французской. За исключением этого, между обеими революциями было мало общего, но русское революционное движение было захвачено идеей этого несуществующего параллелизма и, как бы иллюзорен он ни был, он повлиял на отношения и действия всех участников.

«Проматывание» поэтов и писателей продолжалось, но степень его невероятно возросла во время ежовщины и бериевщины. Солженицын подытожил его в Письме IV съезду писателей СССР:

«Многие авторы при жизни подвергались в печати и с трибун оскорблениям и клевете, ответить на которые не получали физической возможности, более того — личным стеснениям и преследованиям (Булгаков, Ахматова, Цветаева, Пастернак, Зощенко, Платонов, Александр Грин, Василий Гроссман). Союз же писателей не только не предоставил им для ответа и оправдания страниц своих печатных изданий, не только не выступил сам в их защиту, — но руководство Союза неизменно проявляло себя первым среди гони-

¹¹ В 1934 году Сэмюэль Путнам писал в коммунистическом тогда «Партизан ревью» (том I, № 5, стр. 36), что «найдя коммунизм, Андре Жид нашел ту юность, которую он искал всю свою жизнь». Когда Жид умер в 1951 году, коммунистическая газета «Юманите» писала, что «умер труп».

телей. Имена, которые составят украшение нашей поэзии XX века, оказались в списке исключенных из Союза, либо даже не принятых в него! Тем более, руководство Союза малодушно покидало в беде тех, чье преследование окончилось ссылкой, лагерем и смертью (Павел Васильев, Мандельштам, Артем Веселый, Пильняк, Бабель, Табидзе, Заболоцкий и другие). Этот перечень мы вынужденно обрываем словами «и другие»: мы узнали после XX съезда партии, что их было более шестисот — ни в чем не виновных писателей, кого Союз послушно отдал их тюремно-лагерной судьбе. Однако свиток этот еще длинней...»

Этот свиток продолжается до наших дней, хотя после смерти Сталина обхождение с художниками и писателями стало более мягким: Бродский, Синявский и Даниэль, «и другие». Сам Солженицын, что и говорить, служит тому знаменательным примером.

Какие же заключения о конфронтации литературы и революции в Советском Союзе сделаны теми, кто хотел свидетельствовать об этой эпохе?

Пастернак, Синявский, Солженицын и Надежда Мандельштам выражаются на этот счет совершенно недвусмысленно. Ими представлено течение современного возрождения религии в России, но своей этической философией и своим восприятием истории они, по-видимому, подводят общий знаменатель ощущениям и многих других, не обязательно верующих, как они.

В «Докторе Живаго» Пастернак двусмысленно отзывается о самой революции, но совершенно недвусмысленно о ее более поздних проявлениях:

«Переделка жизни! Так могут рассуждать люди, хотя может быть, и выдавшие виды, но ни разу не узнавшие жизни, не почувствовавшие ее духа, души ее. Для них существование — это комок грубого, не облагороженного их прикосновением материала, нуждающегося в их обработке. А материалом, веществом,

жизнь никогда не бывает. Она сама, если хотите знать, непрерывно себя обновляющее, вечно себя перерабатывающее начало... она сама куда выше наших с вами тупоумных теорий...

Марксизм слишком плохо владеет собой, чтобы быть наукой. Науки бывают уравновешеннее. Марксизм и объективность? Я не знаю течения, более обособившегося в себе и далекого от фактов, чем марксизм. Каждый озабочен проверкою себя на опыте, а люди власти ради басни о собственной непогрешимости всеми силами отворачиваются от правды».

В другом месте Пастернак иронически прибавил, что на самом деле от нас хотят очень малого: ненавидеть то, что мы любим, а любить, что ненавидим. А это труднее всего.

В своей статье о социалистическом реализме Синявский ярко показал связь между таким принуждением (для которого социалистический реализм и был создан как его орудие в литературе) и утопической телеологией революции, которую он назвал «Целью»:

«Чтобы навсегда исчезли тюрьмы, мы понастроили новые тюрьмы. Чтобы пали все границы между государствами, мы окружили себя китайской стеной. Чтобы не пролилось больше ни единой капли крови, мы убивали, убивали и убивали».

В «Августе Четырнадцатого» Солженицын критически отзываясь о русской радикальной интеллигенции. Ее представительницу — молодую народницу Соню — отец критикует за то, что она пользуется революционными штампами. Цитируя горьковский «Буревестник», он называет призыв к революции «безответственным». Он ратует за политическую умеренность и за упорный труд специалистов-техников, чтобы побороть промышленную отсталость России:

«...Но разумный человек не может быть за революцию, потому что революция есть длительное и бездумное разрушение. Всякая революция прежде всего

не обновляет страну, а разоряет ее, и надолго. И чем кровавей, чем затяжней, чем больше стране за нее платить — тем ближе она к титулу Великой».

В своих «Воспоминаниях» Надежда Мандельштам объясняет отсутствие сопротивления продолжительным революционным ужасам тем, что радикальная интеллигенция была захвачена революционными идеями:

«...Решающую роль в обуздании интеллигенции сыграл не страх и подкуп, хотя и того и другого было достаточно, а слово «революция», от которого ни за что не хочется отказаться. Словом покоряли не только города, но и многомиллионные народы. Это слово обладало такой грандиозной силой, что, в сущности, непонятно, зачем нашим властителям понадобились еще тюрьмы и казни».

В этом корень проблемы, ибо легитимность строя основана на признании (даже тактическом), что революция — путь к коммунистической утопии. Партия из-за этого исключительно чувствительно относится (и всегда относилась) к этому положению, основанному, конечно, на марксистской «исторической закономерности», которая просто гарантирует осуществление этой веры и достижение «Цели». Такова суть легитимности идеологического контрольного механизма, включая доктрину о социалистическом реализме в литературе. Всё, что ставит под сомнение марксистские «исторические законы», бросает вызов не только догме социалистического реализма, но и революционному мифу (вместе с его утопической перспективой) и *ipso facto* содействует разрушению легитимности режима, требующего, по меньшей мере на словах, признания исторических закономерностей советской идеологии.

Со времени доклада Хрущева (на закрытом заседании XX съезда) можно отметить медленное отхождение от таких предписанных несомненностей. В ли-

тературе это отклонение было отмечено там, где прямо и ясно оспаривалась суть коммунистической идеологии, — четырем уже ранее цитированным авторами. Фронтальную атаку на марксистское понимание истории особенно повели Пастернак и Солженицын. «Смешным пережитком прошлого» называет его Пастернак в «Докторе Живаго», а Солженицын, в «Августе Четырнадцатого», вкладывает в уста одного из своих героев слова, что «историей не управляет разум», а она «иррациональна». В своем письме советским вождям Солженицын резко отверг марксистскую идеологию; более подробно он разработал эту тему в «В круге первом», в главе «Диалектический материализм — передовое мировоззрение», впервые напечатанной в журнале «Континент» (№ 1, 1974 г. стр. 125-142), а также в своем эссе в сборнике «Из-под глыб».

Одна из постоянных тем, снова и снова возникающих при столкновении литературы и революции, — это противоречие между литературной чувствительностью и политическими контролями, между авторами и революционными правителями. Это подтверждается новыми и новыми примерами, но, пожалуй, пример Китая наиболее поразителен. Китай импортировал с Запада и современную литературу, и идею революции. Китайская интеллигенция тоже была, в известной мере, продуктом западного культурного влияния. Она начала появляться после падения маньчжурской династии в 1911 году, в результате чего пропал слой ученых-чиновников. Нигде в другом месте взаимоотношения современной литературы и революции не были вначале столь близки, и нигде их расхождение не было столь решительным.

Современная китайская литература началась с того, что доктор Ху-ши начал призывать литераторов пользоваться народным языком вместо классического китайского. Его статья с этим предложением, написан-

ная, когда он находился в аспирантуре Колумбийского университета, и опубликованная в журнале Пекинского университета «Новая молодежь», была сигналом к первоначальной китайской культурной революции (обычно называемой Культурным возрождением) в 1917 году. Тот же Пекинский университет, где студенты с энтузиазмом приветствовали его идею, должен был скоро стать очагом Движения четвертого мая и местом формирования первых кадров зачинающегося коммунистического движения. Эти идеи побуждали их прежде всего порвать с прошлым. Во-первых, ощущающаяся необходимость порвать с умирающей, но священной литературной традицией, которая стала герметической и „precieuse“, и дегенерировавшей в систему неясных намеков и педантичных стереотипов. Ученый, но вялый запрещенный язык изношенных клише должен был быть заменен живым народным языком, на котором когда-то и писались китайские романы. Во-вторых, загнивающее китайское общество, которое не смогло провести реформу, вроде реформы Мейи, проведенной в Японии, должно было преобразоваться путем революции, чтобы смочь противостоять иностранным державам, унижавшим Китай в девятнадцатом и двадцатом веках. Так марксизм в Китае играл на чувствах, актуальных для Европы времен Реформации с ее переводом Библии и крестьянскими войнами, времен Французской революции с ее патриотическими призывами к оружию для защиты республики, и времен русской революции, перед которой народническая интеллигенция ясно ощущала разрыв между своими культурными и политическими устремлениями и экономической и социальной отсталостью страны. Конечно, речь здесь шла о большем, чем союз литературного авангарда европейского типа и ленинского политического авангарда. Но неправильность представлений, лежащих в основе интимной

связи между литературой и революцией в Китае, была не меньшей, чем в других странах.

Среди новых китайских писателей двадцатых годов были сторонники многих идеологических направлений. Все они стремились к прогрессу при помощи модернизации; одних прельщал либерализм, других — коммунизм, третьих — анархизм, всё — импортированные течения. В тридцатых годах произошла радикализация китайской интеллигенции и большинство писателей примкнуло к поддержанной партией Лиге левых писателей, которая была создана в марте 1930 года при содействии самого известного современного китайского писателя Лу Синя. После начала войны с Японией многие из них отправились в Яньань.

Однако конфликт между партией и революционными писателями начался уже раньше¹². Лу Синь, Фэн Сю-фэн, Пу Фэн, Жу Чжи-цзюань и Су Вен постоянно сталкивались с партийными надсмотрщиками Лиги — Чу Чиу-паем и Чу Янгом, ставшим китайским Ждановым. Лу Синь умер в 1936 году и, подобно Горькому в России, был канонизирован в Китае как святой — заступник коммунистической литературы.

В Яньани, где писатели начали «плохо вести себя», создавая критические произведения, в мае 1942 года было созвано совещание по вопросам литературы и искусства. В дальнейшем литературном развитии Китая оно сыграло ту же роль, что и первый съезд советских писателей в Советском Союзе. В Китае строгий партийный контроль над литературой был установлен еще до прихода партии к власти, когда Мао больше не считал нужным ухаживать за писателями (до того концентрировавшимися главным образом в

¹² Мерль Гольдман, «Литературное сопротивление в коммунистическом Китае» (Гарвард юниверсити пресс, 1967).

Шанхае). Правила установил сам Мао Цзе-дун. В двух речах, обращенных к совещанию¹³, он сделал строгий выговор писателям и сказал им, что они должны «ишачить на пролетариат и на массы». Он заявил: «Наша цель — обеспечить, чтобы революционная литература и искусство следовали правильному пути развития». Он определил это словами: «добросовестно выполнять функции составной части революционной машины в целом». Он добавил:

«Не разрушит ли тогда марксизм-ленинизм творческий дух? Да. Он разрушит любой вид творческого духа, который не исходит из масс и из пролетариата... Интеллектуалы должны идентифицироваться с массами и служить массам. Этот процесс может повлечь за собой, даже обязательно повлечет, много страданий и разногласий».

Так и случилось. С тех пор партия предпринимала периодические кампании против упорствующих писателей, чтобы «переделать» их. Первая из них происходила сразу после Яньаньского совещания и была направлена против Ван Ши-вэя, автора популярной книги «Дикая Лили», с безрассудной смелостью критиковавшего в своих произведениях высокомерность партийных кадров. Ван Ши-вэй пропал вскоре после Яньаньского совещания, и больше его не видели. Другой писатель, Си Чжун — ученик Лу Синя, защищавший в Яньани Ван Ши-вэя, — пропал в 1948 году.

После создания Народной республики в 1949 году преследованиям подвергались многие другие писатели, то ли оттого, что не отвечали китайским нормам социалистического реализма, то ли просто для того, чтобы служить отрицательными примерами в разных «кампаниях». Еще до того, после занятия Маньчжурии Красной армией, мишенью нападок исправитель-

¹³ Мао Цзе-дун, «Об искусстве и литературе» (Пекинское издательство иностранных языков, 1960).

ной кампании стал самый видный маньчжурский писатель Сяо Чжун (сам он боролся вместе с партизанами). В 1948 году он подвергся чистке. Фэн Сю-фэн, друг Лу Синя и участник Великого похода, в 1954 и 1957 годах неоднократно подвергался нападкам. Его коллега по Лиге левых писателей, Ху Фэн, подвергался нападкам в течение всего 1955 года. Кампании против него велись по всей стране. Не менее злобной была в 1957 году кампания против знаменитой писательницы Дин Лин (лауреат Сталинской премии), которую в наказание заставили подметать помещение партийного бюрократа. В том же году антиправого движения подвергся чистке эпический поэт Ай Цин вместе с рядом других менее известных писателей, неосторожно проявивших свои подлинные настроения во время предыдущего периода — короткой либеральной передышки Ста цветов.

Впоследствии произошли дальнейшие столкновения между партией и писателями (например, с лирическим поэтом Хо Чи-фаном в 1959 и 1960 годах), но постепенно проявление духа неповиновения становилось все менее возможным, пока его окончательно не сломили во время Культурной революции, направленной не только против партийных оппонентов Мао, но и против китайских культурно-исторических традиций. Хунвейбины нападали на интеллектуалов и на музеи, а кампания против традиций Конфуция продолжалась и по окончании Культурной революции.

Но не только ужимки и эксцессы после 1966 года сломили китайскую литературную интеллигенцию, появившуюся в результате китайского Возрождения после 1917 года и с таким энтузиазмом ставшую на сторону китайской революции. Ее ликвидировали «как класс» не одним ударом, как кулаков при Сталине, а прибегая ко все новым и новым кампаниям, целью которых было научить ее яньаньским директивам Мао — как «служить массам» и их «кормчему».

Перед Культурной революцией некоторых писателей заставили переделать свои произведения, опубликованные в докоммунистическом Китае. Как Шолохов, Гладков и Фадеев в Советском Союзе, они согласились на это. Самый яркий пример — Пай Чин, популярный китайский писатель-анархист (свой псевдоним он вывел из имен Бакунина и Кропоткина), после победы Мао отказавшийся от своих взглядов, принявший коммунизм и изъявивший из своих книг все многочисленные (и полные энтузиазма) ссылки на анархизм¹⁴.

Во время Культурной революции литература в Китае просто перестала существовать. Не публиковалось ничего, кроме абсолютной макулатуры верноподданнических произведений, восхваляющих гений Мао и критикующих его врагов. Символично, что колыбель современной китайской литературы и революционных движений — Пекинский университет — во время Культурной революции был закрыт. Невозможно привести более яркий пример отношений между литературой и революцией. Когда в первом веке до нашей эры по указанию китайского императора сжигались книги, это делалось не во имя революционной идеологии, а по совету судейского чиновника, порекомендовавшего это властителю в своем меморандуме и присовокупившего, что люди, «желающие учиться, должны брать себе в учителя чиновников».

После Культурной революции стали появляться отдельные книги, но их целью было, по-видимому, как и в сталинской России, поучение китайских выдвиг-

¹⁴ Ольга Ланг, «Пай Чин и его творчество» (Гарвард юниверсити пресс, 1967). Хе Цзин-чжи, автор «классической» маоистской пьесы, написанной в Яньани, «Седая девушка», переписал ее во время Культурной революции и исключил изнасилование девушки, «чтобы не оскорблять чувства крестьянских аудиторий». («Монд», 18 февраля 1972).

женцев из крестьян и рабочих. Для этих выходцев из масс и был снова открыт Пекинский университет. Но на алтарь перманентной революции Мао были принесены не только литературные вкусы китайской интеллигенции, но и ее социальная роль. Во время процесса перевоспитания интеллигентов требовалось, чтобы они были «и красными, и экспертами»; во время Культурной революции их социальная деградация пошла еще дальше. До Культурной революции литературная интеллигенция была небольшой, но значительной группой; после нее она практически перестала существовать. Весьма маловероятно, что она сможет в будущем сыграть сходную с прежней роль. Новая культурная политика, поведшая к некоторому ослаблению оков, надетых Культурной революцией, и случайные публикации немарксистских книг, запрещенных ею (например, «О духе законов» Монтескье, «Общественный договор» Руссо, «История Пелопоннесской войны» Фукидида), не могут возродить уничтоженный слой общества. Также и новая ориентация в области иностранной политики не повела к возрождению западного культурного влияния, хоть в какой-то мере похожего на то, какое было в довоенный период. «Реабилитация» классиков китайской литературы (ранее запрещенных) может восстановить какую-то культурную преемственность, но, конечно, не возродит ни ученых-чиновников, ни находящейся под западным влиянием интеллигенции.

Во время Культурной революции Чу Янга — китайского Жданова — жестоко критиковали в «Хонгки» (№ 4, 1970 г.) за его мнимое «западничество», за его поведение якобы «на манер вассала с рукой, протянутой к западной буржуазии». После Культурной революции политическое направление искусства и литературы все-таки осталось под влиянием жены Мао Цзе-дуна, Чан Чин и ее радикальных союзников из Шанхая. Народный съезд, который состоялся в ян-

варе 1975 года, может быть началом конца «культурных революционеров», но все-таки точно так, как были строгие ограничения «культурной оттепели» после Культурной революции, так и теперь несомненно, что если Мао уйдет, его даже самые «умеренные» наследники все-таки будут продолжать строгий надзор за писателями и требовать, чтобы они «закаляли себя политически».

Менее яркий пример конфликта между литературой и революцией, хотя в международном аспекте и очень интересный, дает Куба Фиделя Кастро. Это — иллюстрация той же схемы, вытекающей из логики конфронтации победивших революционеров с литераторами. Здесь снова, при явном отличии от других случаев подобных отношений, конечный результат — тот же самый.

Когда Кастро пришел к власти, он пользовался поддержкой интеллектуалов среднего класса, ненавидевших режим Батисты. Никакого интеллектуального содержания идеология Фиделя Кастро не имела. Кастро не был интеллектуалом; он называл себя «революционером и человеком действия». Он быстро освободился от тех своих сторонников со времен движения 26 июля, которые были более либеральными и менее революционными, чем он. Но он не был коммунистом. По разным причинам коммунистическое влияние на Кубе было незначительным. Кастро, объявив себя марксистом-ленинцем, признался, что читал «Капитал» только до 270 страницы. Кубинская революция не имела под собой теоретически-идеологической основы, которая была у других революций перед захватом власти. Эта основа появилась только позже, в запутанном виде, чтобы прикрыть революционный порыв идеологическим фиговым листком. Как Че Гевара

писал в своих «Записках к изучению кубинской революции»¹⁵:

«Это — уникальная революция, которая, по мнению некоторых, противоречит самым ортодоксальным предпосылкам революционного движения, выраженным Лениным в словах о том, что без революционной теории вообще не может быть революционного движения... У главных действующих лиц этой революции не было цельных теоретических критериев... Кубинская революция приняла Маркса тогда, когда он покинул науку, чтобы поднять революционную винтовку... Законы марксизма присутствуют в кубинской революции независимо от того, что заявляют или даже знают об этих законах с теоретической точки зрения ее руководители...»

Кастро, подогреваемый революционным пламенем и безразличием к теории, также подчеркнул, что «антимарксистски стараться заключить марксизм в своего рода катехизис»¹⁶. Так он вначале ненужность теории представил как добродетель.

Именно из-за отказа систематически развивать идеологию и окутывать себя доктринерскими путями, из-за мнимой стихийности кубинской революции, из-за ее постоянной воинственности и сравнительно незначительной роли партийных функционеров, Фидель и Че так привлекали интеллигентскую богему шестидесятых годов, вновь воодушевляемую революционной идеей. Барбудосы Кастро понизили доход производителей бритв во всех университетах мира. Романтический призыв Гуантанамеры не совсем сравним с Марсельезой или Интернационалом, но Кастро, продолжая играть ультрарадикального народнического героя, допускал авангардные фильмы и литературу. В

¹⁵ «Верде оливо», 8 октября 1960.

¹⁶ Фидель Кастро, «Избранные речи», Лондон, 1968.

восторг приходили и Левый берег¹⁷, и Гринвич вилладж¹⁸. Росана Россандра, тогда еще член КП Италии, с восторгом писала в «Уните» о терпимости Кастро в вопросах культуры; то же делал Жан-Поль Сартр в «Пари-суар». Куба Кастро стала его следующей Утопией после Советского Союза. И после возвращения из Кубы ему даже не пришлось писать, — как по возвращении в 1954 году из Советского Союза, — что писатели, исключенные из своего Союза, могут добиться «реабилитации», если «напишут лучшие книги». Левые интеллектуалы потянулись в Гаванну из всех стран мира, как сорока-пятьюдесятью годами раньше они тянулись в Москву. Кубинские фильмы стали заменять «Броненосца Потемкина», «Каса де лас Америкас» попала во все левые книжные клубы. Прогрессивные „*bienpensants*“ приглашались к участию в разных литературных и артистических жюри в Гаванне.

И в то же время возможности для литературного авангарда в Гаванне становились все менее и менее обещающими. Сначала на горизонте появились маленькие тучки, вроде создания Национального совета по делам культуры, который мог вмешиваться в художественное творчество. Но в своей речи в июне 1961 года Кастро, полностью противореча Сталину и Мао, заверял интеллектуалов и писателей, что нет оснований для опасений:

«Революция, по самой своей сути, не может быть врагом свободы: если кто-то беспокоится, что революция задушит его творческую свободу, то напрасно, нет никаких оснований для таких опасений... Наличие власти в культурной сфере не означает, что есть основание беспокоиться, что власть эта будет превышена...»

Но тучи сгущались, и по мере того, как это происходило, все больше интеллектуалов начинали «го-

¹⁷ Левый берег Сены в Париже. Район университета.

¹⁸ Район университета и богемы в Нью-Йорке.

лосовать ногами». Многие, включая даже таких сторонников Кастро, как бывший редактор «Революсион» Карлос Франкуи или ее прошлый литературный редактор Гуильермо Кабьерера Инфанта, ушли в изгнание; оставшиеся столкнулись с растущим давлением. Дело Эрберто Падильи, хорошо известного кубинского поэта, стало кульминационным пунктом этого развития.

Когда Падилья получил литературную премию в 1968 году за свою книгу стихов «Фуера дель Хуэго», армейский журнал «Верде оливо» страстно нападал на жюри за это решение и ругал Падилью за все его грехи, включавшие, конечно, отсутствие революционного энтузиазма. Не сказал ли сам Фидель, что «революционером может быть только оптимист»? По словам «Верде оливо», Падилья — один из тех, «чья бесхребетность соответствует только их порнографии и контрреволюции». Это уже не были упреки типа тех, которые были слышны, когда Че Гевара писал в том же «Верде оливо» (в своих «Записках о человеке и социализме на Кубе»): «Зачем должны мы стараться найти один-единственный правильный рецепт для искусства в замерзших формах социалистического реализма?» Усиливающееся давление на кубинских писателей отразилось в дальнейших нападках на Падилью. Журнал молодых коммунистов «Эль кайман барбудо» («Бородатый аллигатор») опубликовал в 1968 году ряд статей, решительно его осуждающих. Одна из этих статей, написанная чиновником в области культуры Лисандро Отеро, была особенно ждановской по тону и стилю. Это не помешало Сьюзен Зонтаг написать статью в «Рампартс» (апрель 1969) «Некоторые мысли о том, как правильно любить кубинскую революцию», в которой она утверждала, что «кубинская революция удивительно свободна от репрессий» и «ни один кубинский писатель не был и не находится в

тюрьме и никто не лишен возможности публиковать свои труды».

Падилья был арестован в марте 1971 года и, проведя в тюрьме немногим больше месяца, сознался во всех выдвинутых против него обвинениях, — в лучшем сталинском стиле. Да, он — контрреволюционер, он — плохой поэт, он — коварный и злой человек. Он снабжал информацией двух агентов ЦРУ, К. С. Карола и Рене Дюмонта (два левых друга Кастро, проживающих в Париже, которые в своих последних книгах о Кубе стали слишком критичны). По-видимому, не только одна поучительная цель была поставлена.

Когда «Монд» опубликовала целую страницу об этом деле, интеллектуалы с Левого берега Сены не могли больше молчать. Сартр, Симона де Бовуар и другие «прогрессивные» писатели адресовали Кастро составленное в резких тонах открытое письмо о деле Падильи («Монд», 9 апреля 1971). 22 мая 1971 года в «Монде» появилось следующее письмо (среди 61 из подписавших были также Сьюзен Зонтаг, Альберто Моравиа, Хорхе Семпрун и Карлос Фуэнтес):

«Прискорбный текст признания, подписанного Эрберто Падильей, мог быть получен только с применением мер, являющихся отрицанием революционной законности и справедливости. Содержание этого признания с его абсурдными обвинениями и бредовыми заявлениями, равно как и с болезненной пародией на самокритику, навязанной Эрберто Падилье... напоминают самые подлые моменты сталинского периода, с его заготовленными приговорами и «охотой за ведьмами».

Падилья, судя по «Пренса латина» (кубинское телеграфное агентство), осудил «предательство» подписавших («Монд», 30-31 мая 1971):

«Вы снова скажете, что я не писал этого письма, что это не мой стиль. Вы скажете это, хотя вы никогда

не интересовались моим стилем, вы — буржуазные либералы, которые всегда считали меня недоразвитым автором и обратили внимание на меня лишь теперь, чтобы нападать на революцию... Что ж, продолжайте служить ЦРУ, империализму, международной реакции. Куба в вас не нуждается».

Сам Кастро уточнил положение, выступая с речью на Первом национальном конгрессе просвещения и культуры, состоявшемся в Гаванне 30 апреля 1971 года. Главный руководитель пренебрежительно отверг протест и его авторов¹⁹:

«За эти годы мы всё лучше знакомились с миром и с людьми, его населяющими. Некоторые из этих людей были описаны здесь ясно и точно. Например те, кто даже старались представить себя поддерживающими кубинскую революцию, среди которых были обманщики и ловкачи».

Кастро осудил «буржуазных либералов» и «псевдолевых», осудил «снобизм западной моды», заявил, что его подход к литературе — политический, подчеркнул необходимость бороться с «культурным колониализмом» и отказал немногим «заблудшим овцам» в праве на инакомыслие. Его ответ «попутчикам» кубинской революции был дан ясно и во всеуслышание: критика не разрешается и занимающиеся ею «лжедрузья» получают отпор. Внутри страны значение «дела Падильи» для кубинских писателей и интеллектуалов было не менее ясным. Все это было сказано в «декларации», принятой конгрессом²⁰:

«Недопустимы и должны быть осуждены все течения, прикрывающиеся идеями свободы, чтобы скрыть контрреволюционный яд их произведений, содержащих заговоры против революционной идеоло-

¹⁹ «Каса де лас Америкас», № 65-66, март-июнь 1971, стр. 25.

²⁰ То же, стр. 16.

гии, на которой основано строительство социализма и коммунизма».

Декларация конгресса перечислила ряд мер, направленных на достижение единообразия в образовании и культуре, включая твердую идеологическую индоктринизацию и более строгий контроль всех средств информации. Недостаточно бдительный редактор еженедельника «Богемия», Энрике де ла Оса, был снят со своего поста, а бывшего редактора ортодоксального «Верде оливо» и одного из самых резких критиков Падила, Люиса Павона, назначили главой Национального совета культуры. Жена Падила, Белькис Куса, отвергла протест левых западных писателей по поводу преследования ее мужа как «наглую провокацию»²¹. Директор «Каса де лас Америкас», Айде Сантамария, нашла нужным отмежеваться от выражения солидарности с защитой интеллектуальной свободы, подчеркнув в открытом письме перуанскому писателю Марио Варгас Льюса свою лояльность по отношению к официальной линии.

Протестующие западные левые писатели были причислены к стану врагов. Закончилась еще одна история «любви» прогрессивной литературы и революции.

(Продолжение следует)

²¹ «Монд» (23 апреля 1971) сообщила, что она восхваляла «дружбу товарищей из органов государственной безопасности, чья нежность ко мне в моем положении вызвала у меня слезы». Хуан Аккоча, близкий друг Падила, писал в «Монд» (29 апреля 1971), что «его признание должно было быть подписано под пытками», что Падила позднее опроверг. См. также «Странное дело Эрберто Падила», «Индекс», лето 1972 года, стр. 65-134.

ЛАБЕДЗ Леопольд — родился в 1920 году в Симбирске. Образование получил в Варшаве, в университетах Парижа, Болоньи и Лондона. Провел три года в СССР, затем служил в Польской армии под британским командованием на Ближнем Востоке, в Египте и Италии. Был аспирантом в Лондонской Школе экономики, старшим научным сотрудником в Русском исследовательском институте при Колумбийском университете. Лабедз выступал с лекциями в Англии, США, Италии, Франции, Пакистане, Японии и Австралии.

Среди его работ такие, как «Ревизионизм» (1961), «Литература и революция» (1963), «Международный коммунизм и Хрущев» (1965), «Процесс и дело Синявского и Даниэля» (1967), «Солженицын: документы» (два издания). Книги его издавались на многих языках. Лабедз — автор статей в газетах «Таймс», «Гардиан», «Дейли телеграф» и в различных журналах.

Лабедз — редактор «Сёрвея», журнала для студентов восточных и западных стран (издается в «Оксфорд юниверсити пресс», Лондон). Он является профессором Стэнфордского университета, членом редакционного совета журнала «Энкаунтер».

«ИЗ ГЛУБИНЫ»

Кирилл Померанцев

ГЕОРГИЙ ИВАНОВ

Георгий Владимирович Иванов родился в 1894 г. в фамильном имении в Ковенской губернии, провел раннее детство в обстановке богатого помещичьего быта. В Петербурге окончил II кадетский корпус, но военная карьера его не занимала. Еще в корпусе он увлекался живописью, литературой, серьезно изучал историю искусства. Стихи начал писать еще кадетом, печатал их в различных петербургских журналах. Юношей интересовался эгофутуризмом, посещал различные кружки и собрания у Игоря Северянина и других.

В 1912 г. вышла его первая книга стихов «Отплытие на остров Цитеру». За ней последовали: «Лампада», «Памятник славы», «Вереск». Появление молодого поэта на петербургской литературной ниве благосклонно отметили Брюсов и Гумилев. Он стал

членом основанного последним «Цеха поэтов», начал сотрудничать в журналах «Аполлон» и «Современник», где помещал стихи и критические статьи.

Женившись в 1921 г. на И. В. Одоевцевой, Георгий Иванов в том же году вместе с нею выехал за границу, где обосновался в Париже. Здесь в 1937 г. вышел сборник его избранных стихотворений, под тем же названием, что и первый — «Отплытие на остров Цитеру». В 1950 г. опубликована книга «Портрет без сходства», в 1958 г. (в год его смерти) «Стихи 1943-1958» с предисловием Романа Гуля. В 1938 г. вышла его проза, своеобразный литературный манифест, «Распад атома», восторженно встреченная Зинаидой Гиппиус. Как и в Петербурге, за границей он сотрудничал в толстых эмигрантских журналах, где, кроме стихов, помещал

острые, всегда бывшие в цель критические статьи.

Уже в своем первом сборнике Георгий Иванов обнаружил тончайший вкус, недюжинное мастерство, меткий, иногда безжалостный ум. Но по-настоящему он раскрыл себя в двух последних книгах и по праву стал поэтом эмигрантской трагедии, со всем, что есть в ней высокого и страшного, светлого и темного. И в этом

плане, Георгий Иванов стал поэтом Великого Русского Распутья, на котором стоит Россия вот уже скоро шестьдесят лет.

Печатающиеся ниже стихи написаны после 1950 г. и не вошли ни в один из его сборников. Не было их и в «Новом Журнале», где после кончины поэта печатались не опубликованные им при жизни стихи.

**
*

Судьба одних была страшна,
Судьба других была блестяща.
И осеняла всех одна
России сказочная чаща.

Но император сходит с трона,
Простивши всех, со всем простясь —
И меркнет русская корона,
В февральскую скатившись грязь.

Двухсотмилльонная Россия —
Рай пролетарского труда...

Благоухает борода
У патриарха Алексия,

Погоны светятся, как встарь,
На каждом красном командире,
И на кремлевском троне царь
В коммунистическом мундире.

Протест, сегодня бесполезный,
Успехов завтрашних залог.
Стучите в занавес железный,
Кричите — «Да воскреснет Бог!»

* *
*

И тридцать лет спустя мы спорим —
Кто виноват и почему?
Так, в страшный час над Черным морем
Россия рухнула во тьму.

Гостинодворцы, царедворцы,
Во всю спасались рысь и прыть.
Безмолвствовали чудотворцы,
Не в силах чуда сотворить.

И наступил героев нищих
Голгофский путь и торжество —
Непримиримость все простивших,
Не позабывших ничего.

* *
*

Россия тридцать лет живет в тюрьме —
На Соловках или на Колыме.
И лишь на Колыме и в Соловках
Россия та, что будет жить в веках...

* *
*

Несколько поэтов, Достоевский...
Несколько царей, орел двуглавый...
И державная дорога — Невский!

Что мне делать с этой бывшей славой?

Бывшей, падшей, изменившей, сгнившей —
Широка на Соловки дорога...

Но царю и Богу изменивший
Не достоин ни царя, ни Бога.

БУНИН*

На своей книге «Воспоминания» Иван Алексеевич Бунин сделал мне в 1950 году такую надпись: «Дорогая Зинаида Алексеевна, когда Ваше Сиятельство будете писать свои Воспоминания, не браните меня так, как я тут бранюсь». Но, конечно, и без такой надписи мне бы в голову не пришло бранить Ивана Алексеевича — и не только потому, что я многому научилась читая его книги, не только потому, что нечастые встречи мои с ним были мне дороги, но и просто из благодарности. Ко мне и мужу моему Иван Алексеевич высказывал неизменно-сердечное расположение, особенно ценное именно потому, что не так уж легко он сближался с людьми. Человек Бунин был сложный и в какой-то мере трудный, но, конечно, по калибру своему он совсем не нуждается в слащавых «агиографических» воспоминаниях о нем. Любил он уважение, но не терпел лести и остался в моей памяти умным, талантливым, беспредельной честности писателем, работавшим, несомненно, безо всякой оглядки на читателя, хотя славу и почет ценил очень, а в деньгах нуждался почти всю жизнь.

Первая встреча наша произошла не то в 1934, не то в 1935 году. Жили мы тогда в Брюсселе. Русская колония, памятуя нашу, и особенно моего мужа, евразийскую молодость и не считаясь с тем, что в 1932 году мой муж ушел из совета Евразийства (он преду-

* Глава из подготавливаемой к печати книги «Отраженья».

предил П. Н. Савицкого, что, по его сведениям, Н. Клеппина-Сеземан, Н. Клеппинин, члены совета Е. А., так же, как А. Перфильев и В. Яновский, находятся на агентурной службе СССР), — относилась к нам враждебно. Был в Брюсселе «Русский Клуб», выражавший настроения большинства русской колонии, и члены его предавались вполне безобидным развлечениям тогдашней эмиграции — играли в карты, устраивали балы, попивали водочку под отечественные закуски и патриотические тосты. Членами Клуба мы, конечно, не числились, работы у нас было много, да и захоти мы, нас бы наверное забаллотировали. Я начинала писать на французском языке в бельгийских газетах и журналах, и когда Бунин получил Нобелевскую премию, дала о нем статью в „Indépendance Belge“.

И вот, совершенно неожиданно, приходит нам письмо от правления Клуба: не угодно ли нам присутствовать на банкете в честь русского нобелевского лауреата? Удивлению нашему не было границ. Но мне так хотелось видеть Бунина, что я уговорила мужа не отказываться.

На банкете новая неожиданность: посадили меня, несмотря на мою молодость, рядом с Иваном Алексеевичем. Позднее узнала от одного из участников банкета о причине нашего приглашения. Устроители никогда Бунина не читали, не знали его книг (хотя по возрасту своему могли бы прочесть кое-что еще в России) и боясь, что вдруг писатель заговорит о своих произведениях, озаботились приглашением лиц, знающих творчество маститого гостя.

Опасения были напрасны, Бунин, который все прекрасно понимал, о литературе в Русском Клубе говорить не собирался.

Не могу сказать, чтобы мой знаменитый сосед мне очень понравился. В таких случаях Бунин особой ласковостью не отличался. Хотя, как я сказала, че-

ствования любил, но считал, что всюду надо соблюдать достоинство, и выражал он это мастерским невниманием к присутствующим, по-актерски высокомерничая, с прекрасно дозированными мгновениями «шармантности». Все же какие-то отношения установились и Иван Алексеевич начал присылать мне свои книги с надписями и для отзыва, а иногда и письма, всегда по поводу его дел. Одно из них, второе приводимое, без даты (предполагаю, что это было в 1935 году), относится к такому инциденту: Бунин возвращался, вероятно, из Прибалтики, и вот на германской границе гитлеровские таможенники подвергли лауреата унизительному осмотру, раздели его догола. Иван Алексеевич был в самом неистовом негодовании, на которое был способен. А заметку о «злодеянии» я поместила сразу же в „Soir“.

Случайно найденное письмо от Михайлова напомнило мне, что зимой 1935 года, по просьбе Михаила Туровца, который устраивал приезд в Брюссель Бунина, я смогла познакомить И. А. с бельгийскими писателями. От лекции на французском языке И. А., по моему совету, отказался, сказал лишь несколько слов (не без сильного русского акцента) о встрече своей с Толстым. Михайлов настаивал на «трапезе», он и сам любил поестъ и попить, — но ни бельгийский Пен-Клуб, ни «Мэзон д'Ар» на это уговорить не удалось. Знакомые Бунина на прием, конечно, были приглашены. Состоялось собрание в помещении Пен'а, обильном зеркалами и позолотой, в стиле 90-х годов. Слово И. А. я тоже перевела; к несчастью, оно у меня не сохранилось.

Я и посейчас удивлена тем, что в 1925-26 годах, живя в Париже, я с Буниным не встречалась: вероятно, его там не было. Но после той первой встречи в Брюсселе каждый раз, что я приезжала в Париж, я Бунина частенько видала. Иногда он приходил ко мне в Пен-Клуб, где я останавливалась (на рю Пьер

Шаррон 66. Там было несколько комнат для приезжих членов), потом мы выходили — в кафе, бары, рестораны. Не обладая поразительной памятью многих мемуаристов, я не могу восстановить в точности все наши встречи, но все же кое-что было записано, кое-что и запомнено.

Каким умным, талантливым собеседником был Бунин, и как убеждалась я, слушая его, что никакое образование не может заменить ум, безо всякой ученой подготовки способный к восприятию всего, что существует в мире. Как быстро, как точно понимал И. А. то, что он видел, то, что слышал, да и всю таинственность человеческой природы. Регистр его был широк — и академизм прекрасно уживался в нем с самой простонародной зоркостью, как и высокий стиль — с крепким черноземным словом.

Все в тех же 30-х годах приехала я как-то из Брюсселя; И. А. встретил меня на вокзале. Комната мне была задержана в гостинице Руаяль (уже не существующей), на бульваре Распай. Мы сели в такси, и по дороге Иван Алексеевич, с обычной своей остротой, принялся рассказывать все, что произошло в русском литературном Париже, выражаясь крепко, по-русски, о своих и моих собратях. Жаль, не было тогда еще кассет, чтобы сохранить неповторимую (и нецензурную) речь академика. А когда мы выходили из такси, то, обернувшись к нам с веселым лицом, шофер сказал: «Приятно было покатать гордость нашей эмиграции. Я прямо заслушался — ох, и хорошо же вы знаете русский язык!» — и отказался взять на чай.

В те же годы он пригласил меня обедать к Прюнье на ав. Виктор Гюго. Как всегда в непривычной для него обстановке, да и вообще на людях, входя, принял несколько подчеркнуто барский вид. Комплексов у него было много, а уверенности в себе, кроме как в писателе, не много.

Проведший детство и юность в захолустном мелкопоместном быту, молодость и зрелость — среди интеллигенции, все же разночинной, Скитальца и Горького, И. А. сохранил ностальгию по дворянскому миру, к которому он принадлежал по своему роду и от которого был оторван. Б. К. Зайцев, в одной из своих статей, удивлялся, что дворянство уживалось в Бунине с простонародьем, но это не удивительно: помещикам «мужицкое» ближе «интеллигентского». Барство и род уважал он и в себе и в других, как что-то имеющее некую и нравственную ценность. Стоит прочесть его воспоминания, где, например, на стр. 159 пишет он о Семеновых и Буниных, или о встрече его с принцем Ольденбургским, да и страницы из «Жизни Арсеньева», чтобы убедиться в этой ностальгии. В. П. Семенов-Тянь-Шанский рассказал Бунину о Достоевском: «Лучше многих из них (из литераторов того времени) он знал русский народ, деревню... что, кстати сказать, не мешало ему чувствовать себя дворянином, каковым он и был в самом деле, а кое в чем проявлять даже излишние барские замашки». То же самое относится к Бунину, и вот эти излишние «барские замашки» он зачастую себе позволял, предполагая почему-то, что надменность или капризность — одна из них.

В ресторане, не успели подать ему первое блюдо, И. А., брезгливо поморщившись, потребовал, чтобы его заменили. Я не впервые присутствовала на такой комедии и сразу ему сказала: «Будете капризничать, я уйду, придется вам обедать в одиночестве, вы ведь это просто так!». И тут, совсем не рассердившись, Бунин заметил: «Ишь, какая строгая, нобелевского лауреата ругаете» — и сразу, развеселившись, принялся за еду.

Дальше было хуже, я позволила себе напасть на обожяемого им «самого Толстого».

— Гениальный писатель, когда он не думает, гениальный, конечно, но, боюсь, не очень умный человек, — сказала я. Отодвинув тарелку, Бунин сурово взглянул на меня:

— На кого лапу изволите поднимать, на самого великого писателя. Н-да! Ну, а что дальше скажете по его поводу?

— Как только перестает он писать то, что видит и чувствует, и начинает философствовать, куда только девается его художественное чутье. Вот вы гораздо умнее его.

Бунин махнул рукой: «Тоже скажете», а потом, с любопытством: — «в чем это вы изволили заметить?»

— Да вот хотя бы в том, что вы за учителя жизни себя не выставляете.

— Да, это правда, учить я никого не хочу. А еще что?

— А еще вот, что вы всякую свою мысль подчиняете всегда художественному чутью. Вот, скажем, если бы вы были против церковных обрядов, не верили бы в церковные таинства, то вы все же никогда бы не написали тех кощунственных слов, которые написал ваш Толстой и которые более присущи какому-нибудь Демьяну Бедному, чем великому писателю.

— Не написал бы, — твердо сказал Бунин.

Если перед Толстым, как писателем, Бунин преклонялся, то просто как личность, а не только как писателя, Бунин любил, пожалуй, одного Чехова. Чехов, по его рассказам, принимал, вероятно, настоящий свой облик — не тоскующего интеллигента, а деловитого, веселого и, главное, очень доброго человека.

Смолоду бранили меня все поклонники Чехова за то, что я не любила его театра, но вот, неожиданно, нашла я поддержку у Ивана Алексеевича.

— А почему не нравится? — спросил Бунин.

— Да просто потому, что, по ранним детским воспоминаниям о помещичьей жизни, не верю я в суще-

ствование Раневской, с пафосом декламирующей свою любовь к старому шкапу.

— Так, так! И еще: какой же купец будет рубить с такой поспешностью вишневый сад, да еще в цвету? Небось сперва соберет урожай и продаст его, — заметил Бунин, — а какой рассказ вы больше всего любите?

— «Степь».

— Умница! И «Архиерей», и «Палата № 6», и «Черный монах». Все это замечательно.

Репутацию свою Дон Жуана Бунин всячески поддерживал, и нет сомнения, что женщин он любил со всей страстностью своей натуры (но Дон Жуан женщин-то не любил). Мне почему-то в донжуанство его не верилось, и легкое его «притрепыwanie», типично русское, принималось мною за некую игру, дань вежливости. Все это было скромно, несколько провинциально и даже юношески — так молодость пробует свои силы, а старость хочет показать, что в ней задержалась юность. Думаю, что всерьез принимали ухаживания Ивана Алексеевича только милые, доверчивые и не очень искушенные русские молодые женщины, к тому же польщенные вниманием знаменитости (иностранных увлечений у него, как будто, не было). У нас установились самые простые, очень добрые отношения. Бунин со мною, по-видимому, не скучал, а я не могла скучать, слушая его. И поэтому, когда однажды мы сидели в баре Мариньян, неподалеку от Елисейских Полей, и Бунин, только что говоривший о чем-то совсем постороннем, вдруг ошарашил меня: «А вы были когда-нибудь в Венеции? Нет? Ну вот, поехали бы со мною туда, увидали бы, как там прелестно — лагуны, гондолы...». Я от неожиданности рассмеялась: «Ну что вы, что вы! Может, там и прелестно, я пока там еще не была, но уж если ехать в романтическое путешествие, то надо быть влюбленным — а для этого годится скорее не так

нобелевский лауреат, как молодой человек». Это, конечно, было очень неучтиво с моей стороны, и любой мужчина средних лет на меня бы навсегда обиделся, но Бунин, лишь притворно нахмурившись и так же притворно вздохнув, веско заметил: «Зато я знаменитый писатель, а вы вот как изволите со мной обращаться» — и сразу перешел на другую тему. Предполагаю, что про себя почувствовал облегчение: и репутация была поддержана, и никаких осложнений не последовало.

Эпизод этот нисколько не повлиял на наши отношения, разве что еще улучшил их.

Говорили мы в тот вечер, как часто случалось, о русских парижских писателях. Как и другим писателям его поколения, Бунину не нравился ни один из «молодых». И правда, племя молодое не собиралось стать учениками, продолжателями или подражателями никого из писателей старшего поколения, что им казалось обидным.

— А Сирин? — спросила я.

— Этот-то? Чудовище! Но настоящий писатель, — сразу отозвался Бунин. Я написала об этом отзыве Сирину, и когда на юге он встретился с Буниным, Сирин сообщил мне, что он «Лексеевичу нобелевскому» припомнил это «чудовище».

Помню прогулку по Елисейским Полям. Шли какие-то очередные выборы. Над зданием «Фигаро» мелькали световые результаты голосования, били фонтаны по светящимся голубкам Лалика. На тротуарах густая толпа. Перед нами парочка. Чужая молодость угнетала И. А. С ненавистью глядя на молодого, атлетического типа человека, обнимавшего свою девушку, Бунин проворчал:

— Вот ведь сукин сын, бедрами так и вертит, что с девушкой-то выделять будет ночью.

— Право, Иван Алексеевич, что вам ему завидовать, у вас перед ним такое преимущество — талант.

Ну, согласились бы вы вернуть себе молодость, перестав быть писателем?

— Это уже глупо, — сказал И. А. с возмущением. — Я не могу отказаться от себя самого.

Мы пошли дальше, в Елисейские Сады, где играл мальчиком Пруст. Над деревьями всходила луна и, не смешиваясь с отблесками фонарей, белила небо. Бунин остановился.

— Да, вот и луна. Молодые писатели все говорят — о чем писать? Обо всем, мол, уже давно написано. Не знают, дурачье, что вот о луне ничего еще никогда не было написано.

И задумчивое, чуть грустное лицо моего спутника отразило самое детское восхищение луной, о которой он сам писал немало. — И о любви, и о смерти никогда ничего еще не было написано, — прибавил он с твердой уверенностью.

Меня как-то трогало и поражало, что такой умный человек, как Бунин, был чрезвычайно уязвим и страдал от давних, и все еще не изжитых, комплексов. Самый молодой русский академик, первый русский писатель, получивший Нобелевскую премию, гордость эмиграции — до признанья внутри СССР он не дожил — даже отдаленное прошлое Бунин тяжело переживал. И. А. не принадлежал к людям, у которых душа нараспашку, и вряд ли был человек, которому он до конца раскрылся. По его собственному, данному и мне, завету, «надо всегда перед собою свечу держать», конечно, он и мне не исповедывался. Но говорил со мною прямо и откровенно. А так как я была к нему внимательна, то кое-что, вероятно, все же поняла и из недосказанного.

Кроме своего отщепенства от «подобающей» ему среды, Бунин также тяжело переживал, несмотря на всю свою славу, что был самоучкой, что не окончил

гимназии, что не имел университетского образования... Самой же главной, и неизлечимой, раной, нанесенной ему судьбою, историей, революцией, было изгнание. Типично русский человек в своем неистовстве, вне России — несмотря на все свои скитанья, вольные и невольные, — себя не мыслящий, писавший для русского народа, Бунин был оторван и от России, и от читателей, для которых писал. Он ненавидел коммунизм за его хамскую тупоголовость, за разрушение прошлого, без которого нет и будущего, за погашение духа и творчества, за убийство России, потому что без преимущества нет и культуры — а цепь культуры была прервана насилием и, может быть, навсегда...

Беспокойный был человек Иван Алексеевич и о смерти думал много и тяжело. В 1941 году записывал в дневнике: «Лежал в страхе, что могу умереть». Он хотел бы жить в сиянии пантеистической вселенной, в ярких видениях дня, в преизбытке чувств, но вот эта пресловутая «русская душа» — за границей довольно нам надоевшая из-за бездарного ее использования бездарными иностранными, да и русскими, писателями и журналистами — не давала ему покоя. Слишком он был одаренным человеком, чтобы быть «веселым безбожником» (Сирин). Было у него и проныковничество, и озарение другого мира, как свидетельствуют многие его страницы, но, вероятно, Бунин боялся покинуть земное для духовного, отказаться от чувственной радости, питавшей его искусство.

Много раз говорилось и писалось, что Достоевского Бунин не любил. Но я никогда не слыхала его ругающим Достоевского. Морщился, но не бранился. Сама я, хоть и сознавая, что персонажи Достоевского — больше души человеческие, чем люди, перебарывала в себе их русские одеянья, их иступленность, истеричность поступков и речи, оголение нутра перед другими почти садистское, стараясь завоевать для себя некую трезвенность ума, дисциплину эмоций, короче

говоря, признавая, что следует иметь горячее сердце, но холодный ум.

— Вы заметили, Иван Алексеевич, что все герои Достоевского — праздные люди? — спросила как-то я.

Ни праздность, ни неистовство их Бунина не волновали. Он ведь и сам впадал в неистовство — пример тому «Окаянные дни». Но Достоевский ставил вопросы, которые не то что были чужды Бунину, но как-то его пугали. Да и писательский «почерк» Достоевского, в понятии Бунина — небрежный, не мог нравиться мастеру художественной прозы. И еще: Бунин, как и Толстой, был человеком деревни, природы — талого снега, антоновских яблок, запахов вспаханной земли. А Достоевский — человек города, камня, тусклых фонарей, трущоб. Все же Вера Николаевна мне говорила, что за два года до смерти И. А. снова читал Достоевского.

Война 1939 года оторвала меня от литературы. Я никогда не чувствовала права писателей на «башню из слоновой кости» или на плот искусства, спасающий их во время всеобщего потопа. Мне казалось, и кажется, что в событиях следует быть не только свидетелем, но и участником. А события были тогда немалые. Подготавливая мою «переброску» в Англию, где муж находился после Дюнкерка, и работая в одной из групп Резистанса, я из Парижа перебралась в феврале 41-го года в Экс-ан-Прованс. До Грассе было рукой подать, но я не поехала — были другие занятия.

О разных периодах жизни Буниных на юге Франции я смогла составить себе представление уже позже — по рассказам людей, там бывавших, по некоторым замечаниям Веры Николаевны и Зурова, по благородному по своей скромности грасскому дневнику Галины Кузнецовой, с которой я, к сожалению, ни разу не встретилась; да еще по отрывкам из дневника И. А., печатавшимся в «Новом Журнале» Мили-

цей Грин, душеприказчицей Зурова (хотя писательские дневники чаще всего о многом умалчивают).

По всем этим свидетельствам видно, что не рай был в Грассе, а некий замкнутый и драматический мирок. Роль грасских событий не была изжита Буниным, Верой Николаевной и Зуровым еще и тогда, когда муж и я, в 1948 году, встретились с ними снова в Париже. Об этом грасском периоде не принято сейчас писать. Но время идет и настанет день, когда из тех, кто знал Бунина, в живых никого не останется — а этот период все же сильно отразился на всех трех обитателях ул. Оффенбах.

Так, издали кажется чем-то противоестественным — это вне личных взаимоотношений тех, кто жили на вилле Жанет — существование некоего писательского общежития. Профессиональные союзы и организации для защиты писательских прав — дело другое: мы одного цеха, хоть и разных пород. Но писательские коммуны — уже нечто вроде гетто. А в Грассе по крайней мере три писателя, под взглядами мемуаристов — среди которых первая Вера Николаевна — были связаны не только личной жизнью, но и профессиональной. Если принять во внимание, что все писатели, от гения до графомана, все же люди особенные — сам позыв к писанию вещь необъяснимая и ненормальная — то их близкое сосуществование уже представляет тяжесть и трудность, неизвестные, скажем, в летних лагерях отпускников, думающих только о солнце и купании.

А тут еще прибавилась и тяжесть личных отношений. Всем было трудно в Грассе, но последствия особенно драматически отразились на Леониде Зурове. После первого удовлетворения — обрести наконец ученика, писателя, хотящего идти по его стопам, у Бунина отношение к Зурову переменилось. Во-первых, уже по виду здоровая молодость Зурова его раздражала, во-вторых — уж очень они были разные

люди. А Зуров, тщательно и трудно писавший (это стоило ему невероятного напряжения), мучился не только своей писательской проблемой, но и своим положением — уже не любимого ученика и приемного сына, а подсознательного орудия реванша Веры Николаевны, в некоторых случаях проявлявшей исключительное упорство. Уйти же было некуда, и Зуров, у которого были и другие причины душевного неравновесия, не выдержал — и последствия травмы были и для него, и для Веры Николаевны драматичны до конца их жизни. Все четыре участника грасского периода были люди хорошие и поэтому-то мучились, каждый по-своему.

Как будто с 39 года по 1948 прошло не так уж много времени — нам оно показалось молниеносным из-за множества событий, — но совсем новое чувство овладело нами, когда мы снова вошли в квартиру на ул. Оффенбах. Чувство это было — жалость, и не только потому, что из углов глядела бедность: маленький, хилый старичок стоял перед нами, и я почувствовала, что ему стыдно за свою немощь. Он сразу подтянулся, впрочем, когда нас увидел, и едва сел в кресло, как из тщедушного тела поднялся так хорошо нам знакомый, крепкий голос прежнего Бунина, чудесная русская речь, лицо прояснилось старым обаяньем. Он рассказал нам о своем посещении советского посла (кто тогда не надеялся, что победа принесет и перемену в России?), но категорически заявил, что в СССР он не вернется: «Там мне делать нечего». А для него выбор между бедностью и смертью на чужбине — и обеспеченностью, славой на родине должен был быть тяжел. Все та же оставалась в ослабевшем теле непоколебимость совести.

Не только бедность и старение И. А. вызывали жалость. В нем в ту пору остро чувствовался непреодолимый страх смерти — и если был на свете человек, томящийся о бессмертии, то это был Бунин. Все есте-

ство его противилось тлену и исчезновению. С такой же яростью, с которой он ощущал жизнь, земные радости и цветенье, предчувствовал и понимал он тленье. Не было в Бунине мудрости и пресыщенности Соломона, но жила в нем память о конце всего существующего, память Экклезиаста.

Вера Николаевна тоже постарела, но оставалась все такой же «ясной». Хорошей домоправительницей она никогда не была, да и авторитетным характером не отличалась, хотя было в ней упорство. Изменился и Зуров. Несмотря на обычное для него видимое спокойствие и медлительность, глаза его были странно встревожены. И, как будто чувствуя теперь ответственность, данную ей Богом, за две близкие ей и теперь всецело зависящие от нее души, Вера Николаевна особенно приободрилась.

Бедность Буниных была удивительна. При умении и малой доли практичности, денег Нобелевской премии должно было хватить им до конца. Но во времена «жирных коров» Бунины не купили ни квартиры, ни виллы, а советники по денежным делам, видимо, позаботились больше о себе, чем о них. Все письма Бунина в эту эпоху вопят о бедности, о нужде, хищности издателей, нерадивых адвокатов. Впрочем, уже в 1936 году запись в дневнике Бунина от 10/5 такова:

«Да, что я наделал за эти два года... Агенты, которые вечно будут получать с меня проценты, отдача Собрания сочинений бесплатно — был вполне сумасшедший. С денег ни копейки доходу... И впереди старость. Выход в тираж».

В те годы, когда не уплыли еще необъяснимым способом деньги Нобелевской премии, Бунин имел репутацию скуповатого человека — я сказала бы скорее, что у него были попытки к бережливости, все из того же страха оказаться снова нищим. Все же немалую сумму отдал он собратьям, а тут налетела туча

новых почитателей, появились опекуны. В денежных делах Бунины были беззащитны, а опекуны — легкомысленны или вероломны. Как-то, вопреки своей воле, И. А. в ту пору, в 30-х годах, деньги все-таки тратил: одной из молодых писательниц вставил зубы, другой купил платье, еще кого-то чем-то одарил за то, что поплясали перед ним — и дом Буниных остался пустодомом. Так внезапно после эмигрантской нищеты разбогатевший, Бунин из круга эмиграции не вышел, новых связей не завязал и на Западе читателей не обрел.

Книги Бунина на иностранных языках продавались плохо. Это участь многих лауреатов. Сама тематика Бунина, его художественная, но не соответственная новым веяниям, проза в чужом мире оказались не прибыльными. Издатели же — не филантропы, они поддерживают книги (и писателя) только тогда, когда с самого начала видят, что те могут стать бестселлерами.

В 1949 году вышел мой первый роман по-французски «Европа и Валериус», который получил премию Парижа и благоприятные отзывы критиков. По этому случаю я возобновила заброшенные связи с французскими литераторами и, кажется, это вечная попечительница русских зарубежных писателей, Софья Прегель, надоумила меня обратиться во французский Пен-Клуб и через его посредство собрать немного денег для Буниных.

Председателем в то время был, после Жюлья Ромэна, насколько мне помнится, Жан Шлюмберже, уже старый человек, а генеральным секретарем все тот же милейший и отзывчивый Анри Мембре. Если к русским судьбам и их превратностям я привыкла (мы сами с мужем уже хорошо знали русские горки — «или на коне, или под конем»), то Анри Мембре русское чудо — бедность писателя, получившего Нобелевскую премию, — так изумило, что он мне с трудом

поверил. Поверив, принялся за сбор. Надо сказать, что многие писатели откликнулись на призыв, в том числе и Мориак. Собрано, кажется, было около 30 000 старых франков, сумма тогда немалая. Сам Мембре понес ее Буниным.

Потом рассказывал: «Знаете, я даже растерялся. Обстановка самая убогая. Но у Буниных сидела толпа людей, кто на чем мог, и все что-то пили и закусывали. Я подумал — ведь на такое количество людей денег этих хватит не надолго, а второй раз собирать нельзя».

И правда — это была капля в океане нужды.

Но и в старости, в болезни, в нужде Иван Алексеевич писал все с той же строгостью к себе, с такой же тщательностью. Совсем несправедливо было принято — не говорить о Бунине как о поэте. У него есть прекрасные стихи, нисколько не уступающие по своей художественности и талантливости его прозе. Явно к Парижской «школе» он не принадлежал, и все же был, хоть и старшим, но ее современником — так, между новым поколением поэтов и Буниным не было того промежутка времени, который делал им близким, скажем, Тютчева или Фета. Бунин свое неприятие как поэта переживал болезненно. Знаю это хотя бы по тому, с какой радостью и благодарностью он на меня смотрел, когда я что-либо цитировала из одного или другого его стихотворения: «И тихо, как вода в сосуде, стояла жизнь ее во сне», или «Но миг один — и в темноту, в забвенье Уже текут алмазы крупных слез И медленно их тихое паденье». Торжественность и простота, не только настроение — которое главным образом и отмечали в своих стихах молодые поэты — но и мысль, и природа, уже почти забытая многими пленниками каменных городов.

Из уцелевших моих записей этих лет нашла две.

Бунин о Жиде: «Вот переписываются два Нобелевских лауреата. Весь мир ждет-не дождется, когда

все это будет опубликовано. А письма вот о чем. Жид мне: «От астмы дали мне очень хорошее средство, удушье по ночам почти исчезло». А Бунин ему: «От кашля очень помогают сюпозитуары из эвкалипта, что же касается геморроев, то их надо лечить так...» Вот тебе и слава!

Другая запись от 27 апреля 1950 года.

«Бунина стрижет парикмахерша. Он сидит перед зеркалом: «Как же это так, мне неудобно, что перед вами. Вот и говорить не могу, такая астма». Вера Николаевна совсем измученная и с глушинкой. И. А. ее тербит: «Где моя пипка? Где мой платок?» Сердится: «Ах, ты всегда глупость скажешь, не говори глупостей». Приходит Зуров. И. А. сразу как-то угасает, сдерживается, чтобы не раздражаться. Зуров что-то бубнит спокойным тоном. Вера Николаевна говорит: «Ян мне такое диктует, такие вещи про Маяковского, Есенина, Горького, что они ему с того света мстить будут». И. А.: «Не могу переносить всех этих, которые то с Георгием Победоносцем или как Брюсов... А потом в другую сторону спинку гнут. Есенин, у него даже особая черта была — ухаживая, приглашал 'посмотреть' как пытаются в Чека».

Я:

— Да ведь не выдержал же. Сам себя наказал.

— А что вы обо мне пишете?

Я писала статью к его 80-летию. Я что-то говорю о классиках и романтиках, о художественном реализме.

Бунин:

— Так, так. Только чтобы не спутали с академичностью, классику-то!

Я:

— А внешностью, я пишу, вы похожи на Вольтера.

Бунин, недовольно:

— На Суворова. А в молодости, поверьте мне, я был широкоплеч.

Я:

— Да, правда, у вас что-то общее с Суворовым, а глаза острые, злые.

Бунин:

— Ну вот, злые. Чем же я виноват, что кругом себя свиней вижу.

Я:

— Это как у Гоголя, свиные рыла, только это же искушение и наваждение.

Было за что Бунину на меня сердиться — а почему-то не сердился. Ведь, случалось, и за меньшее выходил из себя. Вероятно, прекрасно понимал, что откровенность моя была основана на большом уважении к нему и на сердечной привязанности, в которой, согласно моему характеру, отсутствовал «культ личности». И к мужу моему относился он также дружелюбно.

Впрочем, Иван Алексеевич был порядком недоволен мною за то, что я не восхищалась «Темными аллеями», появившимися в 1946 г. когда муж служил в бельгийском посольстве, а я журналисткой летала по «темным аллеям» послевоенных лет; поэтому он сделал мне на этой книге две объяснительных надписи:

*«Декамерон» написан
был во время
Тулы. Мелкий Ан-
дран» в годы Гит-
лера и Сталина —
когда они старались
полюбить одних других
Ив. Бунин*

*Эту книгу (самую луч-
шую из всех моих
прозис) я передал
тебе для Вас, Зинаида
Александровна, во имя
моего сердца!*

Ив. Бунин

И далее:

Впрочем, извините: я украл эту надпись, — это Горький так написал одну из своих книг актрисе Книппер-Чеховой!

29. 3. 1950 Париж

Трудно точно сказать, что мне не понравилось в «Темных аллеях». Порнографии нет в ней и помина, у Бунина эротика всегда трагическая. Смерть — и в «Легком дыхании», одном из лучших бунинских рассказов, и в «Солнечном Ударе», и в «Деле корнета Елагина». Любовь страшна, импульс страсти — импульс самоуничтожения. Как и все большие русские писатели, Бунин был целомудрен, о половых извращениях как-то даже как будто и не подозревал. Не было в нем ни сладострастного сюсюканья плохих писателей, ни праздной веселости французских галантных авторов, ни полнокровной жизнерадостности Рабле, ни извращенности современников.

Но вот в «Аллеях» все же привкус натурализма, какой-то, что ли, провинциальности. Да к тому же, русский язык таков, что в делах любви больше ему подходят намеки, многоточия, умолчания.

Что-то выговаривала я ему и по поводу «воспоминаний».

— Повезло вам, И. А., что они ответить не могут.

И на это тоже ответил он надписью, приведенной в начале этих воспоминаний.

Перед нашим отъездом в Марокко, в конце 50-го года, мы несколько месяцев жили в Пасси, совсем уже в близком соседстве с Буниными, и видались часто. Бунин полеживал у себя в спальне, к нам выходил шаркающими, плохо отрывающимися от пола ногами, с тубетейкой на голове, и старательно молодецкатым голосом спрашивал: «Небось противно на меня смотреть?» — и тонкое, породистое его лицо оживлялось и молодело.

Народу у Буниных бывало много. Напротив жили его друзья, Нилусы, вдова и дочь художника. Приходили бывшие молодые писатели, любимица его Олечка. Приходили и люди, стоящие далеко от литературы. Вера Николаевна хлопотала, ей помогали, откупоривались бутылки с вином, появлялись печенья, иногда и бутерброды, собирались какие-то остатки пищи, и все разговаривали о том и о сем. И. А., устав, удалялся в спальню, но гости не уходили. Вера Николаевна вытаскивала очередной подписной лист — на помощь кому-нибудь, на издание книги, на продолжение учения, а то и просто на оплату кому-то квартир. Явное неблагополучие было во всей этой кутерьме, и денежное положение всегда катастрофично, но ни личные, ни денежные трудности не могли погасить сияние доброго лица Веры Николаевны. Забота об Иване Алексеевиче, забота о Зурове, забота попутная о десятках других лиц была ее уделом, и сознание своей необходимости удваивало ее силы.

Как часто встречается, к самому близкому существу и Иван Алексеевич, и Зуров чувствовали более всего раздражения. Иногда мне казалось, что если бы — не только в конце 40-х годов, но и раньше — Вера Николаевна в припадке настоящего или мнимого гнева и возмущения хлопнула бы по столу, разбила чашку и закричала, то всем домашним стало бы легче жить, и что тихая ее покорность и облик мученицы, все переносящей, не разряжали, а сгущали атмосферу.

Как-то раз случилось, что я не выдержала очередного резкого выпада И. А. и, встав, сказала: «Не могу я слушать, как вы говорите с Верой Николаевной! Я уведу ее с собою попить кофе».

Мы ушли, сели в кафе на площади Пасси. Там, с обычной своей улыбкой на бледном лице, Вера Николаевна сказала:

— Вы совсем напрасно, Зиночка, за меня обижаетесь. Ведь я сильная, куда сильнее Яна. Вот он, бедный, всего боится: бедности — все не может забыть, как его семья какую-то зиму пробавлялась только яблоками — и болезни боится, и смерти, а я ничего не боюсь.

И правда, в слабости своей Вера Николаевна обладала духовной силой, помогающей ей даже не замечать того, что замечали другие. Там, в кафе на Пасси, никогда не жалуясь, а просто радуясь возможности поделиться, Вера Николаевна говорила о проблемах Зурова, объясняла Ивана Алексеевича. Рассказывала, часто называя имена (а иногда о них умалчивая) кое-кого из тех, кто, пользуясь слабостью И. А., «уведут его в кафе, там угостят коньяком, ему запрещенным», попросят дать им на прочтение письма Жида или Мориака и забудут эти письма вернуть, как и книги с автографами. Не осуждала, нет, но хотела, чтобы я поняла, что и продавать-то будет нечего. О грасских днях говорила мало, все больше намеками, и опять-таки злобы ни на кого не затаила. Вообще, удивительная была она женщина — и если вдуматься, то она была права: Иван Алексеевич был человеком слабым, а она очень сильным, несмотря на то, что казалась бесцветной и затушеванной.

«Напрасно, Зиночка, вы за меня волнуетесь».

Вера Николаевна была права. В неверном и опасном мире единым якорем спасения для Бунина была верная душа его жены. Вероятно, после смерти его Вера Николаевна смогла прочесть скупые, редкие, но такие всеобъясняющие записи, как те, которые привела Милица Грин, публикуя выдержки из дневника И. А. в «Новом Журнале».

От 15. 7. 35:

«Вчера был у Веры Маан (доктор). Ужасные мысли о ней. Если буду жив, вдруг могу остаться совсем один в мире».

От 25. 5. 42:

«Тоска, страх за Веру. Какая трогательная. Завтра едет в Ниццу к доктору, собирает свой чемоданчик... Мучительная нежность к ней до слез».

Была ли В. Н. умна? Право, я об этом не задумывалась. Она была все же необычайным человеком, и замечалась в ней не так житейская мудрость, как мудрость сердца, а главное — почти нечеловеческое терпение. Любила она пошутить и часто улыбалась. Вероятно, чтобы не остаться в долгу перед успехами Ивана Алексеевича, иногда, говоря о молодости, намекала, что и с ней «всякое бывало», и тогда по ее целомудренному лицу скользило совершенно чудесное, неубедительно кокетливое выражение.

Жалости к себе она никогда не чувствовала. Из одного только служенья Бунину сразу приняла на себя и больного Зурова, несмотря на опасность, с этим связанную. Для Зурова посмела послушаться Бунина — продала после его смерти часть его архивов в СССР, чтобы после ее смерти хоть какая-то ничтожная пенсия обеспечивала бы жизнь «Лени».

Последний выход Ивана Алексеевича был в Пен-Клуб. Кажется, по почину Водова, тогда одного из редакторов «Р. М.», меня попросили устроить в Пен-Клубе, иностранным членом которого Бунин состоял, торжественное собрание по случаю его 80-летия. Оно состоялось 30 июня 1950 года.

Приглашений разослали много. Председателем Пен'а был тогда уже Андре Шамсон, бывший в Резистансе «полковник Берже». Присутствовали французские писатели и русские друзья Буниных. И. А. сидел в первом ряду, торжественный и подтянутый. К сожалению, после переезда Пен-Клуба в новое помещение, а также из-за разных событий, в нем произошедших (смена правления и секретарш), мне не смогли отыскать бюллетень, в котором подробно описывалось это последнее (при его жизни) Бунинское

торжество. Я, помнится, прочла несколько слов о Бунине, а затем мой перевод о его первой встрече с Толстым. Андре Шамсон мне потом сказал, что он навсегда запомнил то, что Толстой сказал молодому Бунину о счастье.

Самолюбивый же Бунин, хотя и много читал по-французски и довольно свободно изъяснялся, от благодарственной речи отказался, и только, встав, с передаваемым достоинством три раза сказал: «Мерси! Мерси! Мерси!»

Незадолго до нашего отъезда из Парижа я зашла к В. Н. попрощаться. Она была одна. Иван Алексеевич лежал тогда в католической клинике на ул. Удино (на той самой, где советские агенты похитили Кутепова). Вера Николаевна настойчиво просила меня поехать с ней его навестить. Я отнекивалась, догадываясь, что И. А. мой приход будет скорее неприятен. В. Н. настаивала. Может быть, не отдавая себе в этом отчета, она хотела мне показать Бунина в его слабости. И. А. лежал один в комнате, после операции простата. Как я и ожидала, увидев меня, он пришел в панику: «Ах зачем, ах зачем, что на меня смотреть? Ведь противно на старика смотреть! Хорошо еще, что меня только что брат побрил» (клиника обслуживалась монахами). Стыдливо прикрывая худую шею, затем окутывая ее шарфиком, он, несколько приосанясь на подушках, скоро забыл о своем «унижении» и бодро заговорил о постороннем.

Мы были в Северной Африке в год смерти Бунина и не присутствовали на его похоронах. Когда мы вернулись, В. Н. очень просто и безо всякой жалости к себе рассказала нам о его последних минутах: умер он на ее руках.

После смерти Бунина, в мое отсутствие из Парижа, в Пен-Клубе состоялось собрание, посвященное его памяти (февраль 1954 года). На нем прочли и присланный мною текст. Перед этим, в театре Вье Ко-

ломбье состоялся артистический Вечер, устроенный небезызвестным в те времена антрепренером Рогнедовым, возглавлявшим Комитет чествования памяти Бунина. В «Нувелль Литтерер» появилась моя статья «Иван Бунин, Нобель и свобода».

В прочтенном моем тексте, и в моей статье в «Н. Л.» я упомянула о том, что в русской дореволюционной и в нашей эмигрантской литературе Бунин стоял особняком. Современник Толстого и Набокова, он всю жизнь оставался вне всяких течений и создал свою, особую, бунинскую «рапсодию». Массового читателя у него здесь не могло быть. После премии все его хвалили и им гордились, но читали его не так уж много. Иностранцам же он остался, после первых недель нобелевской славы, неизвестным. В Россию-СССР Бунин пробился только посмертно под строгой цензурой, за которую я упрекала Паустовского, когда он был в Париже). Зато, как только открылся к нему доступ, Бунина полюбили на его родине. В 60-х годах я вела в русской секции ОРТФ культурные передачи. И на ту, в которой я говорила о Бунине, было множество откликов советских читателей. Называли они меня, знавшую писателей старшего поколения, «живой связью времен». Один из них, рабочий, прислал нам в ОРТФ семена русских цветов, прося их вырастить и, когда расцветут, — отнести на могилу Бунина (что и было сделано).

Выше всего ценил в себе Бунин свое призвание писателя. Как-то с усмешкой и гордостью он обратил мое внимание на то, что несет на себе «стигматы» писательства: правое плечо несколько выше левого, второй и средний палец правой руки деформированы пером... Таланта своего в землю Бунин не зарыл и со словом обращался честно.

Если мы перечтем бунинский рассказ «Бернар», написанный им в 1930 г. на юге Франции и посвященный только что скончавшемуся французскому матро-

су, с которым Мопассан выходил в море на «Бель Ами», то увидим мы то, что так восхищенно ценил И. А. во всех людях и что уважал в самом себе.

Умирая, Бернар сказал: «Думаю, что я был неплохой моряк».

«А что хотел он выразить этими словами, — пишет Бунин. — Радость сознания, что он, живя на земле, приносил пользу ближнему, будучи хорошим моряком? Нет, но то, что Бог всякому из нас дает вместе с жизнью тот или иной талант и возлагает на нас священный долг не зарывать его в землю... Бернар это знал и чувствовал, он всю жизнь усердно, достойно, верно исполнял скромный долг, возложенный на него Богом, служил ему не за страх, а за совесть. И как же было ему не сказать того, что он сказал в последнюю минуту своей службы? «Ныне отпускаеши, Владыко, раба Твоего и вот я осмеливаюсь сказать Тебе и людям: думаю, что я был неплохой моряк»... Каждый, каждый из нас должен заслужить себе право в некий час сказать так, как сказал, умирая, Бернар.»

Вот что написал Бунин о Бернаре. И сам он всю жизнь, по завету Гоголя, обращавшийся со словом честно, не написавший ни одной строчки в угоду людям или из-за соображений выгоды, мог сказать, умирая: «Мне кажется, я был неплохой писатель».

Александр Бахрах

«ПО ПАМЯТИ, ПО ЗАПИСЯМ»

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

На тебя надевали тиару — юрода колпак,
Бирюзовый учитель, мучитель,
властитель, дурак.

.
Непонятен-понятен, невнятен, запутан,
легок.

О. Мандельштам

Я хочу рассказать о моих давних встречах с замечательным русским поэтом и писателем, последним из славной плеяды русских символистов, с Андреем Белым, встречах хоть и довольно частых, но происходивших в течение очень недолгого периода нашей общей берлинской жизни. Для того, чтобы более выпукло оттенить ту атмосферу, в которой эти встречи происходили, и чтобы многое сделать более понятным, мне кажется нужным сказать предварительно несколько слов о самом Берлине тех, уж очень далеких от нас, лет.

Странный это был город, неповторимый, и едва ли гофмановское перо способно было бы с достаточной убедительностью передать «несуразность» Берлина начала двадцатых годов нашего века. В нем смешивалось многое — еще не зарубцевавшаяся горечь

поражения, крушение всех недавних кумиров и то странное — тогда еще, собственно, Европе неведомое — явление, которое учёные финансисты именуют «инфляцией» и которое было не только экономическим или социальным, но в еще большей степени психологическим феноменом.

И рядом с этим куда-то (теперь мы знаем, в какие бездны) проваливающимся Берлином, в котором старый быт еще как будто внешне сохранялся и улицы были по-старому «причесаны», был еще другой город, страшноватый в его внутренней обнаженности и опустошенности. На таком фоне возник, преимущественно в западных кварталах германской столицы — с точки зрения местных жителей, как-то «ни с того, ни с сего» — как бы «город в городе» — русский Берлин. Сколько жителей он насчитывал, едва ли может быть точно установлено; во всяком случае, количество их выражалось тогда не то пяти, не то шестизначными цифрами. Жители этого «города в городе» очень громко разговаривали на улицах на чуждом берлинцам языке, как будто вражеском, но и не совсем уже вражеском, тем более, что «ам слав» — «славянская душа» — сразу же давала себя почувствовать. Здесь эти пришельцы, отнюдь не сливающиеся с общим пейзажем города, постепенно оседали, наивно думая, что круг их кочевой жизни этим завершился.

Как они жили? Объяснить почти невозможно, но как-то все-таки жили и даже в большинстве случаев лучше среднего берлинского обывателя. Они открывали рестораны, кондитерские, какие-то кустарные мастерские, ловчились, вершили какие-то странные дела. Но все это было делом наживным и удивляться тут нечему.

Гораздо меньше соответствует законам логики и экономики тот факт, что в те самые годы возникли в Берлине десятки, если не того больше, русских издательств и книжных лавок. На кого и на что все

они рассчитывали — мало понятно. Почему такой «промысел» мог казаться выгодным, едва ли теперь объяснимо. Неужели тут играла роль жажда наживы? Ведь это был нелепый расчет. Но факт остается фактом, что, помимо редких профессионалов издательского дела, выпуском книг занялись тогда бывшие присяжные поверенные, политические деятели, доктора, неудачливые банкиры — словом те, кто чуть ли не накануне покинул российские пределы и продолжал твердо верить, что через недолгий срок сможет вернуться на родину, по-видимому, с тюками книг в своем багаже. Впрочем, пессимисты о возможности этого возвращения и тогда уже говорили без чрезмерной убедительности, зато все, точно сговорившись, утверждали, что для их книжной продукции — не пестрой, а пестрейшей — вот-вот исчезнут цензурные рогатки и книжный поток хлынет через советские границы.

Должен тут еще раз уточнить, ведь с той поры так много воды утекло под всеми мостами, что говорить я о 1922-23-м годах.

Для современного читателя многое, вероятно, покажется малоправдоподобным и, в первую очередь, мне самому не верится теперь, что люди моего поколения были тогда еще двадцатилетними юнцами или вроде того. Было еще другое — кто непосредственно, кто пройдя с арьергардами белых армий или кружным путем через Турцию и Японию, словом, кто как, но все только-только покинули родные, в большинстве случаев развороченные «гнезда». Мало того, это был период нэпа, вселивший во многих радужные надежды, подкреплявшиеся тем, что общение с людьми «оттуда» не прекращалось. Писатели, поэты, художники, знаменитые и менее знаменитые представители молодой советской литературы, находившейся тогда еще в эмбриональном состоянии, кое-кто из начинающих свое триумфальное, хоть и недолгое восхождение

«Серапионовых братьев», то и дело наезжали в Берлин, чтобы подышать «иным», как могло им казаться, «буржуазным», воздухом. Получая липовые командировки, они наезжали сюда, чтобы издать одну-другую из своих книг, выступить на одном или нескольких литературных сборищах и, заработав некоторое количество валюты, преспокойно возвращались домой, никем и ничем не тревожимые.

Надлежит здесь отметить еще один немаловажный факт, который несомненно наложил свой отпечаток на то поколение, к которому я принадлежал. Ведь мысленно я переношусь к той эпохе, которая непосредственно последовала за смертью Блока, за гибелью Гумилева. Ведь от этих двух событий нас тогда отделяли всего лишь какие-то месяцы. А ведь имя Блока для моих сверстников было именем поистине магическим и сегодня, вероятно, даже трудно будет понять, что оно тогда — особенно тогда — означало. Помню, как до Берлина дошло посмертное алконовостовское издание «Седого утра» в желтых обложках. Многим из нас оно доставило немало бессонных ночей. Я особенно ясно вспоминаю то чувство, с которым впервые читались незабываемые, такие тогда созвучные, строки: «О, если б знали вы, друзья, / Холод и мрак грядущих дней!». Помню также появление — может быть, несколько запоздавшее — первых выпусков «Записок мечтателей», как и первых, крошечного формата петрополисовских — еще помеченных Петербургом — книжечек с ахматовским «Анно домини», с «Нездешними вечерами» Кузмина, с «Огненным столбом» Гумилева.

Но, наряду с этим, совсем другое впечатление (не нахожу тут более уместного слова) производили первые, появившиеся в отрывках в недолговечном журнальчике «Знамя», издаваемом берлинскими левоэсеровскими «скифами», строки из «Первого свидания» Андрея Белого.

Как пронзало тогда четверостишие

«Благонамеренные люди
Благоразумью отданы:
Не им, не им вздыхать о чуде,
Не им — святые ерунды...»

и как некоторые из нас были горды сознанием, что как-то расшифровываем то, что скрывается за «святой ерундой» и что оно нам близко!

Четырехстопные ямбы «Первого свидания» были словно откровением, чем-то, что вновь связывало нас с прошлым, что заслоняло горечь сегодняшнего дня. Вероятно, теперь уже трудно объяснить, почему именно «Первое свидание» позволяло уповать на будущее. Белый — не говорю даже о самом содержании поэмы — приоткрывал особый мир, его и не совсем его, утонувший и в поэме воскресший. Да, кроме того, то, что мы о нем и без того знали, связывало его с Блоком и в каком-то смысле притупляло боль недавней утери и, вместе с тем, окружало его имя особым, ни с чем не сравнимым ореолом. Конечно, дело было не только в том резонансе, который вызывался отдельными отрывками из «Первого свидания». Дело было глубже — восстанавливая картину Москвы девятидесятых годов, московские «зори», повествуя о семействе Соловьевых, Белый восстанавливал то, что считалось уже навсегда утерянным.

Мы про себя повторяли засевшие в памяти отдельные строки поэмы, еще не зная всего ее текста, еще не сознавая, что она принадлежит к числу великих поэтических произведений начала двадцатого века. Это было, конечно, чисто интуитивное чувство, питавшееся тем, что какое-то опустевшее место оказывается заполненным и, может быть, не только на отечественном Парнасе, но и в жизни каждого из нас.

Может, конечно, показаться, что то, о чем я сейчас вспоминаю, преувеличенно личное восприятие.

Пусть так, но можно ли вообще о чем-либо вспоминать без того, чтобы не вносить значительный привесок чисто субъективных ощущений?

**
*

Таков, как мне кажется, был Берлин в это лето от Р. Х. 1922-е, таков был и я, начинавший работать в местной русской газете, таково было большинство людей, составлявших мое окружение, когда меня буквально взбудоражило известие о том, что автор «Петербурга» (который в свое время я успел прочесть — впрочем, это «свое время» тоже было совсем недавним) и «Первого свидания» появился в Берлине. Тогда, на первых порах, я не смел даже мечтать о встрече с ним, он мне представлялся неким «небожителем»!

Но тут я должен сделать небольшое отступление.

Незадолго перед тем в Петербурге созданся «Дом искусств» — последнее прибежище многих литераторов, которые нашли там — все, конечно, относительно — кров и питание. В мемуарной литературе сохранилось немало свидетельств об этом «небывалом» учреждении, а Ольга Форш посвятила ему целый роман, озаглавив его «Сумасшедший корабль», что, кажется, вполне соответствовало истине.

Так вот, по инициативе старичка Минского, когда-то в старой России весьма знаменитого, но к этому времени уже сильно постаревшего и потускневшего, «Дом искусств» возник и в Берлине. О нем, как и об образовавшемся после неизбежного раскола «Клубе писателей», следовало бы поговорить особо.

Конечно, на петербургский похож он ни в чем не был, хоть и тотчас по возникновении обменялся теплыми приветствиями со своим невским собратом (тогда это еще было дозволено!). В Берлине «Дом искусств» был несравненно менее притязателен. Это были просто-напросто еженедельно происходившие в

одном из больших кафе (если не ошибаюсь, по пятницам) собрания писателей, художников, журналистов, отчасти «доморощенных» издателей, где за чашкой чая или кружкой пива обсуждались все текущие литературные дела, говорили об издательских планах, читались доклады, иногда новоиспеченные стихи.

Стал и я с большой охотой бывать на этих собраниях, на которых царила совершенно иная атмосфера, чем в других кафе, облюбованных русскими. Как-никак здесь курсом доллара — хотя бы открыто! — никто не интересовался и все было «по-культурному», даже если в иной вечер дочь Потапенки читала главы из своего длинного, длинного, длинного неизданного романа, а средних лет смугловатая поэтесса из раза в раз декламировала — за неимением других — все те же экзотические строки.

И вот... в один из вечеров — точной даты не упомяну — покуда я сидел в компании некоторых завсегдатаев «Дома», к нашему столику присоединился человек, которого до того я никогда нигде не видал. Произошло быстрое и еле внятное, как обычно водится в подобных случаях, представление. Пришелец едва буркнул, точно себе под нос, — «Бугаев», — и сразу уселся на свободный стул.

Наружность Андрея Белого, его голубые (даже если к тому времени они чуть побелели) глаза, словно «пролётые в вечность», полуседые волосы, вьющиеся прихотливо вокруг сияющей лысины, его незабываемая широкая улыбка, появляющаяся, когда он хотел очаровывать (а это он умел, как никто), его, казалось бы, преувеличенная и несколько старомодная вежливость, его беседа, когда каждому из его собеседников не могло не казаться, что именно ему и ему одному уделяет Белый все свое внимание, между тем, как он, вероятно, никого не слушал и не слышал и продолжал витать в собственных небесах, упрямо думая о своем — все это описывалось уже столько раз, что

более детально повторять это первое мое впечатление от встречи с Белым мне представляется лишним.

Не буду также касаться моих чувств немого восторга и благодарности судьбе за эту нечаянную встречу. Прошу читателя подумать тут о моем возрасте! Отмечу, при этом, как бы в скобках, что за всю мою долгую жизнь и сравнительно большое количество литературных знакомств я, пожалуй, никогда не столкнулся с кем-либо другим, кто сразу же, «без обиняков», без долгих «предисловий» мог произвести такое глубокое и, главное, нестираемое впечатление, как Андрей Белый. Впрочем, как я уже говорил, в данном случае почва была заранее подготовлена.

О чем шел тогда общий разговор, вспомнить не могу, да это едва ли существенно, потому что, как я мог убедиться впоследствии, с Белым разговор редко когда ограничивался одной определенной темой. Белый неизменно перескакивал с одной темы на другую и диапазон его импровизаций был поистине безмерен, хотя слишком часто слова он произносил только для того, чтобы маскировать ими те мысли, которые в данную минуту обуревали его, а иногда могли даже «есть поедом».

Как бы там ни было, в какой-то момент в этой полузнакомой ему и вполне случайной компании он в самых мрачных красках стал живописать свое берлинское существование (только незадолго перед этим он где-то потерял свою рукопись, которая так и не нашлась. Кажется, это был перекроенный и, можно почти не сомневаться, изуродованный вариант «Золота и лазури»). Он говорил о своей неприспособленности к берлинской жизни, об отсутствии подходящей для работы комнаты и, главное, сетовал на то, что не может найти издателя для своего «Петербурга», который он мечтает не только переиздать, но и значительно переработать.

Тогда, при обилии русских издателей и при том престиже, которым пользовался Белый, такое заявление казалось невероятным. Но, так как с некоторыми русскими издателями я был в приятельских отношениях, то — не скрою, что не без некоторой тайной гордости, уж очень мне льстила возможность услужить Андрею Белому, — я робко предложил ему мое посредничество. На мои слова он сразу же откликнулся с таким воодушевлением, словно я бросал ему спасательный круг. «Ах, милый, да не может быть... Неужели в самом деле есть возможность?». Свидание было назначено назавтра же, и мне оставалось только одно следующее утро, чтобы не ударить лицом в грязь и убедить одного из русских издателей решиться на предприятие, которое мне самому не только не казалось рискованным, но чем-то весьма почетным. Я оказался прав: более легкого задания я, кажется, никогда в жизни с таким мгновенным успехом не выполнял. Действительно, переиздание беловского «Петербурга» каждому из берлинских издателей представлялось желанным украшением списка его новинок.

Сказано — сделано. На следующий день в условленный час я с моим издателем стояли у порога того дома на Пассауэрштрассе, в котором обитал тогда Андрей Белый. Если позволено будет сказать, именно с этого дня и началась моя кратковременная «дружба» (это слово я, конечно, заключаю в кавычки) с этим замечательным — единственным в своем роде — человеком, закончившаяся на вокзале Цоо у окна экспресса, увозившего его в Негорелое.

Переговоры с издателем были предельно краткими. Соглашение — да? — да! — было достигнуто сразу же, все шло вполне «по-джентльменски» и ни о каком возможном юридическом крючкотворстве не упоминалось. К моему удивлению, Белый согласился даже на предложение издателя выпустить книгу с

иллюстрациями, и несколько штриховых эскизов было ему тут же показано. От этих иллюстраций, сделанных в том модернистском стиле, в котором тогда так преуспевал Юрий Анненков, он, казалось, пришел в восторг. Конечно, оставались еще кое-какие незначительные детали технического порядка, но будущий издатель «Петербурга» поручил мне довести их до конца и договориться обо всем с автором.

Каково же было мое горестное удивление, когда придя снова к Белому в назначенный час, на дверях комнаты, которую он занимал, я увидел большими, раскосистыми буквами начертанную им записку: «Просят не тревожить!»

Я не был тогда еще осведомлен о том, что такого рода записки были в характере Белого и что эти дни совпали для него с переживаниями, которые сыграли значительную, если не решающую, роль в его биографии.

Его жена, Ася Тургенева, которую мне удалось раз-другой встретить у него, находилась в Берлине. Она приехала из своего антропософского посёлка, из штейнеровского Дорнаха для решительных объяснений, для окончательного разрыва, который она обставила несколько «необычной» и умышленно оскорбительной для самолюбия Белого мизансценой, афишируя, как только могла, свою связь с имажинистским поэтом Кусиковым.

Трудно, конечно, предположить, каковы бы ни были видимости, что в этом неожиданном романе подлинные чувства могли играть решающую роль. Как казалось тогда всем, более или менее посвященным в историю этой скороспелой и не менее быстро отцветшей связи, она была вызвана желанием причинить Белому наиболее острую боль, за что-то его наказать, растоптать какие-то его надежды, если только они еще у него имелись.

Да и сама личность имажинистского поэта даже при шапочном с ним знакомстве, даже со стороны не позволяла верить, что этот роман, с ее стороны, не больше, чем каприз начинающей стареть женщины — возможность похвастать присоединением к числу своих «побед» еще одного имени, которое до того могло казаться неприступным. От строительства Гетеанума в Дорнахе до пошловатого мимолетного романа путь был, действительно, огромен!

Кстати сказать, после знакомства с главным лицом этой «драмы», мне тогда показалось, что в ней нет женственности, нет женского очарования. Меня поразила угловатость и категоричность ее рубленых фраз. Ведь недаром, по словам Марины Цветаевой, знавшей ее в молодые годы, ее «нет» звучало так же веско, как первая капля дождя перед грозой. И, если сам Белый в своем разговоре неизменно юлил, строил свои фразы так, что путь отступления оставался ему открытым, не пренебрегал словом «вероятно», то у его бывшей жены все было прямолинейно, словно некое «быть по сему».

Но я невольно отклонился в сторону. Под влиянием этих любовных и, несомненно, трагических потрясений, Белый переживал тогда едва ли не припадок ненависти к антропософии, учение которой он долго исповедывал, к ее зачинателю, небезызвестному доктору Штейнеру (доктору Доннеру — в некоторых беловских произведениях), к своим бывшим единомышленникам. Словом, это были дни, когда со свойственным ему упорством он стал сжигать все, чему долго поклонялся, и этот свой внутренний переворот из всех сил старался вынести наружу, чтобы ни у кого не оставалось сомнения в происшедшем с ним превращении. Об этом он начинал рассказывать буквально каждому встречному, находя по адресу своих недавних друзей обвинения самые мелочные, порой нелепые, едва ли не подозревая их в уголовных деяниях,

чуть ли не в шпионаже. Его истеричность, как мне теперь видится издалёка, углубилась, расширилась, овладела им именно в эти дни.

Но вот что случилось и что обнаружилось в следующий раз, когда я мог с ним повидаться и с глазу на глаз поговорить. Вопреки всем своим первоначальным заявлениям и не считаясь с тем, что его предполагаемый издатель уже принял кое-какие меры, чтобы начинать набор его «Петербурга», он заявил, что должен от достигнутого соглашения отказаться, так как (прошло всего-навсего считанное количество дней) возникло новое издательство — «Эпоха», которое взялось печатать целый ряд его новых и старых произведений и с руководителями которого — а это, несомненно, находилось во главе угла — он связан многолетними дружескими отношениями. Да к тому же, иллюстрации «не в его духе», добавил он, словно обрадовавшись этой малоуважительной отговорке. И вообще к чему они?

Собственно, в глупом положении оказывался один я. Издатель поскулил, выругал меня и, слава Богу, сообразил, что с Белого «взятки гладки». Он проявил не-издательскую чуткость и сразу догадался, что мысль Белого — сколько раз я мог впоследствии в этом убедиться — течет своими беловскими путями и ему чужды не только понятия о каких-то обязательствах, не связанных с миром его идей, пересечений, интересов, но и в отношении к людям не было у него никакого постоянства. Даже самые близкие ему люди (может быть, за считанными исключениями) были ему глубоко безразличны. Сегодня он перед ними расшаркивался, извивался в «курбетах», завтра он тех же людей едва узнавал. Но это отнюдь не было у него признаком изменчивости. Это являлось врожденной частью его характера, следствием его невероятного эгоцентризма, когда собственное «я» парит над всем, а остальное и остальные — «трын-трава». Мог ли он

тогда думать о каком-то издателе, о каких-то принятых на себя обязательствах?

Вскоре после этого инцидента, оставившего горьковатый привкус, но никак не повлиявшего на мои «восторженные» чувства к автору «Первого свидания» — повторяю еще раз, его обаянию нельзя было не поддаться — Белый перебрался в один из южных пригородов Берлина, в грустного вида Цоссен, в домик, в котором ему нашли комнатуху. Домик этот в трагических, сильно сгущенных красках, но с замечательным мастерством описан Мариной Цветаевой.

Это импрессионистическое описание грешит, по моему, известной литературщиной. Цветаева описала не то, что лицезрела в действительности, а то, что хотела видеть, с чем заранее туда приехала. По разным весьма веским причинам к цоссенскому «затворничеству» Белого она относилась резко отрицательно и ее Цоссен — не фотография, а штриховая зарисовка.

Бывал и я у Белого несколько раз в этом самом Цоссене и вспоминаю только, что поездка туда была весьма сложной, что от архитектурного пейзажа городка веяло унылостью и казарменностью (недаром во время войны там расположилась какая-то важная «ставка») и что дом, в котором обитал Белый, лежал на широкой шоссеиной дороге, насупротив весьма «вместительного» кладбища. Но помню также, что Белый о своей работе говорил тогда с увлечением, подчеркивая, что там, в уединении, никто ему не мешает и он исписывает чуть ли не по печатному листу в день. Он работал тогда над расширенным вариантом «Воспоминаний о Блоке» и одновременно сочинял трагические и малоудачные строки, якобы «выкрикиваемые им в форточку», составившие затем сборник с двусмысленным заглавием «После разлуки». Заглавие это, с одной стороны, намекало на недавнюю — последнюю — встречу с бывлой спутницей жизни, с той, к которой он именно из Цоссена обращался, как к

«тени теней» («Ты — тень теней... / Тебя не назову. / Твое лицо — / Холодное и злое... / Плыву туда — за дымку дней — зову, / За дымкой дней, — нет, не Тебя: бывшее, / Которое я рву / В который раз»). С другой стороны, особенно, если принять во внимание, что этот «берлинский песенник», как значится в подзаголовке, завершался строчками, посвященными Цветаевой, он мог быть как бы ответом на ее «малиновые мелодии», собранные в книжечке «Разлука», которую так превозносил Белый.

Как бы там ни было, точные хронологические рамки я теперь установить не берусь, но «Цоссен» в жизни Белого продолжался весьма недолго и прикладбищенская комнатуха у цоссенской хозяйки, якобы кормившей своего жильца одной только овсянкой (не поручусь, что в этом нет значительной доли стилизации! Да, впрочем, по моим наблюдениям, к еде Белый был довольно равнодушен и гурманство не было одним из его пороков!), сменилась огромной светлой комнатой в пансионе Крампе, в самом центре западного Берлина, где жили «все».

Пансион этот был расположен в непосредственной близости от пресловутой «Прагер дилз», которую увековечил Эренбург и в честь которой Белый создал неприятный неологизм «прагердильствовать» — неологизм, которым он воспользовался для заглавия одной из своих статей, появившихся на страницах горьковского журнала «Беседа». Думается, что уточнять, что Белый имел в виду, изобретая это слово, не приходится — об этом можно без труда догадаться.

Сразу же следует отметить, что этот переезд из мрачного Цоссена в светлый Берлин-«Ве» («Ве» — Вестен, то есть Запад) отразился на жизни Белого довольно — не убоимся этого слова — трагически. Это переселение совпало с апогеем его «безумств», с тем, что его двойное пристрастие к алкоголю и танцу (можно ли, строго говоря, называть танцами его

плясовые упражнения?) стало общеизвестным. Он словно бравировал своими «хлыстовскими» радениями, из вечера в вечер посещая второсортные танцульки, размножившиеся тогда по Берлину, как поганки после дождя, и какие-то сомнительные кабачки, привлекавшие его тем, что они были «под рукой». В Цоссене всего этого, конечно, не было!

Можно только удивляться его здоровью и его небывалой выносливости, когда после таких бессонных и почти безумных ночей — иной раз он не мог отыскать дорогу к своему дому или открыть дверь ключом — он уже с утра, как ни в чем не бывало, усаживался за свой письменный стол перед горкой листов с желтоватым отливом и строчил, строчил, строил своим характерным крупным почерком. Он писал почти без помарок, редко когда перечитывая написанное. У своего стола он сидел чуть ли не до самого вечера, ведя теперь бой с тенями прошлого и точно дожидаясь, когда наступит час, позволяющий ему снова окунуться в эту облюбованную им сомнительную «стихию».

Эти пляски Белого, свидетелем которых я неоднократно бывал, уже много раз описывались его друзьями (и некоторыми его недоброжелателями!) и трудно что-либо добавить к этим описаниям. Разве что — не помню, говорилось ли уже об этом — сказать о том, что чувство какой-то неловкости и даже тревоги за него овладевало каждым, кто сопровождал его в этих эскападах. Оно усиливалось еще сознанием беспомощности, так как остановить его в эти минуты ни у кого не было никаких сил. Он проявлял «там» железную волю. А ведь никогда не было известно, чем все это может кончиться, не вспыхнет ли какой-нибудь пренеприятный скандалчик и не упадет ли Белый в глубоком обмороке на то куцое танцевальное пространство, на котором все «действие» и происходило. Восстанавливая теперь в памяти все эти «бе-

зумства», диву даешься, почему такие скандалы как будто никогда не вспыхивали. Ведь Белый приглашал дам, молоденьких девиц, пожилых матрон — собственно, ему было вполне безразлично, кто с ним пляшет, кто его партнерша — и так как было тогда не принято от приглашения отказываться, он обрекал на некий «танцевальный эксгибиционизм» кого попало. А ведь его танец неизменно принимал какой-то демонический, без малого ритуальный (но отнюдь не эротический) характер, доводивший нередко его партнеров до слёз и настолько публику озадачивающий, что его танцы часто превращались в сольные выступления. Остальные пары покорно отходили в сторону, чтобы поглазеть на невиданное зрелище. Но все же «выкрутасы» русского «профессора» (так он титуловался во всех этих зланных местах) были таковы, что в большинстве случаев все эти берлинские мещане среднего достатка чувствовали, что перед ними человек какого-то особенного склада, к которому их мерки неприменимы.

Не надо, конечно, предполагать, что кабачки, которые посещал Белый, были какими-то «шикарными» учреждениями для туристов или спекулянтов, на берлинском жаргоне «для шиберов», или хотя бы чем-то напоминали то «совсем петербургское место», которое посещал Аблеухов. Нет, это были скромные, закоптелые пивнушки, порой заводившие пиликающий оркестр или граммофон, куда по вечерам «бюргеры» ходили выпить кружку пива или «шнапс» и при случае завести знакомство с продавщицей из какого-нибудь гума или домашней работницей.

Один из таких невзрачных, тусклых кабачков, находившийся, если память мне не изменяет, на улице Лютера, Белый особенно облюбовал. Он почему-то вообразил, что питает нежные чувства к хозяйской дочери, фрейлейн Марихен. Борис Николаевич старался сам себя убедить (впрочем, кое-кто этому по-

верил!), что эта скромная, ничем от тысячи других не выделяющаяся пивнушка — особый мир, некий островок в окружающем ее враждебном океане, что посетителей этого заведения с ее полуслепым владельцем объединяет некая «тайна» и каждый, кто туда заходит, стремится «допить» свою жизнь. Чем все это вызывалось, постичь едва ли возможно, как трудно объяснить, чем питались его чувства к Марихен. Менее всего в их зарождении была повинна она сама — невзрачная, белотелая, каких в дюжине десять, берлинская девица на выданье, едва ли догадывающаяся о той роли, которой ее заочно наделял «герр профессор», давший ей прочесть немецкий перевод своего романа и уверявший, что «Марихен оценила «Петербург» тоньше всех присяжных критиков». Настроенный скептически, я лично сильно сомневаюсь, что бедная Марихен прочитала «Петербург» до конца! Но зато она терпеливо сносила все хореографические упражнения «профессора», его истерическую гимнастику, его потоки слов, которые она, конечно, не понимала и которые должны были казаться ей безумными. То, что он ей выкрикивал, было ей непонятно не из-за того, что Белый не мог с достаточной ясностью объясняться по-немецки — языком он владел почти в совершенстве — но просто потому, что в эти минуты «радений» его вообще было трудно понять.

Вся эта обычно-необычная обстановка заурядной пивной на Лютерштрассе, после того как Белый уже оттанцевал положенное число фокстротов или «шимми» — нет, точнее если сказать, — чего-то, не имеющего имени, — и едва не падал от изнеможения от лишней — подлинно, лишней! — рюмки скверного немецкого коньяка, настраивала его на серьезные, самые серьезные разговоры, на признания, на воспоминания, которые в конечном счете, хоть имен он не называл, относились к его неизжитой любви (Ходасе-

вич считал эту любовь единственно подлинной в его жизни и с этим, вероятно, нужно согласиться).

Белый много раз водил меня к этой самой Марихен, хоть я никак не мог разделять его преклонения перед этим местом. Мне оно казалось в высшей степени «ординарным», в его «тайну» я не мог поверить, и весь внешний облик Марихен, никак не походившей на какую-либо «прекрасную даму», был в моих глазах весьма банальным. При всем желании я не мог бы сейчас восстановить ее внешний вид перед моими глазами, потому что она ничем не выделялась. Стараясь, но не вижу ее, хотя Ходасевич и нарисовал ее поэтический портрет чуть ли не трагедийными штрихами:

«Зачем ты за пивною стойкой?
Пристала ли тебе она?» —

и дальше:

«Уж лучше бы — я еле смею
Подумать про себя о том —
Попасться бы тебе злодею
В пустынной роще вечером.

Уж лучше в несколько мгновений
И стыд узнать, и смерть принять
И двух истлений, двух растлений
Не разделять, не разлучать»...

Не сомневаюсь, что эти строки произвели тогда на Белого сильное впечатление, ведь «эпоха Марихен» продолжалась в его жизни несколько добрых месяцев. Между тем, вполне вероятно, что если эта самая Марихен еще жива, то, несомненно, стала грузной немецкой «бюргершей», наплодила потомство и едва ли вспоминает о странном русском «профессоре» и хилом русском поэте, которые ее увековечили.

Но, как-никак, один вечер в этом самом заведении я едва ли когда-либо сумею забыть. Это был вечер как вечер, мало чем от других отличавшийся, но после закрытия кабачка (вероятно, было после двух часов ночи) Белый, бывший навеселе (хотя это слово здесь явно не на месте), предложил мне пройтись с ним. Как можно было ему отказать? Как можно было оставить его одного? По ночному, бесконечному и почти пустынному Курфюрстендамму, тому самому, о котором он, парафразируя Пушкина, писал, что ходить по нему ему было всегда «курфюрстендаммно и томительно», мы шли и шли, и Белый, естественно, не переставал говорить. Это был нескончаемый монолог, в котором, как в некоем рефрене, то и дело повторялись имена Любви Дмитриевны Блок, Аси Тургеневой, доктора Штейнера. Все они сопровождались эпитетами, которые не берусь повторять. Талант Белого к созданию прилагательных общеизвестен.

Мы прошли, вероятно, изрядное количество километров и случайно свернули на одну из боковых улиц, на которой находились тогда огромные, отраженные лунным сиянием, белесые газовые резервуары. Эти резервуары — после всего, что было сказано и выпито в этот вечер, действительно, казались чем-то неземным, и весь окружающий пейзаж перестал казаться городским. Белый с удивлением присматривался к нему и вдруг обратил внимание на дощечку с названием улицы. Окрещена она была «Гейсбергштрассе», может быть, в честь какого-нибудь почтенного деятеля берлинского муниципалитета.

Но совсем иначе воспринял все это Белый. Он буквально заорал: «Да, так я и чувствовал — мы проникли на «Гейсбергштрассе» (он вставил одну букву «т» и получалось, что мы на горе злых духов!). Ведь они преследуют меня всю мою жизнь...». Он точно обезумел от своих собственных выкриков, оттащил

меня назад и, когда «Гейсбергштрассе» была уже позади, начал длинный, несколько запутанный, но, вместе с тем, ясно и «логически» построенный рассказ о том, как в одном из предыдущих своих воплощений он был ... Микеланджело. За этим головокружительным признанием следовали кое-какие детали из жизни великого флорентинца, относимые им — не знаю, как это выразить, чтобы быть понятым, — к нему самому.

Я никогда ни до того, ни после того не слышал от него о его вере в метампсихоз. О «переселении душ» он никогда не говорил, и я не знаю, в какой зависимости находилось это «признание» от антропософского учения. Во всяком случае, у меня не было тогда впечатления, что все это только «спьяна». Отмечу только, что рассказывал как-то об этом случае одному штейнерианцу, тот ужаснулся: «Да как же он мог это говорить вам... ведь это тайна, это нельзя повторять...». Продаю, за что купил!

Мне трудно и почти неловко передать сейчас все детали этого фантастического, бредового беловского рассказа, его тональность, его почти оккультную силу и его ... убедительность. Да, на фоне того «марсианского» пейзажа, который только что открывался нашим взорам, красноречие моего спутника гипнотизировало меня и в эту минуту — пусть на одну минуту! — я готов был поверить во все, что он говорил, мне было не до смеха и я никак не мог ощущать происшедшее как некую клоунату. Впрочем, мне не было смешно и когда покинув эту злополучную, населенную духами, «колдовскую» улицу и распрощавшись с Белым у подъезда его дома, я вернулся «сам не свой» к себе. Как и теперь, когда я вспоминаю всю эту сцену полвека спустя, меня все еще охватывает какая-то внутренняя дрожь.

У читателя может невольно встать вопрос, чувствовал ли себя Белый в этот недолгий берлинский период его жизни себя одиноким, чуть ли не «брошенным», как он потом публично и печатно заявлял. Кто его окружал, кто был ему подлинно близок, подлинно нужен? Кто был подлинно близок и нужен, не знаю и боюсь, что ответ на этот вопрос предельно прост — никто. При этом, должен еще раз повторить, что подходить к нему с нормальными, общечеловеческими мерками было бы ошибочно. У него, конечно, всегда были литературные единомышленники и множество почитателей его таланта, но создает ли это подлинную близость? Зато я знаю много людей, которые с ним тогда — в Берлине — нянчились, выполняли его поручения, хотели ему всячески помочь в бытовом, будничном плане. Многие для него делали его издатели и, в первую очередь, издатель «Эпохи» Каплун. Многие сделал и хозяин «Геликона», выпускавший, в частности, альманахи «Эпопея», трагически погибший в гитлеровских застенках Вишняк. Многие хотела было делать молодая тогда еще поэтесса Вера Лурье, влюбленная и покорная, но как будто раздражавшая его своей покорностью и услужливостью и, может быть, отсутствием в ней той капли «демонизма», до которого он был, по-видимому, падок. Хотя, собственно, трудно доискаться, какой тип женщины мог его прельщать и был ли вообще такой «тип».

Из коллег по ремеслу он как будто — дольше, чем к другим — с большой приязнью относился к Ходасевичу, которого своими статьями возвел на пьедестал. Это, конечно, не мешало ему иногда за глаза ругательски его ругать, упрекая в том, что он чернит и принижает все, что сам Белый видит чуть ли не в «лазурном свете». Он очень благоволил к мудрому Гершензону (во время его берлинского пребывания

они жили в одном пансионе), к Бердяеву, большому его почитателю, но с которым он вечно затевал споры, к поэту-антропософу Николаю Белоцветову, заочно к Марине Цветаевой — впрочем, живи она в Берлине, рано или поздно «коса нашла бы на камень». С большой симпатией он в те дни относился к Зайцевым и Муратовым, но, кажется, встречался с ними редко. Был, конечно, еще легион людей, которым он без большой убедительности, словно это так требуется каким-то «этикетом», объяснялся в любви, сразу же об этих объяснениях забывая. Если касаться одной только литературной среды, то, может быть, активно он недолюбливал одного только Эренбурга и как писателя, и, вероятно, как человека. Он, готовый верить всякому встречному-поперечному, Эренбургу не доверял. Уж очень разные были они люди. А однажды для газеты «Дни», выходявшей тогда в Берлине, сочинил злую рецензию на книжку стихов Саши Черного, в которой писал о неуместности для поэта появляться на Парнасе «без подтяжек». По поручению редакции, мне — с всяческими извинениями и расшаркиваниями — пришлось объяснять Белому, почему газета не считает возможным опубликование его заметки.

**
*

Я уже вскользь упоминал о «Прагер дилэ» — эренбургской цитадели. Это было довольно уютное и комфортабельное кафе, в которое Эренбург забирался чуть ли не с раннего утра, вооружившись пишущей машинкой, на которой он без устали «стукал» свои произведения. А ежевечерне для него был резервирован стол, «штамштиш», по немецкой терминологии. Стол этот был «почти-клубом», и к нему присаживались некоторые писатели, издатели, литературные барышни, начинающие поэты, считавшие, что сидение рядом с «мэтром» — своего рода «боевое кре-

щение» и приобщение к литературе. О чем только в непринужденной беседе не говорилось за эренбургским столом, какие только вкусные сплетни не обсуждались там за «венским шницелем», специально заведения?

Хотя Белый и предал «прагердильствование» анафеме, он нередко туда заглядывал, забывая о им же самим написанном. Отчетливо вспоминаю, как однажды, засидевшись вплоть до закрытия «дилэ», мы вышли оттуда вчетвером — Белый, Ходасевич, Берберова и я. Идти нам было примерно в одну сторону и — по инициативе Белого — мы стали кружиться в хороводе и веселились как дети. Пройдя мимо помещения, занимаемого «Геликоном» (вход в него был прямо с улицы), мы еще раз остановились и прикололи к дверям издательства тут же сочиненный коллективный экспромт. Бывают ведь такие несуразные капризы памяти: я до сих пор помню его слово в слово и курьеза ради готов его тут привести:

«Абрам Григорьевич Вишняк,
Танцуйте чаще козловак,
Его на Регенсбургерштрассе
Протанцовали мы вчера...»

Далее следовали подписи.

Этот незначительный эпизод, вероятно, не стоило бы упоминать, если бы не подчеркнуть отношение Белого к случайной ребяческой игре. Для него она неожиданно стала словно частью какой-то мистерии, и он готов был — хотя бы на предельно краткий срок — вообразить себя кентавром или каким-либо другим мифологическим существом. Он выделял свои замысловатые па в том же ключе, в котором когда-то сочинял свои симфонии или примерно за двадцать лет до того рассылал друзьям визитные карточки из «24-го излома Беллендриковых полей» от лица едино-

рогов и силенов. Это «обывателями», конечно, принималось как вздор, как нелепица, но для Белого это был оправданный внутренний жест, обыгрывание своих фантазмов, сложная игра, не лишенная известной примеси юродства. Та вечерняя прогулка, о которой я только что вспоминал, меня еще раз убедила, что не все от молодых лет в нем успело перегореть. Говоря более грубо, «кентавр» в нем тогда еще не выветрился!

**

Дни, между тем, шли за днями. Летние дни, когда все из Берлина разъезжались, Белый решил провести на берегу Балтийского моря, в Свинемюнде. Почему он избрал этот модный в те дни морской курорт, мне неизвестно. Но в то же самое примерно время я отправился на то же холодное и серое море в скромную и ничем не примечательную рыбацью деревушку, расположенную на острове Рюген, — притом, не один, а с некой молодой поэтессой, с весьма бурной биографией которой я только совсем недавно ознакомился, вычитав ее на страницах того тома «Литературного наследства», который посвящен переписке Горького с советскими писателями. Место мое носило странное для русского уха имя «Баабе», и теперь я не могу понять, каким образом Белый мог узнать мой адрес. Во всяком случае, через несколько дней после моего обоснования в этом самом Баабе я получил от него некий телеграфный „SOS“ — просьбу поскорее приехать к нему в Свинемюнде. Зачем я был ему тогда нужен, мне и сегодня невдомек, но мне ничего не оставалось делать, как запаковать мой тощий чемодан и распрощаться с Рюгеном. Излишне говорить, что роман мой после такого вполне «неджентльменского» поступка оборвался, хотя черноокая поэтесса и уверяла, что хорошо меня понимает и что зов Белого, конечно, клонит чашу весов в его сторону.

Кое-как я приехал в Свинемюнде и почти сразу же убедился, что, собственно, в моем приезде не было ни малейшей надобности. Зов его был чем-то трогателен, но в то же время свидетельствовал об его крайнем эгоизме. Мое общество, если его и не тяготило (не поручусь, что третьим лицам он мог жаловаться на мою навязчивость!), то ничего для него не разрешало.

Отмечу в скобках, что тогда же в том же Свинемюнде находилась та самая Вера Лурье, которая готова была «душу за него отдать». Однако Борис Николаевич, не без некоторого оттенка садизма, не замечал ее, не встречал, не только пренебрегал тогда ею, но оскорбительно делал из нее пустое место.

Я провел в Свинемюнде несколько дней, совершил с ним по пляжу несколько прогулок, во время которых при виде курортных гостей он начинал разглагольствовать о «гибели Европы» — вроде как бы по Шпенглеру, но по Шпенглеру в весьма беловском преломлении! Вечерами посетил с ним две-три танцульки (сам я тогда от танцев уклонялся) несколько более высокого разряда, чем те, которые облюбованы были им в Берлине. Здесь его танцы как-то «померкли» и он был только плохим танцором, без воодушевления выделявавшим какие-то скучноватые «экзерсисы». Но — и в этом была, вероятно, «тайна» моего вызова — ему было как-то не по себе появляться в такого рода заведениях в одиночестве.

Вскоре все, один за другим, вернулись в Берлин и, как мне кажется, именно после этого возвращения на «зимние квартиры» Белый окончательно изверился в возможности восстановить «то, чего не было», но что ему продолжало казаться не только возможным, но и желанным.

Тогда же прибыла в Берлин некая почтенная антропософка, старая его приятельница, которую за глаза он именовал «антропософской теткой». Нельзя

не поручиться, что эта «тетка», на которой он впоследствии женился и которая опекала его и заботилась о нем в последние годы его жизни, не была специально делегирована для увещевания «падшего ангела», для возвращения его на путь истины.

Белый приблизительно в эти дни стал по-серьёзному думать о возвращении в Москву и начал предпринимать некоторые конкретные в этом направлении шаги. Да он этого и не скрывал, и одна из его «неофициальных» мер касалась его небольших берлинских «архивов», хоть слово это звучит в данном случае слишком громко.

Он обратился ко мне с просьбой — ведь он всегда был во власти полунавязчивой идеи, что вот-вот по каким-то неведомым причинам лишится крова и очутится «на улице», — «временно» поставить в моей комнате, которую я снимал неподалеку от него у двух старых дев, — «небольшой», как он выразился, чемодан с бумагами.

В назначенный день и час два носильщика едва подняли огромный сундучище, обитый черной клеёнкой, из разряда тех, которые больше не существуют и с которыми, может быть, путешествовали наши бабушки. Сундук этот не закрывался и был до самого верха набит — лежащими в полном беспорядке — книгами, рукописями, посланиями поклонниц (как я мог убедиться, частично нераспечатанными). Вероятно, интуиция Белого, глядя на почерк, подсказывала ему, что эти письма «ни к чему»! Много бы я, кстати сказать, дал теперь, чтобы овладеть этим чёрным сундуком!

Формальности, связанные с возвращением на родину, оказались, однако, много более длительными и «бюрократическими», чем предполагал рвавшийся обратно Белый — рвавшийся, может быть, с меньшим пылом, чем тот, которым он был охвачен двумя годами раньше, чтобы выехать из Советского Союза,

где, по его же словам, его не понимали и опять-таки не предоставляли ему должного жилища.

Однако эта проволочка отнюдь не мешала ему по-старому длить берлинскую жизнь, не мешала издавать книгу за книгой (напомню, что в берлинском «изгнании» он выпустил 16 книг, из них девять были изданы впервые, а остальные он всегда так или иначе перерабатывал), не помешала составить для Гржебина увесистый том стихотворений, искажая первоначальные тексты, в большинстве случаев портя их. Хотя он в предисловии и указывал, что все, написанное им, «роман в стихах»; содержание же романа — искание правды с его достижениями и падениями — и читатель сам должен открыть содержание частей этого романа, но читатель оказался не так наивен, как думал автор, и не предпочел эти новые — изломанные и искривленные — варианты основным текстам. Поэтому его «стихотворный роман» приобретал совсем не то значение, которое хотел дать ему автор.

**
*

Сундук же по-прежнему стоял в моей комнате. Иногда Белый забегал ко мне, копошился в сундуке, что-то в нем искал, что-то уносил, но ничего более решительного не предпринимал.

Помню — но, может быть, я иногда путаюсь в хронологии, — что в это время был организован дружеский завтрак в честь Белого, в котором приняли участие Ремизов, Зайцев, Ходасевич, Муратов, Осоргин. Сытно покусав, по древнему русскому обычаю, все завтракавшие отправились к фотографу. Вспоминаю об этом завтраке именно потому, что фотография этой «группы обжор» уже несколько раз воспроизводилась в различных зарубежных изданиях.

Близилось новое, последнее берлинское лето. По инициативе, если не ошибаюсь, Зайцевых, решено бы-

ло провести его коллективно в небольшом (каюсь, препротивном и дождливом) балтийском местечке — Прерове.

Опять-таки, когда преровские «дачники» устремились туда, Белый очутился в Альбеке, лежащем также на балтийском взморье. Я усиленно звал его присоединиться к «перовитянам», и у меня сохранились в связи с этой летней резиденцией два письма Белого, извлечения из которых мне хотелось бы процитировать — не только из-за их весьма характерного содержания, но еще и потому, что, насколько я знаю, его писем пока опубликовано довольно мизерное количество.

В первом из этих писем он, между прочим, писал:

«Очень хотел бы пожить со всеми Вами; но — такова моя судьба, все устроились в Прерове, а у меня — нет пристанища; в виду того, что и в Берлине у меня пристанища нет, я не могу ликвидировать с моим альбекским пансионом, где у меня не комната, а закутка, в которой нельзя ни работать, ни сидеть; постоянно вытолкнут на люди; а люди, в конце концов, — чужие... Очень надеюсь переехать в Преров, хотя бы потому, что там свои, а здесь — не свои, с которыми вследствие отсутствия комнаты приходится целыми днями быть, что утомительно...».

А тремя неделями позже из того же Альбека он мне писал:

«Я не отвечал на Ваше милое письмо, последнее, потому что потерял Ваш след! Не знал, в Прерове ли Вы или еще в Берлине. Голубчик, у меня к Вам большая просьба-вопрос. Мои дела с Россией идут хорошо. Ремингтон тоже скоро кончаю. Так что, — думаю ехать уже в первых числах сентября. Меня очень озабочивает вопрос о квартирной комнате (сик!) в Москве. Из Москвы пишут, что к 15 сентября уже уплывет комната, которая в случае моего приезда до 10 сентября остается за мною. И стало быть: думаю ехать в самом начале сентября. Как быть с чемоданом и с книгами, которые у Вас — без Вас, если Вы еще долго остаетесь в Прерове? Часть книг хо-

тел бы оставить у Вас и лишь немного, «минимум» взять с собою... Как это все сложно. До понедельника сижу в Альбеке и больной, и без денег; еду в Берлин без всякого представления о комнате, даже негде пока переночевать... Очень хотел бы с Вами перед отъездом основательно побывать. Я Вам за берлинскую жизнь так благодарен; и, надеюсь, встретимся скоро — в России... Надеюсь, что перед моим отъездом мы проведем еще очень хорошие часы вместе. Осоргиным и Муратовым — сердечный привет. Зайцевым — тоже: передайте Вере Алексеевне, что это она меня отпугала от Прерова, куда я стремился всей душой...».

Отмечу тут, что оба письма написаны, как все, что Белый тогда писал, по старой орфографии.

**
*

Снова все мы — теперь, действительно, в последний раз — возвратились в «наш» Берлин, еще более нереальный, чем раньше — в Берлин, где счет велся уже не на тысячи, а на миллионы (впрочем, это уже роли не играло), в Берлин, из которого, кто только мог, собирался уехать. Белый свою визу должен был вот-вот получить, Зайцевы, Осоргин, Муратов держали курс на Италию, другие — на Прагу, многие, как и я, готовились к отъезду в Париж, где я уже жил до того. Я был вынужден ликвидировать свою комнату и на короткий, предъотъездный срок переехать в какой-то пансиончик, где уже обитал Осоргин и почтенный судейский деятель, поистине человек с «благоухающими сединами», Яков Львович Тейтель. По нашим стопам переселился сюда на короткий срок и Белый, и на этом переселении пострадал бедный Тейтель! Мы к Белому привыкли — для Тейтеля он был явлением и новым и не вполне понятным. Книги Белого он, конечно, читал, но Белый-человек был ему невдомек, он потом говорил, что, как он ни старался, расшифровать его так и не сумел. А человек этот —

сосед по коридору, — возвращаясь вечерами домой, не считаясь с временем, забегал к своему соседу «на огонек» и говорил, говорил о высоких материях, философствовал, не замечая, что у почтенного старика глаза слипаются от усталости и что он уже перестал что-либо понимать.

А сундук? Сундук Белому пришлось перетащить туда, где он долго до того находился. Бывшая пансионская хозяйка Белого сооблаговолила до поры до времени поддержать его, и кончилось это сундучное дело тем, что после отъезда Белого сундук попал в руки Ходасевича, который кое-какие ценные материалы из него извлек и хранил в своем архиве. О дальнейшей их судьбе мне неизвестно, но я имею некоторые основания предполагать, что то, что уцелело, стало достоянием одного из американских университетов.

**
*

«Из песни слова не выкинешь»... Вероятно, трудно было бы и, может быть, оказалось бы в известной мере неоправданной «лакировкой действительности», если бы под конец не упомянуть один прискорбный факт — проводы Андрея Белого в одном из скромных русских ресторанов Берлина. Ужин был как ужин до того, как — после известного количества рюмок водки — не начались традиционные речи. Белому желали счастливого пути, плодотворной работы, обретения спокойствия — словом, всего того, что в подобных случаях можно пожелать отъезжающему. Конечно, ни у кого не было на уме хоть как-нибудь попрекнуть его решением вернуться на родину и все речи были трогательными, теплыми, чуть минорными из-за того, что многие предчувствовали, что прощание это — навсегда.

Выступила в числе прочих и Вера Алексеевна Зайцева, жена писателя, знававшая Белого еще в его

студенческие годы и, кроме того, как «дочь профессора», пользовавшаяся его особым расположением. К «профессорским детям» он всегда был как-то «неравнодушен», он считал их своими коллегами. В несколько сентиментальной форме Вера Алексеевна говорила о том, как ей грустно предстоящее расставание, и закончила свое краткое выступление просьбой «не слишком ругать нас всех в Москве». Думала ли она только о присутствующих или вообще об эмиграции, в конце концов, несущественно. Белый — это было так для него характерно — при этих последних словах словно загорелся. Отвечая Зайцевой, он заявил, что и в Москве останется другом и заступником всех нас и, может быть, несколько необдуманно формулировал свою мысль, указав, что за всех присутствующих на этом немногочисленном банкете он «всегда готов будет пойти на распятие».

Почему-то эти слова взорвали Ходасевича — хоть кто-то, а он должен был привыкнуть к беловской словесной гиперболичности — и он в довольно резкой и агрессивной форме, глядя в упор на Белого и повышая голос, заявил, что «посылать его на распятие» никто из нас не собирается.

По-видимому, какая-то «черная кошка» уже до того пробежала между двумя поэтами, потому что и реакция Белого на довольно бестактное по форме выступление Ходасевича была неестественно остра. Он буквально обрушился на Ходасевича, заявляя, что навеки порывает с ним всякие отношения.

Конечно, после этого инцидента проводы были сорваны, и участники их с тяжелым чувством разошлись по домам.

**
*

Меня могут спросить, почему я, хотя бы вкратце, не упоминаю о содержании тех разговоров, которые мне посчастливилось вести с Белым. Я и сам себе

склонен сегодня задать этот вопрос, тем более, что я отчетливо припоминаю различные беседы с другими, иногда чуть ли не слово в слово. Однако конкретно рассказать, о чем говорил Борис Николаевич, мне не удастся. Я думаю, что это происходит потому, что в разговоре (почти всегда — монологе) — в любом, застольном, во время прогулки или у него — он сразу успевал коснуться стольких тем и никогда не был «подчинен» одной определенной идее, не доводил ее до конца. Он перескакивал с серьезного на бытовое, и это бытовое становилось сразу серьезным, а серьезное нередко искривлялось какой-то гримасой. Слова его, как и мысли, словно расползались по спирали, удаляясь от точки отправления и часто к ней уже не возвращаясь. Кроме того, так уж он был «построен», что того, кто сегодня был его лучшим другом, он готов был назавтра ненавидеть. Было ли это двуличием? Подходит ли тут это слово? Нет, мне представляется, что в каждый данный момент он был предельно, но по-своему искренен, всегда верил в то, что говорил, верил в то, что писал, несмотря на то, что об одном и том же эпизоде в разное время мог рассказывать противоположные вещи.

Он неоднократно выступал в Берлине с докладами, часто на темы, которые он уже разрабатывал в своих книжечках о «кризисах» (кризисе жизни, кризисе мысли, кризисе культуры, составившими затем его сборник «На перевале»), углублял их и комментировал заново. Он принимал участие в многочисленных диспутах — почти всегда экспромтом. Красно речие его было удивительным, удивительно было и то, что он, собственно, пренебрегал классическими правилами ораторского искусства и «поржал» вокруг своей темы, нередко утомляя внимание слушателя, но не считаясь с этим. Говорить он мог без перерыва сколько угодно, без того, чтобы когда-либо запнуться, бесконечно, теряя понятие о продолжительности,

о времени, о той аудитории, к которой он обращается. Его выступления были всегда подобны бурному — грохочущему — горному потоку. То беспокойство, во власти которого он неизменно пребывал, бросало его из одной крайности в другую. Недаром он сам признавал, что всегда «горел в аду». С некоторой поправкой на то, что следует понимать под словом «ад», — думается, что это было действительно так, что по своему характеру он никогда не был счастлив, счастлив тем маленьким, хотя бы мещанским, счастьем, которое в какие-то моменты так необходимо каждому. С юношеских лет до конца своих дней он, собственно, прошел по жизни — даже когда бывал окружен «толпой» друзей и псевдо-друзей — одиноким «чудаком», более чудаковатым, чем тот, которого он в лице Леонида Ледяного пытался изобразить в своей неудавшейся и трудно читаемой книге «Записки чудака».

Но я отклонился в сторону... После неудачного, оставившего у всех участников оскомину, прощального банкета прошло считанное число дней, и в ноябрьские сумерки (по беловской терминологии — в «умерки») на вокзале Цоо я стоял на перроне вместе с его издателем — Каплуном. Нас и было только двое. Когда «норд-экспресс» на Варшаву — Брест и дальше начал трогаться, я через окно крепко пожал ему руку, отчетливо сознавая, что это рукопожатие — последнее.

**
*

О его смерти — одиннадцать лет спустя — я узнал из газет. Но еще и теперь на моей книжной полке остался ряд его книг с нежными посвящениями. Одной из них по разным привходящим причинам я особенно дорожу, хотя знаю, что, вероятно, не менее трогательные надписи он делал куче других людей. Что из того? Мне дорог его сборник «После разлуки», на котором значится: «Дорогому и близкому Алек-

сандру Васильевичу Бахраху с искренней любовью. Андрей Белый. Берлин. 1922 года. Ноября 8-го». Это посвящение очень причудливо разбросано по заглавному листу, а часть его написана столбиком наподобие китайской грамоты.

БАХРАХ Александр Васильевич — литературный критик. Родился в 1902 году. Работал в газетах «Дни», «Русские новости», печатался в ряде зарубежных русских изданий: «Новой русской книге», «Новоселье», «Стругах», «Орионе», «Мостах» и других. В годы войны жил у Бунина в Грассе и был его личным секретарем.

В следующем номере

Василий Гроссман — Главы из нового романа

Лия Владимирова — Стихи

Эфраим Севела — «Легенды Инвалидной улицы»

Марат Векслер — Стихи из цикла «Песни ГУЛага»

Иосиф Богораз — «Наседка», повесть



Евгений Терновский — Путем истины. Полемика вокруг сборника «Из-под глыб»

Абдурахман Авторханов — Закулисная история пакта «Риббентроп — Молотов»



Юлиуш Мерошевский — Российский «польский комплекс» и территория УЛБ (Украина, Литва, Белоруссия)



Леопольд Лабедз — Судьба писателей в революционных движениях

Петр Равич — «С похмелья» (Дневник «контрреволюционера»)

Эжен Ионеско — «Лысая певичка», пьеса



Николас Бетелл — «Последняя тайна» (Насильственная выдача русских в 1944 - 1947 годах)

Кардинал Миндсенти — Мемуары (окончание)

Бруно Калниньш — Борьба за демократию должна быть общей целью

ИСТОКИ

Франц Варкони - Лебер

«ПОКА ОДНАЖДЫ...»

Договорим: «пока однажды не вспыхнуло восстание».

Описание восстания заключенных Кингирского лагеря, продолжавшегося с 15 мая по 27 июня 1954, — самое главное в книге его участника, венгерского врача Франца Варкони. Это восстание было следствием бунтов на Воркуте и, в свою очередь, вызвало аналогичную вспышку в соседних Джезказганских лагерях. Это восстание сыграло свою роль в крушении империи ГУЛага, в «борьбе с культом», в том лозунге «соблюдайте вашу собственную конституцию!», которым началось освободительное движение.

Книга Варкони — еще одно свидетельство о том, что «архипелаг ГУЛаг» был свернут не по доброте душевной, а в силу необходимости. Забастовки и восстания отчаянья, прокативши-

еся по лагерям в 1953-54 годах, выразили эту необходимость.

И мы благодарны Варкони за то, что он вписал в историю этих восстаний имена бравшего Берлин полковника Кузнецова и Анатолия Задорожного, возглавивших заключенных Кингира.

Варкони провел в лагерях десять лет (1945-1955), и его книга рассказывает не только о восстании. Вся первая половина ее — зарисовки того, что он видел и чувствовал в лагерях. Это фон. Это то, что толкнуло к восстанию. Это всегда полное искренней жалости и сочувствия описание судеб тех, с кем ему пришлось жить и кого он лечил в лагерях. Но это и запись переживаний, иногда литературно беспомощная (Варкони не литератор, а врач), но иногда неожиданно потрясающая:

«Запахи! Боже мой, запахи! На языке, в глотке, во чреве бьющиеся, унижительные запахи! Не просто и не только вонь, нет, много хуже — запах гноящихся выбросов иссыхающего желудка, кишечника, десен...». «Запахи! Ты думаешь, это только от соседа воняет, а ты уже и сам разлагаешься, как забитая на смерть сука».

Книга Варкони — всего лишь одно из многих десятков свидетельств. Лишнее, может быть?

Но ведь если считать, что довольно «Архипелага», то можно посчитать (вместе с

партией), что довольно и «Одного дня Ивана Денисовича».

Нет, не довольно. Ибо, по выражению Солженицына, каждая книга о концлагерях — только «щель смотровая на Архипелаг, не обзор с башни».

А нужен полный обзор. О Кингире и Джезказгане такой же, как о Треблинке и Освенциме.

И печатая в русском переводе отрывок о восстании в Кингире, мы надеемся, что книга «...ПОКА ОДНАЖДЫ...» скоро выйдет целиком, самостоятельной книжкой и в переводах на многих языках.

«...пока однажды...»

Смерть Сталина застала Варкони в политизоляторе в Кингире по обвинению в подстрекательстве к убийству стукача. С этого и начнем.

**
*

В начале марта все вдруг переменялось: притихли дежурные сержанты в коридорах, перестали по-хамски хлопать дверями камер. Вопли обреченных на смерть и избиваемых смертным боем не нарушали более тишину кингирского политизолатора.

8 марта 1953 года всех повели в баню. В предбаннике нас ждал волосатый молодой парень, с ходу начавший со слов:

— Усатый подход!

Мы смотрели один на другого. Нет, на такую дурацкую провокацию нас не поймает. Но парень все повторял:

— Подох... Подох... Усрался... шестого марта отдал концы...

В камере его сообщение взволнованно обсуждалось. Доводы за и против сменяли друг друга. Правда ли это? — вот что любой ценой нам хотелось узнать.

На следующий день Андрей Гуков стал проситься на допрос. Сержант отмахнулся от него: какие там допросы, когда в Кремле все вверх дном...

После обеда Андрей вскрыл себе вену осколком стекла, и его тотчас же унесли на носилках в больничное отделение (чекисты боятся попыток самоубийства). А на другой день он уже снова был среди нас с вырезанными из «Правды» несколькими строчками сообщения о том, что великого вождя и учителя нет больше в живых.

До конца апреля мы оставались в тюрьме. Но то была уже иная тюрьма. Предъявленные нам обвинения отпали. Нас перевели из политизолятора в БУР. Надзиратели «добродушно и дружески» обнадеживали нас, советуя подождать немного, совсем немного, и нас переведут обратно в лагерь, где все станет гораздо лучше, чем до сих пор. В стране намечаются большие перемены. С нарушениями советской законности будет скоро покончено, начинается новое время, лагеря будут ликвидироваться.

В первые месяцы после смерти Сталина еще чувствовался страх, но на это раз боялись чекисты; будущее внушало им опасения и тревогу. Необходимо было доказать, что органы еще понадобятся, и выдержать во что бы то ни стало испытания первого после сталинского периода. При всех обстоятельствах!

Как они его перекроют? Какой ценой?

— Задумывались вы уже о том, что можно сделать, чтобы не смотреть больше на эту стену? — спросил меня Кузнецов.

Он в третий раз пришел в амбулаторию, где я в это время практически занимал должность второго врача. Без оформления, понятно; после шестимесячного пребывания в следственном изоляторе право работать врачом было у меня отобрано; но мне признали инвалидность, а вольнонаемный врач, доктор Хайкин, относился ко мне хорошо и всегда находил основания привлечь меня к работе.

Кузнецов смотрел в окно, в то время как я крупными буквами вписывал диагноз в историю его болезни: «язва желудка».

Мне не нужно было отрываться, чтобы знать, что торчало у него перед глазами: в нескольких метрах от маленького больничного барака стояла каменная стена, отделявшая наш третий лагпункт от второго. Из другого окна тоже было видно стену — высота 8 м, толщина 60 см, — опоясывавшую весь комплекс; да и позади амбулатории проходила стена — вокруг изолятора, из которого меня недавно выпустили. Да и бараки, в которых мы жили, тоже были каменные.

— Вы думаете, что увидите меньше камней, если поносить стены? Весь Кингир — сплошной камень.

— Однако не крепость! Да и при крепости стоит пребывать только в двух должностях: командующего — обороной или осадой.

Я взглянул на него и поймал иронический проблеск в усмешке его узких серых глаз. Этот проблеск подчеркивал впечатление силы, исходившей от невысокой, но коренастой фигуры и лысой головы этого человека.

— Изнутри тоже можно вести осаду! — вырвалось у меня.

Вообще-то доверие к другому заключенному устанавливалось у нас не так скоро. И когда Кузнецов прибыл к нам несколько недель тому назад, мы в какой-то момент посчитали было его открытую манеру держаться за провокацию. Мы не сразу поняли, что это проявление его сути. Его унизили и оскорбили до самой глубины души, и он не мог теперь сдерживать ненависть. Кузнецов сходу покори́л наши сердца.

— Я тоже «покоритель Берлина», — смеялся он в ответ на выражение наших симпатий.

Он и в самом деле штурмовал Берлин. Он вошел туда во главе танкового полка и пять лет прослужил в составе советской оккупационной армии. В 1950 году его арестовали и осудили на 25 лет принудительных работ, обвинив в том, что он «хотел увести полк на Запад». В конце 1953 года, после трех лет скитаний по отечественным местам заключения, он прибыл в наш лагерь специального режима.

После этого разговора наша дружба с Кузнецовым окончательно закрепи́лась. Я пробыл уже пять лет в лагерях, когда его арестовали, и принадлежал к числу заключенных строителей социализма в Казахстане, когда он еще служил в составе советских оккупационных войск в Германии.

Подпольные группы были у нас в Кингире и до появления Кузнецова. Наш лагерь считался штрафным, и, начиная с 1952 года, сюда переводили из Экибастуза лишь особо строптивых заключенных. А в число специальных задач нашего начальства входила, без сомнения, и забота об установлении и изоляции еще и «опаснейших» из нас. В первое время оперуполномоченные пользовались для этого стукачами. Но западные украинцы, составлявшие около шестидесяти процентов заключенных в лагере, создали самооборону и в течение года перебили чуть ли не сотню стукачей. Когда в феврале 1953 года вышел закон о высшей мере за убийство в лагере, над целым ря-

дом «самооборонцев» провели процессы. В это время попал в изолятор и я. Мне приписывали, будто я отдал «приказ о ликвидации» выдвинутого из среды заключенных коменданта Ф. Его убили без моего участия, но это было трудно доказать, тем более, что люди слышали, как я возмущался его делами, от которых пострадал не один мой товарищ. Мое дело еще разбиралось, когда умер Сталин, и его смерть спасла мне жизнь. Вместе с другими подследственными меня выпустили через несколько недель после 5 марта.

Слишком явно радоваться смерти «Хозяина» никто, однако, в России не смел. Уже в июне 1953 года в лагерь привезли больше сотни только что осужденных эзков; все получили по двадцать пять лет за то, что в день смерти Сталина напились от радости.

Закон о высшей мере за убийство в лагере вышел, когда стукачи в Кингире были почти совсем уничтожены. Операм приходилось теперь «разоблачать» более активных заключенных с помощью провокаций. Самая крупная из них имела место весной 1953 года: один из стрелков охраны дал очередь из автомата в ряды возвращающихся с работы эзков, непосредственно у ворот лагеря и только «потому, что они нахальничали». Было шесть убитых и много раненых. На другой день в виде протеста мы не вышли на работу. Но уже через три дня забастовка прекратилась; нам обещали «покарать виновных».

Никто из охранников наказан, конечно, не был, но заключенных, осмелившихся выступить на созванном лагерным начальством собрании, всех поголовно вывезли. Как потом узналось, их отправили во Владимир и в Александровск, в старинные, еще царского времени тюрьмы и в изолятор в Крыму, называвшийся почему-то «американским». На место «зачинщиков» нашей кратковременной попытки забастовать в Кингир уже в ноябре 1953 года прислали штрафных

«зачинщиков» большой забастовки на Воркуте, и эти люди много помогли нам своим опытом. Тотчас по их прибытии мы начали готовить большую акцию.

«Наш лагерь похож на крепость, но сидящие в нем носят особую форму, — писал Кузнецов своей жене в письме, которое он надеялся отправить, минуя цензуру, — а для того, чтобы нас можно было отличать друг от друга, нам проставили номера на спине, на груди, на рукавах и штанинах. Встречая надзирателя, мы обязаны его приветствовать, но он не обязан нам отвечать, да и не отвечает. В лагере полно надзирателей, и у них нет другого дела, кроме как сажать нас в БУР, камеры в котором похожи на узенькие железные клетушки...».

Письмо, к несчастью, угодило-таки в лапы к оперу, и Кузнецову тотчас же была дана возможность лично ознакомиться с одной из описанных им камер. Обвинение гласило: «разглашение государственной тайны». Но до суда дело на этот раз не дошло.

Была середина апреля 1954 года. Недавно из Кингира отправился очередной этап, и в лагерь привезли новых заключенных. Им освободили первый барак, и на следующее утро они проходили медицинский осмотр. При виде первого же из шестисот появившихся новичков я едва поверил своим глазам: на груди у него была вытатуирована фиолетового цвета змея, на руках и спине — изречения. Ни малейших сомнений: это был уголовник.

— Ну, как тут на вашем курорте, в сральню тоже ходят с солдатом?

Второй, и третий, и четвертый тоже были блатные. С 1948 года, с тех пор как для политических завели специальные режимные лагеря, я их больше не видел. Наш лагерь не предназначался для них, и появление шестисот уголовников должно было иметь свою причину, тем более, что никто из них не сел

по пустяку. Значительную часть из них сразу направили в штрафной барак. Да и следственный изолятор уже на следующий день был переполнен. Остальные попали к нам, и через неделю с небольшим мы знали, зачем новичков завезли в Кингир.

Их пахан, Глеб, сказал однажды вечером Анатолий Задорожному:

— Опер вызывал к себе наших. Ему надо спровоцировать столкновения с политиками. И не зажимался, всякого-разного наобещал. Скажу только, чтобы вы знали: мы ему работать не будем.

Когда Анатолий, глава русской подпольной группы в нашем бараке, рассказывал мне об этом, его голос дрожал. И мне было вполне понятно его волнение. Как и я, Анатолий, тоже с конца войны сидевший по лагерям, помнил то время, когда уголовники были для нас едва ли не страшней конвойных, помнил драки с ними, и как они нас терроризировали. Ничего удивительного, что лагерное начальство считало верным делом напустить на нас блатных. Выявить в этих столкновениях руководителей подпольных групп и обезвредить их казалось им детской забавой.

Но лагерные верхи основательно просчитались. Узнать, как опасен был этот просчет, им пришлось очень скоро. Блатари 1954 года были уже не те, что в 1947-48-ом. Они тоже политизировались. Годы лагерей внесли политический элемент в среду тех, кого советская жизнь смолоду толкнула на путь преступности. Из личного неподчинения режиму выросло принципиальное его отрицание. Их пахан, Глеб, мог и сам служить в этом хорошим примером, даже если бы не прибавил на Воркуте к уголовной своей статье еще и статью 58/8 (политический террор). Кто знает, не носило ли уже политический характер убийство, совершенное в одном из гарнизонов восточной зоны Германии им — окончившим институт иностранных

языков молодым офицером армии Жукова? В Кингире во всяком случае, несмотря на полосатую тельняшку, завернутые голенища и цветистый мат, Глеб вел себя именно как политический заключенный. С первого же дня между его ребятами и нами не почувствовалось никакой неприязни.

— Мы вас поддержим, — заявил Глеб руководителям лагерного подполья.

Действия шестисот новоприбывших были вработаны в план намечаемого восстания. Именно его люди и должны были начать.

**
*

15 мая. Воскресенье. Хорошая погода. Без всякого перехода лето сменило зиму. В Кингире не бывает ни весны, ни осени. Просто ветер больше не ледяной, через пару недель он станет знойным, но дуть он здесь будет всегда.

После обеда на втором лагпункте назначен концерт; известие об этом моментально облетело лагерь. Блатные Глеба решили пойти. Они вынули большую чугунную трубу из бани. Двадцать или тридцать человек направились с ней к стене, к тому месту, где были раньше ворота. Их потом замуровали, но стена в этом месте тоньше. Вскоре раздались ритмические удары.

Я после не раз спрашивал себя, почему надзиратели и охрана ударились в такую панику и разбежались, но когда блатные полезли в пробитое отверстие на территорию второго лагпункта, их как метлой смело. И концерт, конечно, не состоялся.

Между тем, банная труба пошла в дело у задней стены нашего лагпункта! Ребята Глеба вместе с нашими проламывают ворота на двор изолятора. Около шестисот арестованных — четыреста в изоляторе и больше двухсот в БУРе — выходят на волю. В числе

первых освобожденных — Кузнецов. Само собой разумеется, ему командовать политическими.

Украинцы массами бросаются теперь на стены. Ворота на хоздвор проломлены. Все кидаются теперь к стене, к восьмиметровой крепостной стене, опоясывающей женский лагерь. Меньше чем за час люди одолели ее, и три с половиной тысяч женщин в первый раз за многие годы — на одной территории с нами.

Настала ночь и снова день. Офицеры покинули лагерь; надзиратели у нас под арестом. Наши люди охраняют их точно так же, как продуктовые и вещевые склады. Мы наслаждаемся своей победой. Но снести внешние ворота и выйти вон из лагеря нам еще не приходит в голову, хоть в эти первые полтора дня это было, пожалуй, возможно. Лагерное начальство и МВД в растерянности, к лагерю еще не успели стянуть войска. По видимости ничего не происходит перед лагерем, но это лишь затишье перед бурей.

Было три часа ночи с понедельника на вторник; никто не спал. И все слышали походный шаг, застучавший внезапно перед всеми тремя воротами лагеря: войска МВД! Они ревели, кидаясь на нас, разгоняя нас штыками и прикладами. Вскоре из глинобитных строений женского лагеря раздались первые выстрелы; им надо было в первую очередь выгнать оттуда мужчин. К утру они вытеснили нас с хозяйственного двора; на стенах между двором и вторым лагпунктом расположились стрелки с автоматами.

Управление постаралось в течение той же ночи убрать из лагеря раненых. Убраны были и трупы шестидесяти или семидесяти заключенных, убитых во время штурма. Раненых увезли за двадцать три километра в Джезказган, центр медных рудников, но в тамошнюю зону их выпустили только через несколько месяцев, а до того держали в тюремной больнице, чтобы они не могли ни о чем рассказывать.

Такая опасливость кингирского начальства понятна. Вступление воинской части на территорию исправительно-трудового лагеря допустимо лишь с разрешения центрального ГУЛага. Такое разрешение не было затребовано. Расправа была совершенно произвольным актом местной власти и могла обойтись ей недешево. Мы знали это и на другой же день начали бастовать под лозунгом «покарать виновных в незаконной посылке войск в лагерь». Мы требовали выдачи трупов, их вскрытия вольнонаемными и заключенными врачами в доказательство того, что они были убиты войсками, а не при каких-либо столкновениях между заключенными, как это, без сомнения, будет утверждаться потом.

Чекисты, явившиеся в лагерь, чтобы уговорить нас выйти на работу, обещали все, что угодно. Они обещали, что заключенных ни в коем случае не будут вывозить из лагеря. Они торжественно заверяли, что привезут к нам в лагерь прокурора, который выслушает наши жалобы. На основании их обещаний руководители подпольных групп дали указание о выходе на работу. После трех дней забастовки.

**
*

Рабочие бригады вышли из лагеря. Я беспокоюсь в амбулатории, не доверяя обманчивому умиротворению. В зоне снова спокойно, в бараках только уголовники, не успевшие получить номеров и не выходящие поэтому на работу. Кузнецов получил свою прежнюю должность в бухгалтерии и, наверно, пытается сбалансировать нам приличные пайки, несмотря на потери рабочего времени. У него немалый талант закрыть процентовку так, чтобы людям досталось как можно больше.

Едва я выхожу во двор, он бросается мне навстречу:

— Федя, они нас надули! Смотри, что они делают!

Я тоже вижу: из первого барака гонят глебовых блатарей. Надзиратели волокут их к воротам.

Ясно, что их вывозят.

— Глеб где-то спрятался, и многие другие тоже. Беги, скажи, чтобы включили сирену. Они там, снаружи, должны прекратить работу!

Кингир у нас модернизирован; традиционный рельс, по которому били железкой, уже несколько лет как заменен фабричной сиреной, командующей нам подъем, выход на работу, отбой и четыре ежесуточных поверки.

Через несколько минут сирена воет. Затем еще и еще раз. Там снаружи, на стройке, поймут, наверно.

Большинство заключенных Кингира работает на стройке. Это они воздвигли металлургический завод, восемь и десять этажей в высоту и с фундаментами до двадцати метров в глубину. Четырнадцать цехов уже закончены, но работы еще продолжаются. Выплавка меди, очистка золота и платины производятся вольными. В первый раз за десять лет моего пребывания в Казахстане я видел здесь, что не зэки, а вольнонаемные или, по меньшей мере, отбывшие срок заняты непосредственно на работе. Обычно они — либо надсматривающий, либо руководящий персонал. И тем не менее, Кингирский завод тотчас же останавливается, если мы бастуем, так как подача руды на завод обеспечивается заключенными. Они же строят дома для вольняшек, проводят водопровод, запускают электростанцию и мостят улицы. Без них жизнь в Кингире останавливается, хотя население города достигло уже тридцати пяти тысяч человек.

Сирена все еще воет, но зэки не возвращаются в зону. Вместо них снова появляются солдаты. Они чинят стены. К вечеру старые входы снова замуро-

ваны, а железные створки ворот на двор изолятора снова подвешены на место. На разделяющих лагпункты стенах опять воцарились пулеметчики. Все подготовлено к возвращению рабочих бригад.

Работяги, услышав сирену, сразу стали было собираться обратно в лагерь, да не пустил конвой. Работа, однако, прекратилась, люди праздно просидели до вечера. Все это только усилило возмущение при возвращении в лагерь. Восстание поднялось вновь, причем с удвоенной силой.

Четырнадцать представителей различных группировок и национальностей из мужского лагеря и одна представительница женского вошли в общелагерный комитет, возглавивший теперь действия заключенных. В первую очередь он выработал шестнадцать требований для вручения представителю ЦК партии, и только ему. Комитет стал решающей властью на всей территории лагеря. Стены проломили снова: на этот раз во многих местах. Гебисты и надзиратели опять разбежались, не дав ни одной автоматной очереди. На работу никто больше не выходит. Мы требуем теперь:

- амнистии для несовершеннолетних и инвалидов;
- пересмотра дел;
- перевода лагеря с особого режима на общий;
- снятия номеров; снятия решеток с окон барачков; права чаще писать домой;
- зачета рабочих дней до семи дней за один рабочий;
- репатриации иностранцев;
- восьмичасового рабочего дня;
- повышения заработка;
- свободного выбора места жительства по выходе из лагеря;

- ненаказуемости для членов забастовочного комитета;
- пересмотра дел весны 1953 года и наказания чекистов, виновных в превышении карательных мер.

Общелагерный комитет заседал в бараке № 1 в бывшей женской зоне. Вместе с Кузнецовым, Глебом, Анатолием, украинцами и мусульманами заседает крупная седая женщина, избранная в комитет от женского состава. Она провела уже 18 лет в местах заключения и принадлежит к набору 1937 года. Она, пожалуй, первая представительница женщин в лагерях и сознает это.

— Внимание, внимание! — загремели, наконец, мощные громкоговорители: управление распорядилось поставить их на вышках вскоре после начала восстания, — представители из Москвы прибыли для переговоров с вами! В три часа пополудни они явятся в лагерь!

Сообщение исходит из здания лагерного управления, расположенного в нескольких сотнях метров от ворот. Оттуда ведется руководство действиями наших противников.

Задолго до назначенного часа двор второго лагпункта переполнен до отказа. Перед столовой стоит большой стол. За ним сидят Кузнецов и часть лагерного комитета. Здесь же чуть подаль, окруженные заключенными третьего лагпункта Анатолий и остальные члены комитета ждут второго представителя Москвы. По радио сказали, что одновременно будут проводиться два собрания. Женщины распределились по обоим дворам.

Точно в три часа по четыре человека идут к воротам. Они должны встретить московских представителей, которые явятся без охраны. Да вот и они! Золотые галуны мундиров и ордена поблескивают на солнце.

— Заместитель генерального прокурора, генерал Долгих, — произносит один из них, садясь рядом с Кузнецовым за стол второго лагпункта.

— Заместитель начальника ГУЛага, генерал Бычков, — произносит второй и садится рядом с Анатолием Задорожным.

Полная ожидания тишина воцаряется над обоими собраниями. «Как на Красной площади перед парадом», — шепчет кто-то. Затем встает генерал Бычков, достает из портфеля какие-то бумаги и откашливается.

— Вы поставили тут ряд требований, в некоторой части справедливых, настолько справедливых, что правительство исполнило их уже до того, как они были поставлены.

— Что он несет, — спрашивает рядом со мной какой-то украинец, — пьяный он, что ли?

— Вот здесь у меня постановления, принятые нашим правительством в апреле этого года. Прошло всего лишь несколько недель, и они могли не дойти еще до Кингира. Но будьте уверены, они будут выполнены, — генерал перелистывает папку и показывает бумагу. — Вы требуете освобождения малолеток, независимо от их статей. Вот постановление от 24 апреля 1954 г., в котором это уже решено. Вы требуете амнистии для инвалидов, — Бычков достает другую бумагу, — престарелые и больные з/к могут, по ходатайству лагерного управления, быть представлены к условному освобождению. Тоже постановление от 24 апреля 1954 г. — Вы требуете восьмичасового рабочего дня, — Бычков снова размахивает бумагой. — Вот и он. При добросовестной работе снова вводятся зачеты, в том числе и для тех, кто осужден по статье 58-й. Вот, пожалуйста, постановление об этом. Семь дней за день работы, правда, не предусматривается, но все же три за день. А это значит, — если я не ошибаюсь, — что большинству из вас совсем недолго до

освобождения! Будьте же разумны и не лишайте себя всех этих льгот, бунтуя против лагерного управления!

Почти слово в слово то же говорит в своей речи на втором лагпункте генерал Долгих.

— У товарища Кузнецова хватит ума рекомендовать вам это, — добавляет он, бросая короткий испытующий взгляд на героя Берлина.

— А что с другими требованиями, — звучало в начавшейся после речей генералов дискуссии, — как с пересмотром дел? с наказанием виновных в кровопролитии? со смягчением режима? Когда решетки-то с окон снимете?

— Об этом поговорим, — отвечали, — начиная с сегодняшнего дня, мы готовы в любое время вас выслушать. Завтра можете уже подавать на пересмотр, и мы гарантируем, что ваши дела будут рассматриваться в срочном порядке.

— А когда приедет представитель ЦК партии? — исхудавшее тело Анатолия подтягивается, точно он собирается нанести удар, задавая этот вопрос.

— Вы думаете, ЦК может всем заниматься, — отвечает начинающий уже сердиться Бычков, — а кроме того, нас всех назначает ЦК; меня точно так же, как генерала Долгих и начальника вашего лагеря Чечова! Кого вам еще надо!

— В этом лагере пролилась кровь, — голос Анатолия становится острым, как нож, — мы требуем справедливости!

— Ваши стрелки вошли в лагерь, гражданин генерал, — выговаривает не так громко, но так же непреклонно Кузнецов на втором лагпункте. — Семьдесят человек убито и несколько сот ранено. Мне кажется, что Центральному Комитету следует знать об этом.

— Обдумайте все это! — голос генерала начинает звучать угрозой. — Мы придем еще раз вечером, и ваша судьба будет зависеть от вашего ответа.

С чувством собственного достоинства гости удаляются. Молча, как и во время их выступлений, люди раздвигаются, чтобы дать им пройти вместе с сопровождающими. Но едва они успевают исчезнуть за воротами, как на площади поднимается гвалт. Оживить у эков надежды хватает любой параша, а тут заговорили генералы!

— Слышали, будет амнистия, и для нас будет!

— Сокращение сроков, зачеты один день за три, этак я через полгода выйду!

— А я через год, а то три просидел бы!

— А если они нас обманывают?

— Не могут! Ведь тут закон.

— Эх, вы, недотепы: закон? Чего у нас только нет в законах, а что исполняют? — Это голос бывшего воркутянина.

— Заключенные поручили лагерному комитету сообщить вам, гражданин генерал, что они настаивают на своем требовании вести переговоры только с представителями Центрального Комитета партии. До прибытия такового мы не намерены приступить к работе. — Это заявление Кузнецов и Анатолий вручили вновь появившимся к вечеру сановникам. — Это наше последнее слово.

И все же управление лагеря и представители Москвы не сразу расстались с надеждой изменить наше настроение. На следующий день, опять по громкоговорителям, вызвали к воротам 180 малолеток, объявив, что их будут освобождать.

Но на самом деле из их числа выпустили только тридцать человек, а остальных перевели в расположенную неподалеку от Кингира трудовую колонию и снова вывели на работу. Оставшиеся малолетки оказались покинуть лагерь. Инвалидов, и в первую

очередь туберкулезников, также начали было вызывать из лагеря и освобождать после краткого судебного разбирательства. Но едва лишь около пяти процентов наших инвалидов успели пройти через эти суды, как акция прекратилась. Наибольшее впечатление произвели работники прокурорского надзора из Алма-Аты, Караганды и других городов Казахстана, прибывшие в лагерь и допросившие заключенных об имевшем место кровопролитии. Они снимали даже следы, оставшиеся от побоища, и заверяли нас, что виновные уже арестованы и находятся под следствием.

— Держитесь и не уступайте, — шепнул нам один вольный врач, — им придется сделать доклад Центральному Комитету.

И мы держались.

**
*

Может показаться странным, почему мы с таким упорством настаивали на требовании вести переговоры непременно с представителями ЦК. Разве нам не было совершенно все равно, говорим ли мы с представителями ГУЛага, МВД или с представителями ЦК? Неужели последние и в самом деле признали бы за нами больше прав?

С основанием или без основания, но мы были убеждены, что МВД хотело бы скрыть от ЦК факт нашего восстания. В этом убеждении, может быть, было и кое-что от прежней мужицкой веры «батюшка-царь не ведает, что его опричники творят», но решающим оказалось, конечно, ощущение, что возникающие трения между аппаратом партии и чекистами можно обыграть в нашу пользу. Быть может, Центральный Комитет захочет выступить в отношении к нам в роли доброго барина, призванного милостиво защитить права жертв местных перегибов. Тем бо-

лее, что с тех пор, как прилетели представители МВД, наше начальство перестало появляться. Оно наблюдало за нами, агитировало и угрожало, но все это издали, не вступая в зону. Чечов, начальник лагеря, вообще не показывался.

После того как мы решительно отказались приступить снова к работе до тех пор, пока в Кингир не прибудет представитель ЦК, и примерно в то же самое время, когда работники прокуратуры собирали сведения о недавнем кровопролитии, МВД стало стягивать к Кингиру свои специальные части со всего Казахстана. Две тысячи человек такого спецбатальона окружили наш лагерь тремя концентрическими кругами. Но они тоже пока не двигались.

Эта молчаливая осада продолжалась целых сорок дней, ровно до тех пор, пока органы МВД не собрали материал, достаточный, чтобы получить из Москвы разрешение на кровавое подавление восстания вооруженной силой. Мы поняли это только потом.

Управление лагерем было теперь в руках общелагерного комитета. Под руководством Кузнецова все было организовано самым тщательным образом. Каждый барак подчинялся своему коменданту, хоздвор мы охраняли сами, наблюдая за тем, чтобы предназначенные для вольных склады сохранялись в неприкосновенности. Наши собственные резервы тоже были под охраной, и пайки не были увеличены. Позднее, когда запасы стали подходить к концу, их пришлось даже уменьшить, и никто не протестовал против этого. Ларек продолжал торговать и вольнонаемная кассирша каждый вечер приходила в лагерь, чтобы забрать выручку. У ворот ее встречала наша охрана, и она же пропускала ее обратно. На дворах под открытым небом стали регулярно идти богослужения. В лагере нашлись священники различных исповеданий: католики, православные, униаты сменяли друг друга. Мусульмане молились в своем особом месте

в третьем лагпункте, а многочисленные свидетели Иеговы получили собственный барачек. С ними у нас было много хлопот, потому что они считали, что любое сопротивление государственной власти есть неподчинение Богу. Эти иеговисты были почти все родом из Бессарабии или Молдавии и резко отличались от не менее многочисленных русских сектантов, без оглядки поддерживавших любое сопротивление.

Женщины, работавшие в парниковом хозяйстве тут же, за лагерем, приносили цветы и ставили их в покойницкой, в которой лежало еще несколько жертв перестрелки 16 мая. Другие занялись изготовлением флагов, которые мы затем вывесили на всех трех лагерных столовых. Это были флаги Красного Креста: красный крест и полумесяц на белом поле. В знак траура о наших павших мы обшили эти флаги широкой черной каймой.

Как во всех концлагерях Советского Союза, в каждом бараке Кингирского лагеря имелся громкоговоритель. Приемник был на втором лагпункте в специальной будке; его обслуживал теперь мой приятель Саша. Мы пользовались этой установкой для того, чтобы с той же мощностью отвечать на ежедневные нападки лагерного управления, передававшиеся по громкоговорителям на вышках. Это была, пожалуй, единственная связь с внешним миром, и она привела к тому, что в начале июня у нас появились любопытные посетители. Вольному населению Кингира разъясняли, будто в лагере сплошная поножовщина, будто ограбление и изнасилование у нас в порядке вещей и будто мы представляем собой страшную опасность для города.

— Пришлите делегацию в лагерь, и вы сами увидите, как мы живем! — кричали мы по радио, обращаясь к жителям города.

И они действительно явились. Группа инженеров, мастеров, строителей и каменщиков состроек и пред-

приятий, на которых нам приходилось работать, прошла по баракам, выслушала разъяснения лагерного комитета и ушла успокоенной. Рабсила, без которой они не могли выполнять планы, по-видимому, сохранилась.

— Не слушайте Кузнецова! — агитировали нас между тем с вышек, — он предатель! Он осквернил орден Ленина и другие ордена, которыми наградило его правительство, запятнал честь советского офицера! Он хотел продать наши танки американцам и англичанам! Идя за Кузнецовым, вы участвуете в антисоветском мятеже!

— Да здравствует советская конституция! Долой проходимца Берия и тех, кто думает продолжать его дело! — отвечали мы по распоряжению Кузнецова, объяснявшего на собраниях, что добиться успеха можно только с позиций внешней лояльности.

— Им нельзя давать повода объявить нас антисоветчиками, — говорил он, — а кроме того, было бы и в самом деле достаточно провести в жизнь то, что записано в Конституции СССР, чтобы освободить всех нас! — И наши люди писали те же лозунги на стенах наших столовых.

— Женщины! Что вы имеете общего с преступниками, — вопили громкоговорители на вышках, — подумайте о ваших детях и матерях, которых вы больше не увидите, если не приступите снова к мирной работе.

— Жены чекистов! Не стыдно вам жить с убийцами? — отвечали женщины с нашей стороны.

Иногда радио прибегало к приманкам:

— Анатолий Задорожный может освободиться, его срок истек! Если он сейчас явится, может получить чистый паспорт.

Анатолий, теперь комендант нашего барака и влиятельный член общелагерного комитета, отсидел ровно десять лет. Пребывание в лагере совершенно

расстроило его здоровье, и это было бы — видит Бог — достаточной карой за то, что в свое время он сражался на стороне немцев. Анатолий пошел тогда воевать не против родины, но против диктаторского режима, гибели которого он страстно желал. Только во имя этого он согласился надеть немецкую военную форму. И этот антинародный режим он ненавидел теперь еще больше. Когда тяжелобольным он попал ко мне в больницу, он еще раз поднялся с постели, чтобы наскоро закрыть процентовку своей бригады и обеспечить своим товарищам правильную выплату содержания. Общие интересы он всегда ставил выше личных. Меня не удивило поэтому, когда на приглашение лагерного управления он ответил:

— Явлюсь, как только мои товарищи добьются победы.

А ведь «чистый паспорт» так много значит для заключенного! С таким паспортом он мог бы прямо из лагеря ехать куда захочет, хоть в Москву, хоть в Ленинград. Нормально он не получил бы вообще никакого паспорта и должен был жить под надзором в Кингире или каком-нибудь другом, не менее глухом месте, или получил бы паспорт с «минусами», то есть постоянно находиться на расстоянии не меньше ста километров от больших городов.

Мы слепили из бумаги огромный воздушный шар, вовнутрь которого поставили большие свечи и зажгли их. «Мы требуем вмешательства ЦК!» написали мы красными буквами на шаре, который медленно поднимался над стенами лагеря и приземлился примерно на 300 метров дальше, в Кингире. Конвойные с опаской смотрели на это чудище и лишь с трудом удерживались, чтобы не дать по нему очередь из автомата. Но им было еще запрещено стрелять.

Шоферы и расконвоированные заключенные с малыми сроками, жившие непосредственно рядом с лагерем, разнесли молву о нашей забастовке вплоть

до медных рудников Джезказгана. Они же сообщили нам в один прекрасный день, что большая часть тамошних заключенных тоже забастовала.

Я мог хорошо представить себе настроение в Джезказганском лагере. Я знал этот лагерь. В 1948 и 49 годах я работал на медных рудниках и пальцем левой руки заплатил за честь соучаствовать в выходе Казахстана на первое место в СССР и на второе место в мире по производству меди. По десять часов в сутки я грузил медную руду в заложенных еще англичанами страшных медных рудниках ПАКРО, в которых серо-зеленая пыль висит все время в воздухе, подобно облаку, и в течение, в лучшем случае, трех месяцев разрушает легкие заключенных. Это облако не успевает разойтись, потому что время, в течение которого вольнонаемные подрывные команды взрывают камень, ограничено двумя часами. Это время лежит между сменами, и бывает, что еще идут взрывы, когда ночная смена заключенных уже начинает работать. Тот, кто, попав на рудники ПАКРО или ПЕТРО, не погиб от туберкулеза, гибнет при взрывах или авариях, которые там в порядке вещей.

10 июня четырнадцать тысяч заключенных первого и почти половина второго «каторжного» лагеря строгого режима начали забастовку. На вопрос об их требованиях ответ был: они те же, что у кингирских заключенных.

Как и мы, они тоже сначала поддались было на обман лагерного начальства и вышли на работу, но затем снова забастовали.

— На медных рудниках уже приступили к работе, — объявило нам радио, и, с целью убедить нас, четверем представителям нашего лагерного комитета предложили поехать в Джезказган. Но им смогли показать только одну шахту. Как мы узнали впоследствии, в нее направили триста расконвоированных добровольцев, чтобы обмануть нас.

— Кингирские мятежники — англо-американские наемники! — разъясняли, между тем, заключенным Джебказгана.

Но и они прекратили забастовку только через два дня после нас, когда узнали о расправе над нами.

*
**

— Федя, нам нужна радиостанция, — сказал мне Кузнецов в начале июня.

— А что мы будем с ней делать?

— Мы обратимся к международному Красному Кресту. Ты же знаешь азбуку Морзе.

— Мне осталось три месяца до конца срока. Надо мне еще 25 лет? Радиосвязь с границей им меньше всего понравится.

Но тем не менее, дело пришлось сделать. Мой друг Саша смонтировал передатчик с помощью частей рентгеновской и другой медицинской аппаратуры. Саша учился в техническом институте в Грузии. В 1950 году он высказал в приятельском кругу предположение, что Берия связан с границей, возможно с Англией, и получил за это двадцать лет. Берию уже расстреляли по этому обвинению, а Саша все сидел и сидел.

Мы поставили передатчик в хорошо замаскированном углу второго барака женского лагеря. Кроме трех членов комитета, никто не знал, где он находится и кто на нем работает. Кузнецов отыскал литовца, которого я научил английской азбуке Морзе, и мы постепенно стали круглые сутки передавать на коротких волнах наши требования и просить о поддержке. Передатчик был слабым, но, по нашим расчетам, прием за пределами Казахстана был все же возможен. Со временем мы собирались построить более мощный.

Мы конструировали радиопередатчик, а другие строили баррикады на случай появления карателей. На нашем третьем лагункте мы забаррикадировали всю зону. Но мы не рассчитывали на танки, мы думали только о пехоте. Женский лагерь, в особенности «штабной» барак, в котором устроился комитет, мы оплели колючей проволокой. Кузница работала день и ночь, выковывая холодное оружие. Железные решетки, которые мы снимали с окон бараков, служили для этого материалом. Под руководством Кузнецова изготавливалось и нечто вроде ручных гранат. Уже задолго до восстания мы проносили в лагерь взрывчатку, теперь ее укладывали в бутылки, которые могли взрываться.

Над лагерем все время кружили самолеты-наблюдатели. Поскольку оружие ковалось совершенно открыто, они могли даже фотографировать эту работу.

— Берегитесь! — вещало нам радио управления лагерем, — нам придется перебить вас всех до последнего!

— Бояться нам больше нечего, и мы взорвем себя скорей чем сдадимся! — отвечали наши, не веря, однако, угрозам.

Под предлогом, будто заключенные собираются взорвать город, началась эвакуация Кингира. Отношение к нам населения не было враждебным. Оно состояло на добрых шестьдесят процентов из бывших эков и отлично понимало нас. Когда людей стали понуждать эвакуироваться, они постарались предупредить:

— Против вас что-то готовится. Будьте начеку!

Но лагерное начальство сообщало нам об этом и само.

— Если до 24 июня вы не выйдете на работу, лагерь будет занят войсками, — регулярно объявляли громкоговорители на вышках, начиная уже с сере-

дины июня. — Кингирский лагерь закроем, а вас отправим на Колыму.

Это значило, что на станции Кингир уже приготовлены составы, чтобы перевезти нас на дальний северо-восток. Колыма? А почему это хуже?

Никто в лагере не собирается сдаваться, никто не думает о том, чтобы идти на работу, не добившись удовлетворения нашего требования о приезде представителя ЦК. Не пожелавшие оставаться с нами, покинули лагерь в первые же дни восстания. Мы сами настаивали на том, чтобы они приняли предложение начальства явиться к воротам лагеря. Их оказалось человек полтора — двести. Их разместили по стройкам, на которых они работали.

Мы форсировали теперь нашу подготовку к сопротивлению. Мы должны хорошо подготовиться на случай, если они выполнят свою угрозу, и продать свою жизнь и свободу как можно дороже. При этом налицо уже первые разногласия. Галичане хотят вырваться силой из лагеря, соединиться с восставшими в Джезказгане и вызвать мятеж заключенных по всему Казахстану. Кузнецов и другие русские с трудом удерживают их от этой самоубийственной затеи. Кое-кто из украинцев, ранее охотно подчинявшихся решениям русского большинства в комитете, склонны считать их теперь чуть ли не врагами. Но в конце концов здравый смысл большинства заключенных берет верх, и мы продолжаем нашу мирную и дисциплинированную борьбу.

**
*

Ночь с 24 на 25 июня проходит спокойно. Неужели Бычков и Долгих не решатся скоординировать атаку? Но затем наступает 26 июня.

Весь день я просидел за передатчиком, вечером меня сменяет Юрий Михайлович. Я возвращаюсь к себе, на третий лагпункт.

Ольга ждет меня. Вокруг нас чудная ночь. Мы держимся за руки и радуемся, что можем без помех побыть вместе. Это не часто случается в жизни эков.

С вышек раздается музыка. Они часто проигрывают нам пластинки, заглушая наши громкоговорители. Обычно это нас раздражает, но сейчас песня подходит к нашему настроению. Мягкий тенор прочувствованно поет об идущей по полю девушке с русыми косами...

Вдруг песня обрывается. Должно быть, около трех часов ночи.

— Послушай, не Бычков ли это? — спрашивает меня Ольга.

Да, это его голос. Я узнаю его сразу, хоть от бывлой льстивой доброжелательности в нем не осталось и следа.

— Внимание! Внимание! — резко раздается со всех вышек, — в лагерь входят войска! Я приказываю всем выйти из бараков! — И едва он заканчивает эту фразу, как лагерь охвачен ярким светом. На другой стороне стены поднялись бесчисленные ракеты. В их ярком свете мне видно, как тяжелый танк проталкивается через ворота в зону.

— Господи! Они идут на танках! — кричит кто-то в отчаянье.

В то же время справа за баракom раздается пронзительный крик: сраженная пулей шестнадцатилетняя эстонка Аня, стоявшая там на посту, падает на землю. Стрелки, вбегающие в лагерь тут же за танком, палят боевыми патронами. Я хватаю Ольгу за руку и тащу ее в баню.

— Быстро! Вот сюда! — кричит нам банщик Ваня и вталкивает нас в дезинфекционную камеру, — авось-ка, они не сообразят заглянуть сюда. — Даже за железной дверью камеры нам слышен грохот танков и дикое «ура!» чекистов. Они, должно быть, и на этот раз пьяные. Снова и снова раздаются ружейные

залпы. Ольга тяжело дышит и не говорит ни слова.

— Ни в коем случае не называй своего имени, — шепчу я ей, — бойцы наверняка не здешние и не знают тебя. Если они узнают, кто ты, они тебя тут же прикончат.

Ольга сидит за то, что Фадеев в своем прославленном романе «Молодая гвардия» сделал из нее предательницу. Он сфальсифицировал все события, но воспользовался подлинными именами, и Оле Лацкой, которой в 1944 году исполнилось всего только 15 лет, дали 15 лет лагеря. Вот уже двенадцать лет как при каждом удобном и неудобном случае ее показывают посетителям и охранникам как ту самую, «которая предала партизан».

Едва я успел выговорить это, как мы услышали, что чекисты вошли в баню.

— Нету здесь никого, — сказал один. Я облегченно вздыхаю, но в ту же секунду открывается дверь нашей камеры.

— А вот они, выблядки, выходи! — И моментально чьи-то сильные руки хватают меня и выталкивают из барака. Я уже больше не вижу, что происходит с друзьями, не слышу их больше, я проваливаюсь в ад.

Ружейные залпы, вопли, стоны умирающих заполняют освещенную ракетами и пожаром зону. Пьяные чекисты ловят отдельных разбегающихся в отчаянье эков. С воем и криком они добивают валяющихся на земле раненых. Танк с грохотом разворачивается то туда, то сюда между бараками. Из его люков без передышки стреляют.

— Выходите все из бараков! — повторяет снова и снова голос Бычкова из громкоговорителей. «Они нас всех перебьют», — пробегает у меня в мозгу, и я чувствую, как стынут мои руки.

— А ну, повернись! — кричит мне чекист. Неужели это конец? Теперь, в эту секунду, вся моя жизнь должна была бы пройти у меня перед глаза-

ми... Но мне ничего не вспоминается. Только ужасная пустота и жгучая досада бессмысленно погибнуть сейчас, в самом конце десяти лет бессмысленного заключения.

— Веди к остальным! — слышу я громкий голос возле. Весь еще в прощании с жизнью, я поворачиваюсь к бойцам, — обо мне ли этот приказ? — и получаю толчок под ребра: — Вон туда отправляйся!

И меня гонят вместе с другими заключенными к обычно закрытому выходу в задней стене лагеря. В сопровождении нескольких десятков охранников мы проходим весь третий лагпункт. Второй и третий бараки защищаются. Бутылки с взрывчаткой летят в толпу осаждающих.

Как мне потом рассказывали, второй барак дважды отбивал штурм. Сначала в нем решили было сдаться. Старик-армянин вызвался выйти к чекистам и сообщить им об этом решении. Это был совсем старый человек, и ветер раздувал его длинную седую бороду, когда он вышел наружу.

— Послушайте меня, сынки! — начал было он, но пуля не дала ему продолжать.

Кто-то из чекистов отрезал ему ножом голову и забросил ее обратно в барак. Вот почему люди защищались с таким отчаяньем.

— Человек двадцать оперативников, — рассказывал другой, — появились, когда мы были уже снаружи, в поле за лагерем. — Они старались остановить наиболее страшные зверства. Но не сами ли они довели людей до такого ожесточения, что не могли уже справиться с ними.

— Второй взвод под командой лейтенанта Кириленко на первый лагпункт, на поддержку Антонова, — командует по громкоговорителю Бычков.

Он стоит у окна четвертого этажа здания лагерного управления на другом конце зоны. Оттуда он

командует операцией. Обзорность оттуда хорошая. Ему даже бинокля не нужно, этому главнокомандующему. Все побоище у него как на ладони. А теперь, под утро, и осветительные ракеты не нужны. Стрелки нашего кингирского конвоя принимают охрану.

Жители города Кингира — те, кого не эвакуировали, — тоже напряженно следят за боем в лагере. На крышах домов и завода полно людей. Они видят танки и бойцов, но могут ли они разобраться в деталях? В крохотной кабине второго барака женского лагеря, в которой стоит передатчик, сменивший меня Юрий Михайлович открыл себе артерию, как только услышал грохот танков. «Спасите, нас убивают», — радировал он до последней минуты в эфир. Но кто мог поймать этот зов отчаяния, кроме разве приемников МВД в Казахстане? И кто бы вообще реагировал на него, даже если бы он и в самом деле достигал заграницы, на помощь которой мы так надеялись в Кингире? Кого в Берлине, Париже, Лондоне или Нью-Йорке беспокоит смертоубийство в Кингире или на Воркуте?

Женщины выносят литовца-радиста из кабины и стараются еще спасти его, но поздно. Поздно думать даже о собственном спасении; бутылки, которые женщины и девушки наполняли взрывчаткой, кончились. Кончились и камни, которыми до конца пытались отгонять чекистов.

Около семи часов утра женщины и девушки второго барака женского лагеря берутся за руки и с пением выходят во двор, навстречу танкам. Не станут же они так просто врезаться в женские ряды, надеются они. Но танки врезаются. Стальные гусеницы проходят по женским телам, не останавливаясь. Пьяные танкисты за рулем — в кровавом безумии.

Один из чекистов накинуд на Кузнецова петлю, когда он пытался перебежать из первого штабного барака в третий. Его втянули в танк. Приказ строг:

членов лагерного комитета взять во что бы то ни стало живыми.

Последних заключенных выгоняли из бараков ручными гранатами. Едкий дым от горящих соломенных тюфяков заставил наконец и третий барак нашего лагпункта прекратить борьбу. Анатолий Задорожный командовал в нем до конца. Теперь ему приходится командовать капитуляцией.

**
*

К девяти часам утра в лагере стало тихо. Нас уже больше тысячи вне зоны, в поле. Здесь я увидел Ольгу. Она хромала и тяжело наваливалась на подруг, когда ее вели из лагеря. Не ранена ли? Невозможно узнать об этом; женщин сразу ведут к железнодорожным вагонам.

— Нам дышать нечем! Воды! Воды! — начинают кричать они к полудню из выставленных на самый зной неподвижных закрытых пульманов.

В тени жара дошла уже чуть ли не до пятидесяти градусов. Хоть на мне только штаны и рубаша, я едва жив от жары. Но когда мы пытаемся подвигнуться ближе к вагонам, желая помочь нашим женщинам, охрана отгоняет нас обратно.

Днем Кузнецова, Глеба, Анатолия и еще кого-то из членов лагерного комитета провели мимо нас. Они в наручниках и окружены конвоем. Недалеко за ними, злорадно улыбаясь, следуют Долгих и Бычков. Мне удалось поймать только один взгляд Кузнецова; нам тут же приказали лечь лицом вниз.

Но это был прямой и гордый взгляд, да и походка у Кузнецова была прямой и гордой. Его, видно, били. Рубашка висела на нем клочьями, как и на Глебе, и на других, но этот взгляд и походку никто у них не отнимет. «Нам пришлось покориться силе, — как бы

говорил этот взгляд, — но правда была на нашей стороне!»

Герой Берлина не смог привести нас к победе, но нравственный перевес он закрепил за нами.

Две тысячи тяжеловооруженных бойцов и семь танков типа Т-34 пришлось мобилизовать против нас. Еще 1600 чекистов обеспечивали запуск ракет. На аэродроме стояли готовые к старту бомбардировщики МВД, окрашенные в серо-зеленый цвет аппараты типа Дуглас. Пятьсот убитых, в том числе двести женщин, и сотни раненых — вот итог операции, которую провели Бычков и Долгих.

Запомните их имена!

Пятнадцать членов лагерного комитета были отправлены в следственный изолятор. Тысячу шестисот активных участников восстания вечером 26 июня посадили в железнодорожные вагоны, приготовленные для отправки на Колыму. Наши имена были частично названы уже теми, кто добровольно покинул лагерь в первые дни восстания.

Женщинам, которых уже прежде, чем нас, заперли в вагонах, было сказано, что их сразу вернут в лагерь, если они согласятся работать. Но женщины отказались.

— Мы поедem за мальчиками! — Как и те двести, что вышли навстречу танкам, это были в большинстве западные украинки. Их решительность, их бескомпромиссная стойкость были геройскими.

На третий день адского прожаривания в раскаленных вагонах меня вызывают; я оказался в числе тех, чей срок истекал уже в этом году. Нас решили вернуть в Кингирский лагерь. Везти нас на далекую Колыму нет смысла. Лагерное управление сумело, по-видимому, объяснить это представителям ГУЛага.

Невесело было в зоне, когда я вновь вошел туда после трехдневного отсутствия. Все стены снова стоят. Поскольку большинство заключенных отказалось

от этой работы, на нее поставили свидетелей Иеговы. В постройке баррикад они не хотели участвовать, а восстанавливать тюремные стены, по их мнению, не противоречило божественным заповедям.

Между лагпунктами, в том числе и между нашим третьим лагпунктом и БУРом, оставлены теперь широкие буферные зоны. Наши хозяева дрожат, очевидно, при мысли, что восстание может начаться снова.

Все больничные помещения, амбулатории и врачебные кабинеты забиты тяжелоранеными. Как и другие врачи, я занят и днем, и ночью, но тем не менее замечаю, что после восстания многое изменилось. Побудка производится двумя часами позже. Вместо шести утра рабочие бригады выходят из лагеря только в восемь. А около пяти часов вечера все уже возвращаются. Бараки больше не запираются, решетки на окнах никто не ставит обратно. Жить стало бы лучше и веселей, если бы не память о побоище, которая держит нас в пониженном настроении. Люди не говорят громко, а смеяться словно совсем разучились.

При этом происходит многое, что должно было бы вселять в нас надежду. Вскоре после восстания сменился начальник лагеря Чечов. Новый привез с собой целую бригаду чиновников, которые в каждом лагпункте регулярно отсиживают приемные часы. Каждый из нас может подавать им заявления и жалобы. Пересмотр дел идет полным ходом, и те, кто просит о пересмотре, зачастую добиваются своего. Сроки почти во всех случаях сокращаются на несколько лет. По десять-пятнадцать человек в месяц выходят теперь в среднем из лагеря. И только те, кто просит не о пересмотре, а о помиловании, получают отказ.

Безостановочно идет освобождение несовершеннолетних и инвалидов. Инвалиды проходят через закрытый суд, тут же, в лагере. Хотя около тридцати процентов из них, те, кто получил срок за «особо тя-

жие преступления», не освобождаются, несмотря на то, что апрельское постановление было вынесено обо всех, независимо от статей.

С несовершеннолетними также проводится лукавая игра. Задача тут в том, чтобы убавить срок, однако так, чтобы он оставался не меньше пяти лет и не попадал под амнистию 1953 года. Амнистированный заключенный имеет право вернуться в родные места, а отбывший свой срок, как и все политические, прямо из лагеря отправляется в ссылку.

Эта ссылка больше всего омрачает радость освобождения. Вместо паспорта такой отбывший срок заключенный получает на руки справку с указанием населенного пункта, в который он безотлагательно должен явиться. По большей части этот населенный пункт находится так же далеко от центров страны и от его дома, как Кингир. Кроме того, он даже не имеет права выбрать этот пункт. Лагерное управление распределяет освобожденных в соответствии с государственным планом. Бывшему заключенному не надо будет жить там за колючей проволокой, но придется регулярно регистрироваться в комендатуре, и он останется таким же несвободным, как и здесь.

Третий лагпункт, в котором я живу, насчитывает теперь всего лишь шестьсот заключенных. До того их было две тысячи, но большинство «активных подстрекателей» вышло как раз от нас и отправлено поэтому на Колыму. Через несколько месяцев наш лагпункт закроют совсем, и меня переведут на второй.

Женская зона снова герметически изолирована от нас. Но и там — два новшества. Первое — театральная группа. Независимо от статьи и срока, в нашем лагере появляются теперь женщины, актрисы, проходящие на репетиции. И второе — каждое воскресенье в нашей столовой устраиваются танцы; тогда в гостях у нас бывает около двухсот женщин и девушек.

Моей нет среди них. Мне удалось, правда, помешать отправке Ольги на Колыму, но вольнонаемный врач, который снял ее, по моей просьбе, с транспорта, мог только положить ее в больницу. Туда я мог иногда приходить к ней. Потом ее выписали и через несколько дней все-таки увезли: в Иркутскую область, в Тайшет.

**
*

26 ноября входит ко мне взволнованный доктор Фустер.

— Сегодня начинается суд над членами лагерного комитета; меня вызывают свидетелем.

Фустер — участник гражданской войны в Испании. Когда она кончилась, он оказался в Москве, где ему пришлось наблюдать, как НКВД забирало его бывших товарищей по оружию. По чистой случайности его не взяли. Так он стал врагом советской власти.*

Суд над Кузнецовым и его поделщиками происходит в большом здании лагерного управления по ту сторону лагерных стен. Как мне рассказывает Фус-

* Весь следующий теперь отчет о суде над лагерным комитетом сделан Варкони по рассказам вольнонаемного врача Фустера. Что, попав из Испании в Москву как раз в самый разгар сталинского террора, Фустер разочаровался в коммунизме и сделался врагом советской власти, весьма вероятно. Это бывало в то время не с ним одним. Но утверждение о том, что он уцелел «по чистой случайности», уже трудно принять безоговорочно. Фустер, очевидно, хорошо относился к Варкони, покровительствовал ему и не скрывал перед ним своих антисоветских настроений. В период их знакомства он служил, однако, врачом в системе ГУЛага, и это его служебное положение, без сомнения, отразилось на его сообщениях, которые Варкони принимает, нам кажется, с излишней доверчивостью. — (Прим. ред.)

тер, он проводится по всей форме, но без присутствия общественности. На одной скамье сидят пятнадцать обвиняемых заключенных; на другой — семь чекистов: начальник оперативного отдела, одоббивший приказ о применении вооруженной силы 16 и 17 мая, начальник охраны, командовавший этой операцией и отдавший приказ стрелять, лейтенант, расстреливавший заключенных из нагана, и надзиратели, последовавшие его примеру. Фустера вызывали в суд, чтобы получить от него показания о произведенном им в свое время вскрытии трупов убитых.

— Сегодня представительницу женщин отправили обратно в лагерь, — сообщил мне через несколько дней Фустер. — Ее слушали недолго. Когда ее спросили, что побудило ее войти в лагерный комитет, она показала на свою седину и сказала: «виноваты мои волосы, которые поседел за семнадцать лет моего незаслуженного заключения».

За каждым шагом подследственных велось строжайшее наблюдение. Здание управления было день и ночь окружено охраной. В уборную обвиняемых водили только в сопровождении двух вооруженных автоматами конвойных. И тем не менее, — как сплошь да рядом в советских тюрьмах, — охрана допустила однажды непростительную ошибку. Страдающий тяжелой формой туберкулеза Анатолий получил разрешение пройти рентген. Охранники, которые привели его, были не из кингирской команды и, очевидно, не знали, что обязаны наблюдать за ним и в амбулатории. Я смог без помех поговорить с ним больше получаса.

— Нам хотят непременно намотать террор, — рассказывает он. — Глеб ведет себя по-геройски. Он говорит, будто Кузнецов не знал об изготовлении бутылок со взрывчаткой; расправы над стукачами и постройку радиопередатчика он тоже берет на себя.

Самому Анатолию трудно отрицать свое участие в применении силы со стороны заключенных. Против него свидетельствует перед судом тот самый молодой уголовник, которого он основательно проучил. Причем заслуженно. Как с неба свалившись, этот мальчишка однажды, еще в самом начале восстания, стал показывать нам пакет с листовками, которые англичане якобы сбросили к нам в зону: «Мы приветствуем ваше восстание!» стояло в них. Потом малолетка признался, что его послал опер, якобы для того, чтобы проверить нашу реакцию на это провокационное воззвание.

— Сегодня выступал Кузнецов, — рассказывал мне однажды вечером Фустер. — Кузнецов давал показания с восьми часов утра до десяти вечера. Его не перебивали. Он использовал любую деталь восстания, чтобы показать, что мы выступали вполне дисциплинированно в защиту своих справедливых требований. Он отвергал обвинение в грабежах, которыми якобы занимались наши люди. Если кто и грабил, то это были стрелки, растащившие продуктовый склад на хоздворе, когда подавляли восстание.

Кузнецов говорит не так горячо и убедительно, как Анатолий, умевший поднимать дух даже у самых отупевших эков. Кузнецов говорит трезво и деловито, но тем более сильно воздействие его слов на присутствующих в зале суда. Все — обвиняемые, как и судьи, солдаты охраны, как и свидетели, — не могут не чувствовать, что имеют дело с глубоко порядочным человеком, и что всё, совершенное им, совершено по убеждению.

После недели слушания дела Кингирский суд заключает: он не компетентен решать дело Кузнецова и его сообщников. Председатель суда полагает, что в него замешано слишком много работников государственной безопасности и что его следует передать по инстанции в областной суд в Алма-Ате.

«Мы надеемся, что Алма-Ата тоже объявит себя некомпетентной, и наше дело пойдет в Москву, — написал Кузнецов на листке, который ему удалось передать из изолятора. — Мы еще надеемся оправдаться.»

**
*

В лагере строго запрещено вспоминать о восстании. Начальство боится, чтобы воля к сопротивлению не проснулась в нас снова. Но следы крови перед бараками ежечасно напоминают нам о том, что случилось в июне: восстание в наших сердцах продолжается. Транспорт, отправленный через всю страну из Кингира на Колыму, широко разнес молву о нашей борьбе. Всех легкораненых тоже затолкали в вагоны; рана считалась доказательством активного участия в восстании. Я видел этих раненых, когда сам сидел в поезде. Их только кое-как перевязали. Некоторым из них не вынули даже пули из ран. Когда их везли на Дальний Восток, они высовывали свои раненые руки и ноги из окон товарных вагонов.

— Нас давили танками, — рассказывали они везде, где могли, на остановках. — Сотни избитых беззащитных заключенных — вот, что значит победа войск МВД!

«На пути от Кингира до бухты Находка на Японском море не осталось, наверно, ни одной станции, на которой не знали бы о сорокадневном восстании в Кингире, — сообщили нам вскоре наши друзья с Колымы. — А теперь и вся Колыма знает об этом.»

Поздней осенью к нам прибыл транспорт из лагеря в Экибастузе. Отстройка города Экибастуза в прилегающей к Сибири северной части Казахстана началась только в 1949 году. Я сам участвовал в строительстве первых бараков. Между тем, там вырос средней величины город. Уголь, который залегает там

чуть ли не на поверхности земли, добывается теперь руками вольнонаемных рабочих и отбывших сроки заключенных. Меня тогда еще удивляло, что заключенных привезли в такое, относительно хорошее, место. Но им досталось только построить дома и заложить шахты. Из приятной местности и красивых блочных домиков Экибастуза последних заключенных перегнали к нам, в Кингир.

— Горе вам, если вы будете рассказывать новичкам об июньских событиях! — предупреждали нас надзиратели.

Но уже на второй день один из них не удержался:

— Или вам не рассказывали, что здесь было? Эх, скажу я вам, приятели, кровь тут рекой лилась!

Они поневоле сами заботились о том, чтобы в Кингире никто ничего не забывал.

«ИНДЕКС»

№ 1, 1975 г.

Павел Литвинов: Движение за права человека в СССР

Милован Джилас: О Михайло Михайлове

Анон: 5 заповедей (из 7 писем из Праги)

С—Г Лилиус: Финляндия — самоцензура и СССР

Рената Хаммер: Писатели и цензура в Польше

Южная Африка — опросник по культурному бойкоту —

— следует ли распространять бойкот на другие страны, такие, как СССР, Чехословакия?

Аргентина — пресса при генерале Пероне

№ 2, 1975 г.

Виктор Файнберг: Мое заключение и «лечение» в советской психиатрической больнице

Владимир Войнович: Как меня сделали диссидентом

Жак Бейрезин: Шесть стихотворений (перевод с польского)

Южная Африка — ответы на опросник

Сингапур — пресса при Ли Куан Йе

Адрес редакции:

21 Russell St., London, WC2B 5HP

Цена 1 номера: 1 ф. ст. Годовая подписка: 3.60 ф. ст.

Кардинал М и н д с е н т и

ПЕРЕД ЛИЦОМ НОВЫХ ИСПЫТАНИЙ

(Продолжение)

Обращение к христианскому прошлому

Как национал-социализм, так и большевизм оправдывали свое вторжение в нашу страну тем, что-де необходимо заменить полное недостатков прошлое неким счастливым новым будущим. В соответствии со своей доктриной, коммунисты заявляли, что с прошлым необходимо порвать бесповоротно. Именно поэтому я, в день своего возведения на первосвятительский престол, сказал: «Я хочу быть совестью своего народа; как призванный страж я стучусь в двери ваших душ; в отличие от ныне распространяющихся заблуждений, я свидетельствую своей стране и своему народу о вечной истине. Я бы хотел пробудить к новой жизни священное предание нашего народа, без которого может прожить отдельный человек, но не нация». Марксисты старались представить всю венгерскую историю как цепь сплошных заблуждений и ошибок. Такие взгляды они навязывали не умудренной опытом молодежи. Очевидно, при этом они преследовали цель лишить ее чувства националь-

ности и самосознания, чтобы легче использовать для осуществления своих собственных планов. Я же апеллировал к ценностям, сложившимся за целое тысячелетие христианского прошлого Венгрии. Более всего мне хотелось именно в такое время увидеть перед собой несломленную, уверенную в своих силах венгерскую молодежь, твердо стоящую на незыблемой почве религиозно-нравственных основ. Точно так же, как в 17 веке Пазмань и его священники сумели воспитать юношество, которое освободило Буду, а после ухода турок восстановило страну, так и я считал важной задачей Церкви подготовить молодую поросль, способную защитить страну и нашу христианскую культуру. Поэтому уже через неделю я, после своей интронизации, воспользовался первым же представившимся мне случаем, чтобы на предсоборной площади в столице обратиться к собравшимся там десяткам тысяч молодых людей. Я поставил вопрос: «По какому пути пойти венгерской молодежи?» «Может быть, следует присоединиться к тем, кто сам утверждает, что историю они выметут совсем? Что же, метлой надо не размахивать, а работать. Метла существует для того, чтобы выметать сор и коррупцию. Самый прекрасный образ прошлого для каждого из нас, это — облик нашей матери, и к нему надлежит приближаться со склоненной головой, а вовсе не с метлой в руках. Точно так же мы не допустим, чтобы кто-либо вымел метлой те формирующие нас знания, те идеалы, которые вселили в нас учителя в школе, ибо по ним — этим идеалам — ведь мы должны будем нахо-

дить свой жизненный путь. Вряд ли справится метла с каменными глыбами десяти заповедей Божиих. И мы не позволим, чтобы кто-либо метлой замахнулся на нашу двухтысячелетнюю мать — Церковь, так же, как и на тысячелетнюю мать — нашу венгерскую родину».

В городах и селах я не упускал случая, чтобы не сослаться на местные исторические традиции, на происходившие там некогда события, и старался извлечь из них какие-нибудь поучения. Человеческая черта — гордиться историей и прошлым своей семьи, своего родного города или своего народа. Историк знает, что между настоящим и прошлым отдельных человеческих обществ существует органическая связь. Поэтому необходимо обращение к истории в целях пробуждения религиозного самосознания и углубления религиозной жизни. Конечно, общественные взаимоотношения, основы светских учреждений и условия, в которых приходилось действовать Церкви, в прежние времена были другими. Но, хотя условия и были иными, основные вопросы, которые ставились на разрешение духу человека, во все времена оставались одни и те же.

Коммунисты вздумали поставить мне в вину именно эти мои проповеди. Они начали обзывать меня «пережитком феодальной эпохи, узколобым, реакционным епископом, который пользуется средневековыми методами полемики». Эта злонамеренная, упорная пропаганда кое-где возымела известное действие, оказав влияние даже на некоторые христианские круги.

Решающий удар по партии Мелких землевладельцев

Пастырская деятельность Церкви привела к пробуждению национального и христианского самосознания. Наши верующие вовсе не намеревались молча и в бездеятельности терпеть, чтобы кто-либо оказывал давление на церковные учреждения, препятствовал религиозной жизни. Верующие готовились к обороне. Протесты Венгерского Союза родителей помогли отразить удары, которым подверглись наши католические школы. Я также упомянул, что этот мощный Союз оказался в состоянии предотвратить осуществление намерений коммунистов, направленных на отмену преподавания Закона Божия, на введение унифицированных учебников в школах. Этот успех мог быть достигнут благодаря позиции партии Мелких землевладельцев. Ее депутаты в парламенте и ее мужественный новый генеральный секретарь Бела Ковач, начиная с весны 1946 года, под давлением общественного мнения начали все более твердо противиться проводимым коммунистами мероприятиям.

Коммунистические аппаратчики поначалу реагировали на это сдержанно. Твердость партии, обладавшей большинством, застигла их, по-видимому, врасплох. В парламенте они проводили лишь легкую разведку боем, ограничиваясь незначительными стычками, но за кулисами предпринимали попытки путем разнообразнейших махинаций добиться изменения положения. Они пользо-

вались услугами попутчиков и разного рода беспокойного элемента, поддерживавшего интересы левых. Они старались лишить полномочий отдельных депутатов парламента, чтобы поссорить между собой некоммунистические партии и лишить их перевеса голосов. Но всё это не приводило к желаемой цели. Тогда коммунисты прибегли к насилию. В декабре 1946 года были произведены аресты политических деятелей, принадлежавших к партии Мелких землевладельцев, а также офицеров, по своим настроениям близких к этой партии. Когда премьер-министр и министр обороны сделали попытку ознакомиться с делами этих арестованных, русский главнокомандующий Свиридов пресек всякое расследование. Он объявил, что дело передается в ведение государственной политической полиции, поскольку сам арест был произведен под предлогом раскрытия заговора против республики. Начальником политической полиции был коммунист Ласло Райк. Одновременно, с большим шумом публиковались «признания» арестованных. Из этих, так называемых, «признаний» выходило, что в кругах членов партии Мелких землевладельцев якобы организован заговор против республиканского устройства страны. Подвергся аресту целый ряд руководителей этой партии, в том числе один из министров. По требованию Тильди и Ференца Надя, соответствующая парламентская комиссия лишила арестованных неприкосновенности. Когда часть американской и западноевропейской печати выразила сомнения в под-

линности «признаний», президент республики Зольтан Тильди выступил с подтверждением сообщений полиции. 16 января 1947 года он сделал о заговоре следующее заявление:

«Полиция исполнила свой долг и хорошо поработала. Я уверен, что венгерский суд, в интересах венгерского народа, вынесет справедливый приговор».

Всё было ясно: шла подготовка показательного процесса по советскому образцу. Легкомысленная уступчивость Тильди меня крайне беспокоила. Три дня спустя, в день памяти святой Маргариты, я в своем слове указал на то, что в стране господствуют ненависть, дух мести и возмездия. Не считаясь ни с чем, применяется закон «око за око, зуб за зуб», и подчеркнул, что при этом могут лишиться зрения «ни в чем не повинные очи» и могут быть сокрушены «зубы, никого не кусающие». Одновременно с этим коммунисты, ссылаясь на «признания» арестованных, объявили о причастности к «заговору» генерального секретаря партии Мелких землевладельцев Белы Ковача. Ракоши лично явился к премьер-министру Ференцу Надю и передал ему соответствующие «улики», потребовав от него отставки генерального секретаря и выражения порицания всей партии Мелких землевладельцев. Надь согласился выполнить это наглое требование и 28 января 1947 года сделал следующее заявление:

«Я вынужден признать, что действительно готовился заговор против демократии и против пра-

вительства. Заговорщики создали крупную организацию, сумели проникнуть в ряд политических и общественных организаций, прежде всего в независимую партию Мелких землевладельцев».

Ссылаясь на это заявление, коммунистическая партия вскоре потребовала отмены неприкосновенности ряда депутатов — членов партии Мелких землевладельцев. Ференц Надь выполнил и это требование, в надежде, как он утверждал, что суд их оправдает. Но политическая полиция у выхода из здания парламента надела этим депутатам наручники — под личным руководством Габора Петера. Не был лишен депутатской неприкосновенности только Бела Ковач. Один из членов партии Мелких землевладельцев с мужеством отчаяния потребовал даже создания парламентской комиссии в составе 25 депутатов для расследования мнимого заговора. Ракоши ясно понимал, что это сорвало бы готовившийся им показательный процесс. Поэтому он снял это предложение с повестки дня, ссылаясь на волю русских оккупационных властей. Он даже высказал пожелание, чтобы Бела Ковач, при сохранении за собой своего права на неприкосновенность, добровольно явился в полицию, чтобы там его могли допросить по делу о заговоре. Когда же он на самом деле последовал этому совету, его приняла не венгерская полиция, а представители русской военной комендатуры, которые его и арестовали. 2 марта об этом было обнародовано следующее заявление:

«25 февраля 1947 года советские оккупационные власти в Будапеште арестовали бывшего генерального секретаря независимой партии Мелких землевладельцев Белу Ковача — активного уча-

стника тайных антисоветских террористических групп и сети шпионажа против Советской армии. Бела Ковач играл руководящую роль в создании таких вооруженных групп, члены которых на территории Венгрии совершали террористические акты и убийства военнослужащих Советской армии».

Представитель Америки в Союзной Контрольной комиссии, генерал Уимс, от имени своего правительства 5 марта 1947 года вручил генералу Свиридову следующую ноту:

«Правительство Соединенных Штатов вынуждено заявить о своей озабоченности в связи с возникшим в настоящее время в Венгрии политическим кризисом. События, имеющие место, свидетельствуют об иностранном вмешательстве во внутренние дела Венгрии, которое ставит своей целью предоставление венгерскому меньшинству возможности навязать свою волю народу. Венгерские коммунисты вкупе с представителями левого блока, убедившись в тщетности своих попыток добиться своих целей законным путем, который предусмотрен конституцией, предприняли попытку втянуть целый ряд депутатов партии Мелких землевладельцев в заговор против республики. Настаивая на отмене неприкосновенности депутатов партии Мелких землевладельцев, они намеревались ослабить парламентское большинство этой партии. Полиция и государственные органы управления воспользовались предоставленной им властью не для того, чтобы проведением судебного процесса на законном основании устранить опасность, угрожающую государству, а для всеобщего сведения счетов с их политическими противника-

ми. Главное командование расположенных в Венгрии советских войск своим непосредственным вмешательством вызвало в Венгрии кризис. Правительство Соединенных Штатов, на основании имеющихся у него сведений, отдает себе отчет в том, что обвинения и улики в деле Белы Ковача лишены всякой реальной основы. Правительство Соединенных Штатов рассматривает происходящее, как ничем не оправданное вмешательство во внутренние дела Венгрии».

Далее генерал Уимс выдвинул в своей ноте предложение провести расследование «заговора» совместными усилиями представителей великих держав — России, Англии и Америки — а также премьер-министра Венгрии, председателя парламента, министра внутренних дел и министра юстиции.

На эту американскую ноту, публиковать которую венгерским газетам запретили, Свиридов 9 марта ответил следующим образом:

«Господин генерал!

В ответ на Ваше письмо от 5 марта 1947 года, в котором Вы излагаете точку зрения Вашего правительства в отношении последних политических событий в Венгрии, я имею честь сообщить Вам следующее:

Демократическому строю и правительству Венгрии угрожала опасность заговора, направленного против конституции и республиканского устройства государства, а не со стороны левых партий. Эти партии строго придерживаются конституции Венгрии, а не стремятся стеснить партию Мелких землевладельцев в ее законных правах и прийти к установлению диктатуры меньшинства.

Наличие заговора против конституционного порядка и порождение им угрозы для молодой венгерской демократии признаются самой партией Мелких землевладельцев. Об этом партия неоднократно заявляла в печати, в частности, руководитель этой партии Ференц Надь. В том, что среди руководящих политиков независимой партии Мелких землевладельцев оказалось несколько участников заговора, не виноваты ни полиция, ни партии, объединившиеся в левом блоке. Независимая партия Мелких землевладельцев сама признала виновными всех заговорщиков и добровольно согласилась на лишение их неприкосновенности, на их предание суду. Поэтому, господин генерал, лишено всякого основания утверждение, будто левые партии пытались недозволенными средствами вовлечь политических деятелей независимой партии Мелких землевладельцев в заговор.

Общеизвестно, что расследование заговора закончено и рассматривается независимым демократическим судом Венгерской республики. По этой причине я не могу принять Ваше предложение совместно исследовать общее положение и вопрос о заговоре, так как это означало бы грубое вмешательство во внутренние дела Венгерской республики, вторжение в правовую область независимых народных судов Венгрии.

Ваше выступление по делу Белы Ковача я могу расценивать только как попытку вмешательства в законные права советских оккупационных войск, призванные обеспечивать безопасность расположенных на территории Венгрии советских вооруженных сил. По этой причине я не могу согла-

ситься с подобной нотой правительства Соединенных Штатов.

Арест Белы Ковача, причиной которого явилось преступление, направленное против советских оккупационных войск, не может рассматриваться в качестве вмешательства советских оккупационных властей во внутренние дела Венгрии.

Примите, господин генерал, заверения в моем совершенном почтении.

В. П. Свиридов, генерал».

«Заговорщики» предстали перед судом. Переутомленные, запуганные, безусловно подвергавшиеся пыткам обвиняемые давали показания против самих себя. На основании этих показаний и был вынесен приговор: троих ни в чем не повинных людей приговорили к смерти, остальных — более чем к десяти годам каторжных работ.

В новой американской ноте от 17 марта, помимо прочего, указывалось:

«Правительство Соединенных Штатов, на основании имеющихся в его распоряжении данных, не может присоединиться к толкованию венгерских событий, которое содержится в Вашем сообщении. Правительству Соединенных Штатов ясно, что возглавляемые венгерской коммунистической партией группы меньшинства применяют политические шахматные ходы, лежащие за пределами конституционности, чтобы захватить власть в свои руки. Правительство Соединенных Штатов считает, что это представляет собой очевидную опасность для дальнейшего существования демократии в Венгрии. Правительство Соединенных Шта-

тов придерживается мнения, что для держав, подписавших Ялтинское соглашение, в деле расследования положения, создавшегося в Венгрии, существует обязательство действовать совместно.

В данном случае это тем более важно, поскольку в столь многозначительном, принципиальном с точки зрения Венгрии вопросе мнения советского и американского правительства расходятся.

По моему мнению — стоящему в противоречии к мнению, высказанному Вами, — нельзя утверждать, что предлагаемое совместное расследование нарушило бы законные права венгерского суда или что проявленный моим правительством интерес к делу Белы Ковача означал бы умаление права советских оккупационных властей принимать меры для обеспечения безопасности своих оккупационных войск».

На эту вторую американскую ноту Свиридов дал такой же циничный ответ, как и на первую.

Вскоре после этого Ференц Надь преобразовал свое правительство: его заставили принять в состав правительства двоих «попутчиков». Министром народного образования он сделал Дьюлу Диньеша. Но тот уже два месяца спустя сменил самого премьер-министра Ференца Надя. Ибо через два месяца выяснилось, согласно следствию, проводимому политической полицией, что премьер-министр сам, своей собственной персоной участвовал в «заговоре» против своего собственного правительства. Правда, ему об этом сообщили — быть может, чтобы оказать ему снисхождение — только по выезде его за границу. Он проводил длительный отпуск в Цюрихе, когда его 28 мая 1947 года из Будапешта уведомили, что и он, как

это явствует по заявлению советского главнокомандующего, замешан в заговор, организованный Бела Ковачем. В тот же самый день Надь по телефону снесся с Ракоши и после этого разговора заявил о своей отставке. Тильди отставку принял. На место Надя вступил теперь Диньеш. Марионеточное правительство Диньеша принесло присягу 1 июня 1947 года.

Вскоре многие руководящие деятели партии Мелких землевладельцев бежали за пределы страны. Венгерским коммунистам благодаря всему этому удалось, при помощи русских, снизить процент голосов партии Мелких землевладельцев в парламенте с 57,7 до 44,2 процента. Партия Мелких землевладельцев лишилась своего абсолютного большинства.

Переговоры о преподавании Закона Божия

«Заговор» послужил полиции предлогом для ареста многих членов и руководящих деятелей партии Мелких землевладельцев. «Признания» ранее арестованных служили обвинительным материалом для последующих и приводили к цепной реакции всё новых репрессий. От благорасположения коммунистов зависело теперь, кто мог оставаться на свободе, кого отправляли в тюрьму.

Всех охватил парализующий страх. Соппротивление было сломлено, и 11 марта 1947 года руководители партии Мелких землевладельцев приняли участие в общем совещании с марксистами. Главное, на чем они согласились, было следующее:

1. Отмена обязательности прохождения Закона Божия в школах и введение новых учебников во всех школах.

2. Подготовка соглашения между Церковью и государством, посредством которого должны быть урегулированы все нерешенные вопросы.

3. Партийные руководители обязуются в будущем изгонять из партии всех, кто будет противодействовать мирному сотрудничеству партий между собой.

4. В порядке перехода к плановому хозяйству разрабатывается трехлетний план развития народного хозяйства.

В ходе переговоров два священнослужителя, принадлежащих к руководству партии Мелких землевладельцев, Бела Варга и Иштван Балог, под сильным давлением марксистов, обещали, что добьются от совещания епископов согласия на замену обязательного прохождения Закона Божия в школах факультативным. По этому же вопросу было запрошено мнение епископа Ласло Банаша, человека, который любил забегать вперед и обращать на себя внимание. Он выразил мнение, что совещание епископов безусловно проявит понимание к мероприятиям по демократическому преобразованию жизни страны. Это высказывание, в свою очередь, послужило основанием для Ференца Надя, который на междупартийном совещании выступил с «успокоительным» заверением, что Церковь не будет препятствовать проведению в жизнь решений, которые примет это междупартийное совещание. А на следующий день коммунистический депутат в парламенте объявил: «Глава правительства довел до сведения участников

вчерашней междупартийной конференции, что весь епископат в целом принял постановление совещания к сведению без всяких возражений».

Как только мне об этом стало известно, я написал председателю Национального собрания письмо, указав, что как Ференц Надь, так и коммунистический депутат неправильно изложили положение вещей; совещание епископов не только не выразило своего согласия с принятыми планами, но высказалось против них. Епископат также заявил о своем протесте и сообщил об имеющихся у него возражениях до того, как было сделано несоответствующее действительности заявление Ференца Надя. Я просил объявить мою поправку в качестве заявления от имени председателя Национального собрания.

В наших рядах только незначительная группа так называемых прогрессивных католиков соглашалась на отмену обязательного преподавания Закона Божия в школах. Эта группа и теперь стояла за соглашение с коммунистами «ради сохранения мира». Помню, что навел на меня в те дни один из руководителей некоего монашеского ордена и стал повторять мне аргументы Белы Варги. Он утверждал, что это якобы пойдет на пользу всей стране. Он был крайне ошарашен, когда я изложил ему единогласное мнение епископов и сказал: «Епископы не имеют права отказываться от обязательности преподавания Закона Божия, укорененной в законах страны. Их непреклонность в этом вопросе опирается на ясно высказанную волю верующих мирян и на ряд проявлений общественного мнения. Совещание епископов вынуждено лишь с недоумением констати-

вать, что вопрос о преподавании Закона Божия стал объектом политической борьбы и торговли между партиями. Это на руку только коммунистам и способствует достижению ими безраздельного единовластия».

Протесты раздавались по всей стране. Везде во всеуслышание высказывалось требование сохранения обязательного преподавания Закона Божия. Президент «Католического действия» ежедневно получал тысячи телеграмм и писем с протестами против предполагавшейся отмены этого обучения. Под протестами стояли подписи католиков и протестантов, священников и мирян, студентов и профессоров, прицерковных организаций и благотворительных объединений. С руководством евангелической и реформатской церковью мы тесно сотрудничали. Случалось даже, что свои протесты они пересылали мне, прося меня направлять их правительству. К примеру, я получил следующую телеграмму от пресвитериата из Ньирмедьеша: «С воодушевлением поддерживаем позицию, занятую Вами по вопросу преподавания Закона Божия и издания новых учебников. Желаем Вам полного успеха».

Из Сарваша, преимущественно протестантского города Великой Венгерской равнины по адресу «Католического действия» пришло послание с 700 подписями, составленное от имени прихожан всех христианских вероисповеданий, сопровождаемое просьбой о том, чтобы до сведения Князя-примаса было доведено следующее: «В вопросе упомянутых церковных дел евангелические христиане, как один, поддерживают Ваше официальное заявление».

В городах молодежь проводила демонстрации в пользу сохранения обязательного преподавания Закона Божия в школах. В Сегеде полиция, по приказу коммунистов, разогнала одну такую демонстрацию силой оружия. Студенты проходили перед зданием высшего школьного управления с плакатами: «За обязательное преподавание Закона Божия!», «Требуем преподавания Закона Божия».

Выступая на юбилейных торжествах города Дьёра, я осудил безответственную торговлю в вопросе религиозно-нравственного воспитания молодежи. При бурно выражаемом согласии 60.000 слушателей я сказал:

«К ребенку тянутся теперь руки — но это не руки Христовы, не руки Церкви, а никем не призванные когти, к воспитанию непригодные... Все мы как будто смирились с тем, что детям своим мы оставим меньшее материальное наследство, чем то, которое мы сами унаследовали от своих родителей. Но мы считаем своим священным долгом обеспечить ныне живущим детям и тем, которые еще родятся, то духовное богатство, которое сами приняли от своих предков... Те, кому это не по душе, приближаются к колыбелям и к школьным скамейкам наших детей не с добрыми намерениями, а со злым умыслом... Та самая рука, которая закрывает доступ к обучению Закону Божию, широко открывает двери исправительных домов, тюрем и каторги... Обещать свободу вероисповедания, а на деле добиваться безрелигиозности — это вершина фарисейства».

Следующий день, 26 марта, принес коммунистам крайне неприятный для них сюрприз. Из «красного Чепеля», как коммунисты называли

этот промышленный город близ Будапешта, в приемную премьер-министра явилась делегация в составе двухсот пятидесяти представителей и от имени десятков тысяч рабочих заявила протест против предполагаемой отмены обязательного преподавания Закона Божия. Делегаты изложили по этому вопросу точку зрения своих приходов.

Католики-рабочие подчеркивали, что ради высших ценностей они и впредь готовы мириться с материальными неудобствами и недостатками, но что они не потерпят лишения своих детей духовного воспитания, лучшим средством которого признавалось обязательное прохождение Закона Божия в школах.

Евангелическая делегация выразила надежду, что будет учтено общественное мнение. В вопросе о преподавании Закона Божия подавляющее большинство населения требует сохранения его обязательности в школах.

Представитель реформатского прихода высказался в пользу того, чтобы именно в демократическом обществе молодежь воспитывалась в соответствии с религиозно-нравственными идеалами. Только такая молодежь в будущем проявит достаточное чувство ответственности при решении новых своих жизненных задач. После всех этих устных выступлений делегация вручила премьер-министру Надю памятную записку. Под ней значились подписи 10.000 рабочих Чепеля.

12 апреля 1947 года от имени Совецания епископов я выпустил пастырское послание, где подробно остановился на аргументах, которые коммунисты выдвигали в пользу отмены обязательного преподавания Закона Божия. Я постарался рас-

крыть их тайные умыслы и подтвердил неизменность позиций Церкви в этом вопросе, основанных на многовековом опыте.

Во вступительной части я указал на грустные обстоятельства, приведшие к тому, что вопрос христианского воспитания молодежи стал предметом торговли между политическими партиями. Далее я писал:

«Стремление положить конец обязательному преподаванию Закона Божия исполняет нас беспокойством и страхом. Опасения возникают прежде всего потому, что неожиданное усердие некоторых в этом вопросе, проявляемое в то самое время, когда страна требует срочного разрешения гораздо более безотлагательных дел и проблем, невольно наводит на мысль, что мы имеем дело со скрытой борьбой против самой Церкви. На каждом шагу слышим мы и читаем лозунг: «Сначала — демократия, а затем — социализм!». Что же касается преподавания Закона Божия, то многие, как нам кажется, стремятся пока сделать посещение уроков Закона Божия добровольным, а потом отменить преподавание вероучения вообще, и, в конце концов, ввести преподавание материалистического мировоззрения. В духе своего призвания быть верными Богу, мы считаем своим долгом возвысить голос протеста. Только тогда дальнейшие нападки на дело христианского воспитания не застигнут нас врасплох и не оттеснят нас на пути безрелигиозности.

Междупартийное соглашение требует отмены обязательного преподавания Закона Божья, ссылаясь на свободу совести. (Разве нуждается свобода в защите от религии — источника всякой сво-

боды?). Обязательное преподавание Закона Божия так же не нарушает свободы совести, как обязательное обучение истории, географии или естественным наукам, обязательное прохождение светского курса морали, прав и обязанностей гражданина, на что мы уже указали в пастырском послании год назад. Преподавание Закона Божия сохраняет за каждым право принимать услышанное к руководству, или не принимать, жить по Закону Божию, или не жить. Опыт показывает, что многие этой свободой пользуются и, несмотря на прохождение курса Закона Божия, становятся неверующими. Вопрос о свободе совести для католических родителей не может служить аргументом против обязательного прохождения религиозного обучения в школах. Принося своих детей в храм для крещения, они, тем самым, добровольно, пользуясь полной свободой, берут на себя обязательство воспитать этих своих детей в вере, то есть в обязательном порядке преподавать им Закон Божий. Родители неправомочны впоследствии отказываться от взятого на себя обязательства, точно так же, как и любой порядочный человек не может отказаться от выполнения добровольно взятого на себя обязательства, оправдывая это ссылками на свободу совести. Кто не блюдет раз взятые на себя обязательства, тот, вероятно, и не помышляет о том, какую зияющую брешь он проламывает в самых основах общественного устройства. Не ясно нам и то, почему свободу совести надо защищать там, где ей никакой серьезной опасности не угрожает, вместо того, чтобы отстаивать ее там, где насилие и произвол на самом деле стараются ее ограничить. К нам поступило много жалоб верую-

щих христиан. Они сообщают, что их вынуждают становиться членами партии, совершенно не отвечающей их внутренним убеждениям, угрожая в противном случае политическими преследованиями, занесением в списки неблагонадежных, потерей занимаемой должности или, по меньшей мере, переводом на другую, худшую работу. Опасность мы видим и в установлении государственной монополии на школьные учебники, которая может послужить средством навязывания молодежи мировоззрения правящей политической партии. Противники обязательного преподавания Закона Божия ссылаются теперь на практику Запада. Мы не считаем Запад идеалом, которому надо во всем следовать. Мы вовсе не считаем каждое духовное течение, каждую мысль оттуда подлежащей импорту в нашу страну, только лишь потому, что она — западная. Мы не раз уже имели возможность, имеем ее и теперь, сравнить результаты нашего нравственного воспитания с заграничным. Нельзя сказать, чтобы такое сравнение было бы не в нашу пользу. Что же касается духовных заимствований у чужеземцев, то надо держаться слова апостольского: «Всё испытывайте, хорошего держитесь» (1 Фесс. 5, 21). Слепое же преклонение перед всем заграничным принесло нам уже немало зла; оглянемся же на самих себя и на наши собственные интересы! Придерживаясь этого мнения, мы в то же время знаем, однако, что и на Западе, у просвещенных народов, во многих государствах прохождение Закона Божия в школах обязательно. (Здесь я перечислил 13 государств и привел примеры того, как в других странах, под водительством известных педагогов общественность доби-

вается того, чтобы религиозно-нравственное воспитание молодежи обеспечивалось законом).

Нельзя оставить без ответа великие вопрошания детской души: Как возник мир? Откуда происходит человек? Каков смысл его жизни? Наконец, нападки на обязательность прохождения Закона Божия беспокоят нас и потому, что мы опасаемся за нравственное состояние народа. Вера и нравственность в сознании человека так тесно между собой внутренне переплетаются, что мы невольно — вопреки безусловно имеющимся исключениям — испытываем больше доверия к человеку верующему.

Приведем лишь один пример: во время войны в дом одной семьи вломился мрачного вида солдат. Отстранив испуганных жителей дома, он расстегнул свою гимнастерку, бросился на кровать и заснул. Из-под расстегнутого ворота заблестела иконка Божией Матери. Жители дома спокойно ушли на работу, сказав: «Нам нечего бояться: солдат — верующий. Пусть себе спит». Мы вовсе не утверждаем, что каждый станет непременно безнравствен. Было бы грустно, если бы природа человека потеряла бы всякое нравственное сознание. Всегда будут встречаться люди, которые, живя среди величайшей распущенности, на основании особого дара будут ощущать влечение к добру, то есть люди, благословенные даром нравственного чутья, точно так же, как иным присущ эстетический дар восприятия художественного и прекрасного. Но понижение общего нравственного уровня без религиозного воспитания станет неизбежным. Не случайно, что те, кто брались за выполнение гитлеровских преступлений, сначала должны бы-

ли отречься от своей веры. Не случайно и то, что вслед за безверием наступает распад семьи, преступность среди молодежи принимает устрашающий объем, в том числе проституция малолетних. Разве можно, имея всё это перед глазами, отказываться от обязательного преподавания Закона Божия? Ведь это в первую очередь лишит религиозного воспитания как раз тех детей, которые не испытывают его дома, в семье. И не страдают ли прежде всего дети беднейших слоев населения, более всего нуждающиеся в религиозно-нравственном окормлении? Разве не следовало бы объединиться и направить все силы к тому, чтобы усилить влияние религии на общество и этим приостановить распад общества?

Ради сохранения нашей нации и ради обеспечения нашего экономического и нравственного подъема мы твердо остаемся при нашем мнении, что обязательное обучение Закону Божьему необходимо. Мы так же твердо настаиваем на этом, как врачи на обязательной прививке против оспы. Мы не желаем, чтобы очаги заразы безнравственности всё шире распространялись отдельными людьми или группами людей, которые сами растут, не зная Бога, не зная Христа, без надежды на жизнь вечную. Пусть не говорят нам, что и там, где религиозное воспитание обеспечено, бывают преступники и распространяется безнравственность. Ведь несмотря на существование врачей, до сих пор бывают болезни, а время от времени случаются даже эпидемии. Но в таких обстоятельствах пастыри только еще более напрягают все силы. Умножение греха и порока требует умножения мер по обороне душ от соблазнов мира сего

путем религиозного воспитания... Мы уверены в том, что лишь немногие католические родители согласились бы лишиться своих детей преподавания Закона Божия. В этом убеждают нас практически единодушные высказывания родителей.

Все они желают, чтобы ребенок их учил Десять Заповедей Божиих, в том числе заповедь «Чти отца твоего и мать твою». Но мы опасаемся, что в случае отмены обязательного прохождения Закона Божия столь хваленую свободу совести станут нарушать, оказывая на отдельные группы верующих христиан давление — возможно, что такому давлению в первую очередь подвергнутся беднейшие слои населения — с требованием, чтобы дети их перестали посещать уроки Закона Божия. Это только обеднило бы еще больше тех, кто был бы таким образом лишен основы сознания своего человеческого достоинства, своего источника утешения. Непомерно дорог и горек будет хлеб, который станут покупать родители ценой веры своих детей.

Возлюбленные верующие! Часто Церковь упрекают в том, что она своим последователям обещает блаженство в потустороннем мире, в то время как мы, говорят материалисты, даем человеку счастье здесь на земле. А чтобы дать им счастье, продолжают они, надо переключить их внимание с потустороннего мира на богатства этой земли. С верой и с обучением религии, которая направляет взор на небесное, надо покончить, и тогда человек без помех сможет наслаждаться земными благами. Вот откуда происходит враждебное отношение к преподаванию Закона Божия. Но на самом деле счастливых людей не встретишь среди тех, кто

отдается одним только земным радостям; ибо переходящие, ненадежные богатства мира сего не раз уже бывали причиной многих заблуждений и горьких разочарований. Вырвавшиеся из-под сдерживающего влияния религии человеческие страсти и инстинкты послужили причиной бесчисленных несчастий и нужды. Нам же, верующим, никто не запрещает пользоваться благодетельными радостями земной жизни, испытывать счастье. Если же мы его не находим здесь, то у нас всегда остается надежда на вечное блаженство, исполняющая нашу душу миром и спокойствием. Атеист любой ценой добывается земного блаженства, считая его единственной возможностью, открытой для человека, но не достигает при этом ни земного, ни потустороннего блаженства. Мы же прежде всего ищем вечных благ; а земные по обетованию Господа нам приложатся (Матф. 6, 33). Мы хотим, чтобы и дети наши могли приобрести счастье на земле и блаженство в жизни вечной — причина вполне достаточная, чтобы в вопросе об обязательности Закона Божия в школе проявить необходимую твердость».

Столь решительное сопротивление заставило партию отказаться от введения факультативного преподавания Закона Божия и унификации учебников. Лишь два года спустя был отменен закон об обязательности прохождения Закона Божия в школе. Сопротивление Церкви ясно показало, как глубоко укоренена вера в душе венгерского народа. Ракоши вынужден был признать, что на данной стадии борьбы победа осталась за Церковью. Он прибегнул к обману и хитрости, выдвинув утверждение, будто план этот был придуман партией

Мелких землевладельцев, а вовсе не коммунистами. Коммунисты-де, в соответствии с принципами демократии и во имя свободы совести, только желали, чтобы преподавание религии стало «свободным». Но пока венгерский народ истекает кровью, — заявил он, — следует избегать споров по таким вопросам, которые способны посеять новое беспокойство и новую вражду в народе. Генеральный секретарь коммунистической партии выступил с этой фальшивкой, открывая предвыборную кампанию по перевыборам парламента. В последующей главе, посвященной парламентским выборам 1947 года, читатель сможет убедиться в этом.

Вторые выборы в Национальный Совет

После разгрома партии Мелких землевладельцев доминирующей силой в Национальном Совете стали коммунисты. Это позволило им 25 июня 1947 года провести новый избирательный закон. Закон этот был выработан и предложен парламенту коммунистическим министром внутренних дел, фактически предопределив исход выборов в Национальный Совет, назначенных на 31 августа. Выборы должны были только легализовать происшедший уже на самом деле захват власти коммунистами. Им казалось, что это ускорит достижение их конечной цели — построения коммунизма по советскому образцу. Новый избирательный закон предусматривал составление новых списков голосующих. При составлении этих списков, над которым «надзирал» сам министр внутренних дел — коммунист, в массовом порядке пропускались фа-

миллии граждан, о которых знали, что симпатии их не на стороне марксистских партий. Оказался невключенным в списки избирателей почти миллион лиц. У них просто похитили их право участвовать в выборах. Среди пострадавших было много священников, монахов и монахинь. Помимо этого, сразу после назначения выборов было объявлено о роспуске «партии Свободы», которая в течение зимы и весны, когда кризис охватил партию Мелких землевладельцев, успешно укрепляла и отстаивала свои позиции. Повсеместно к ней примыкали большие массы воодушевленных граждан. Специалисты по демоскопическим прогнозам считали, что на выборах в Национальный Совет эта партия соберет не менее 60 или даже 65 процентов голосов.

Даже епископы склонялись к тому, чтобы рекомендовать своим пасомым поддержку партии Свободы. Степень популярности, достигнутая этой партией, отражалась, например, в том, что ее газета «Хольнап» выходила тиражом в 300.000 экземпляров. Но неожиданно-негаданно работники типографии, по указанию профессионального союза, отказались печатать эту газету, что означало смертельную угрозу для партии. Председатель ее, член Национального Совета Дежё Шуйок, протестовал, но ничего добиться не смог. Несмотря на то, что по стране прокатилась волна возмущения, коммунисты потребовали от Шуйока, чтобы он, еще до назначения выборов в Национальный Совет, распустил свою партию. Это свое требование они стали подкреплять всё более неприкрытыми угрозами. Но ни Шуйок, ни другие руководители партии не поддавались этому шантажу. Тогда — как и в

случае партии Мелких землевладельцев — вступила в действие политическая полиция. Стали арестовывать ни в чем неповинных людей. Чтобы воспрепятствовать дальнейшим массовым арестам и ссылкам, Шуйок объявил о роспуске своей партии: коммунисты достигли своей цели.

После этого коммунисты, придерживаясь хитроумной тактики, позаботились о том, чтобы вместо партии Свободы в выборах смогли принять участие шесть других оппозиционных партий. Четыре из них по взглядам, выраженным в их программах, стояли на христианской основе. В отличие от того, как оно действовало за два года до этого, русское командование теперь каждому желающему выдавало разрешение на создание партии и участие в выборах. Мне известны случаи, когда отдельным лицам, против их желания, предлагали организовать новую партию. Так коммунисты подготовили раздробление составляющей подавляющее большинство оппозиции. В то же самое время они оказали давление на марксистских политиков, заставив их составить общий с коммунистами избирательный блок. Зная, что несмотря на все эти махинации, марксистские партии при существующем соотношении сил всё равно не смогут добиться абсолютного большинства, коммунисты подвергли давлению партию Мелких землевладельцев, требуя, чтобы и она присоединилась к их избирательному блоку. В конце концов четыре правительственных партии (коммунистическая, социал-демократическая, национальная крестьянская и Мелких землевладельцев) образовали «Венгерский фронт независимости». 30 июля 1947 года «Фронт» опу-

ликовал свою платформу, в которой давались такие торжественные обязательства:

«Партии Венгерского фронта независимости будут совместно охранять свободу религиозной веры и христианских убеждений венгерского народа.

Совместно будут они оберегать неприкосновенность суверенитета венгерской нации и венгерского государства.

Совместно они будут отражать любые попытки внешних сил вмешиваться во внутренние дела Венгрии.

Совместно берут они на себя охрану свободы и неприкосновенность частной инициативы, частного имущества, создаваемого личным трудом, и имущества граждан небольшого достатка.

В интересах свободы и безупречности выборов они сделают всё, чтобы обеспечить венгерскому народу возможность свободно воспользоваться своими гражданскими правами и свободно выразить свою волю».

При подобных обстоятельствах Совецание епископов вынесло решение не оказывать поддержки ни одной партии. 25 июля 1947 года мы огласили следующее краткое сообщение:

«После подробного изучения создавшейся политической обстановки и возможного ее развития в связи с предстоящими выборами, венгерские епископы констатируют, что они вынуждены отказаться от выражения поддержки какой-либо одной определенной партии. Но они призывают тех верующих, за которыми измененный закон о выборах сохранил их право голоса, по совести и с сознанием ответственности использовать это свое

право. Венгерские епископы молят Бога о том, чтобы Он поддержал венгерский народ в это столь критическое для народа и для страны время».

По мере приближения выборов коммунисты все более смягчали свои выпады против Церкви и в конце концов вовсе их приостановили. К удивлению общественности, они даже сделали попытку продемонстрировать известное благожелательство в отношении Церкви и религии.

Не только на собраниях, но и в своих газетах коммунисты стали хвалиться тем, что при проведении земельной реформы они якобы многих священников наделили землей и недвижимостью, что коммунисты в деревнях затратили много усилий на восстановление разрушенных церковных зданий, школ, часовен и принадлежащих Церкви домов для причта. Стараниями коммунистического партийного руководства-де удалось вернуть в Венгрию вывезенные фашистами церковные колокола. В одном из сел генеральный секретарь коммунистической партии Матьяш Ракоши заявил на собрании избирателей: «Вот мы возвращаем вам ваши колокола; ведь колокол для того существует, чтобы своим звоном побуждать души верующих восхвалять Господа. Я счастлив, что мог лично принять участие в возвращении вам этих колоколов». В тот же самый день репортер запечатлел Ракоши протягивающим руку католическому священнику. Эту фотографию отпечатали в виде открытки и распространили по всей стране, очевидно, придавая ей значение символа, доказательства доброго взаимопонимания между Церковью и коммунистической партией.

Мы считали себя обязанными указать верующим на противоречие между прежним поведением коммунистов и нынешним, а также разъяснить обстоятельства, обусловившие это изменение. Наш еженедельник «Уй эмбер» в одном из своих номеров поставил вопрос, не следует ли считать это новое отношение к Церкви со стороны коммунистов чисто тактическим? Ежедневная газета коммунистов дала немедленный ответ: «О тактике здесь не может быть и речи. Суть дела в том, что мы пришли к убеждению в необходимости для Церкви и для народной демократии найти путь, ведущий к урегулированию открытых вопросов, к взаимопониманию, к установлению постоянных добрых отношений».

После этого наш еженедельник поднял ряд нерешенных вопросов, до сих пор омрачавших отношения между Церковью и государством, в частности, о тех стеснениях, которым подвергалась католическая печать. Нам дали восстановить лишь малую долю наших некогда столь популярных органов печати, а двум существующим еженедельникам предоставлялся совершенно недостаточный лимит на бумагу. Указывалось далее и на стеснения, которым подверглось право Церкви на устройство крестных ходов и организацию благотворительной деятельности, отмечались нападки и клевета, жертвами которых постоянно остаются духовные лица, руководители церковных учреждений и школ. Газета вынуждена была установить:

«Разница между прежним и теперешним поведением настолько велика, что в очень широких кругах католического населения вполне законо-

мерно могло возникнуть мнение, что позиция последних месяцев — всего лишь тактика».

В некоторых своих выступлениях я тоже касался этого ханжеского дружелюбия коммунистов и их навязчивой благожелательности к нам. Не мог я удержать себя и от иронии, как, например, это было в слове, сказанном перед рабочими в Андьял-фёльде, в котором я со ссылкой на Евангелие отметил:

«Спаситель предупреждал нас от тех лжепророков, которые придут к нам в овечьей одежде, на самом деле будучи хищными волками. Час этого искушения наступил: волки меняют костюм. Вчера еще грызли они со злобой овец, а сегодня спешат убедить нас в своей доброте, прикрываясь шкурой ими же убитых овец. Не верим мы ни волчьей шкуре, ни овечьей, если и за нею прячутся волки».

Венгерские епископы очень скоро вынуждены были убедиться в том, что всё это было лишь предвыборной тактической уверткой. По поручению Совещания епископов, архиепископ Эгерский Дьюла Чапик поддерживал в целях взаимной ориентации контакт с представителями правительства. Сославшись на изменение отношения коммунистов к Церкви, он выразил желание получить разрешение на организацию ежедневной газеты католического направления. Ему ответили, что разрешение на издание такой газеты будет предоставлено не далее, как через неделю и что будут обеспечены значительные запасы бумаги. Но напрасно ждали епископы выполнения обещанного. Коммунисты в конце концов отказали в издании нашей газеты.

Получив возможность ознакомиться с новыми списками избирателей, мы смогли убедиться в том, сколько грубых нарушений закона было допущено при их составлении. Поэтому я, в интересах и от имени своего испытывающего горечь и ущемленного в своих политических правах народа, обратился с письменным протестом против этих правонарушений к премьер-министру:

«Господин премьер-министр!

Не вдаваясь в политические разногласия и не желая принимать участия в борьбе партий, венгерские епископы, как Богом призванные хранители добрых нравов и справедливости, возвышают свой голос и возражают против того, что значительную часть граждан лишили возможности пользоваться своим правом голоса.

Положение это тем более вызывает наше возмущение, поскольку речь идет не только об ущемлении демократических прав, в равной мере принадлежащих каждому гражданину, но и о нарушении прав гражданских, закрепленных новой венгерской конституцией. Особенно недопустимым венгерские епископы считают выдвижение оскорбительных и часто несоответствующих действительности утверждений, которые используются в качестве предлога для указанных нарушений закона. Совершенно необходимо, чтобы венгерское правительство своевременно нашло бы путь к исправлению допущенных нарушений закона. Примите, господин премьер-министр, мои искренние заверения моего к Вам почтения.

Эстергом, 14 августа 1947 года

От имени всех епископов Венгрии
Йожеф Миндсенти».

Случалось и так, что для обмана верующих в списки кандидатов марксистских партий включали священников — без их ведома и не испросив их согласия.

Чтобы обмануть народ, правительство в тот год направило официальных представителей, которые участвовали в крестном ходе с мощами десницы святого Стефана; даже советский посланник поздравил венгерскую нацию с днем святого Стефана. А потом наступило 31 августа — день избирательной комедии. Первоначально многие хотели выразить свой протест отказом от подачи голоса. Но после нашего воззвания большинство верующих все же направилось к избирательным урнам, отдав свои голоса оппозиционным партиям. Мы считали участие всего народа в голосовании совершенно необходимым, ибо в условиях существовавшей тогда политической неразберихи и интриг только таким образом можно было ясно выразить, что нация не склонна добровольно примириться со своим подчинением коммунизму. Согласно новому избирательному закону, можно было, предъявив выставленную соответствующим избирательным учреждением карточку, голосовать и не по месту жительства. Это нововведение как нельзя лучше отвечало планам коммунистов. Их сторонники в течение дня проявили значительную подвижность и проголосовали в нескольких избирательных округах подряд. С утра до позднего вечера они ездили группами в 40-50 человек под видом туристов, но снабженные необходимыми для голосования документами, на государственных автобусах или заводских грузовиках из города в город и подавали свои голоса в округах, где таким

способом можно было существенно повлиять на исход выборов. Если же избирательная комиссия какого-нибудь села или города против этого начала возражать, то появлялась политическая полиция и обеспечивала возможность незаконной многократной подачи голосов коммунистами.

Использование избирательных карточек, подделанных в министерстве внутренних дел, принесло коммунистам несколько сот тысяч голосов. Кроме того, представители политической полиции в счетных комиссиях позаботились о том, чтобы результаты соответствовали расчетам коммунистов. Если, например, из-за беспорядка с разъезжающими по округам избирателями число поданных в округе голосов не отвечало числу зарегистрированных избирательных карточек, то для «поправки» просто изымалось и уничтожалось соответствующее количество поданных за оппозицию бюллетеней, чем «порядок» и «восстанавливался».

Обнародованные результаты выборов были следующие: из пяти миллионов поданных голосов коммунисты получили 22 процента. Четыре партии правительственного блока вместе собрали 60 процентов голосов — коммунисты 22, социал-демократы 14, национальная крестьянская партия 9, а партия Мелких землевладельцев 15 процентов. Оппозиционные партии набрали 40 процентов поданных голосов. Немарксистские партии вместе получили — отнеся к ним и партию Мелких землевладельцев — всё еще более 55 процентов голосов. Правонарушения коммунистов вызвали, даже со стороны их товарищей по коалиции, крайнее возмущение. По всей стране были начаты расследования случа-

ев подтасовки выборов и злоупотреблений при составлении списков избирателей. Руководство крупнейшей из оппозиционных партий, Венгерской партии независимости, выдвинуло требование, чтобы выборы были объявлены недействительными. Коммунисты ответили на это тем, что обвинили «независимых» в употреблении подложных подписей при выдвижении кандидатов в ряде избирательных округов. Это обвинение тоже было связано с новым законом о выборах. Этот закон предписывал, что вновь организуемые партии обязаны представлять определенное количество подписей поддерживающих их граждан. Для выдвижения кандидата в том или ином округе новая партия обязана была представить письменное заявление избирателей с определенным числом подписей. Пятьсот чиновников политической полиции было теперь брошено на то, чтобы проверить подлинность подписей на заявлениях граждан, поддерживавших обвиненную в подлоге партию. Как и следовало ожидать, было «обнаружено» 11.000 случаев «подделки» подписи. На основании соответствующего полицейского рапорта, правительственные партии по предложению коммунистов потребовали, чтобы все мандаты членов Венгерской партии независимости были объявлены недействительными особым избирательным судом. Этот суд тоже был одним из «подарков» нового избирательного закона. Состоял он не из независимых судей, а из лиц, делегированных туда партиями. Состав суда соответствовал составу парламента. Другими словами, и там правительственные партии обладали 60-процентным большинством. Ни для кого поэтому не было неожиданностью, что

суд пошел навстречу требованию коммунистов и аннулировал почти все мандаты депутатов Венгерской партии независимости, оставив ей только четыре места в парламенте.

Таким образом Национальное Собрание превратилось в послушное орудие коммунистической диктатуры.

(Окончание следует)

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ИЗ-ПОД ГЛЫБ НАСИЛИЯ И ЛЖИ

Казалось бы, менее чем за год нашим властям удалось навести «полный порядок» в своей идеологической епархии: выслан Солженицын, «добровольно» отправились за рубеж Бродский, Синявский, Галлич, Коржавин, Некрасов, надежно упрятаны за решетку Буковский, Мороз, Марамзин, Осипов. Как говорится: тишь да гладь!..

И вдруг, словно гром с ясного неба: в центре Москвы, среди бела дня, открыто, четыре интеллигента собирают пресс-конференцию, на которой перед всем миром заявляют свое категорическое «нет» социализму как доктрине, дают беспощадную оценку недавнему прошлому своей страны, с надеждой говорят о ее христианском будущем. Действительно, такого еще в нашей новейшей истории не было!

Причиной пресс-конференции послужил выход

в свет религиозно-философского сборника «Из-под глыб», в котором эта четверка смельчаков — Игорь Шафаревич, Мелик Агурский, Евгений Барabanов и Вадим Борисов — приняла самое активное участие.

Не вдаваясь в подробности его содержания (об этом довольно широко и достаточно квалифицированно писалось в мировой печати), мы считаем необходимым прежде всего отметить здесь беспрецедентную в наше время честность мысли авторов, их духовное мужество, полное отсутствие у них, говоря словами Достоевского, стыда собственного мнения.

Наперекор удушающей инерции вульгарно клишированного мышления современной «прогрессивной» интеллигенции, не боясь угрозы быть причисленными к лику «реакционеров» и «консерваторов», сквозь трафаретную убогость политической демагогии «революционеров в качалках» они



И. Шафаревич

открыто провозгласили себя: а) принципиальными противниками радикального насилия; б) безусловно верующими людьми; в) убежденными сторонниками сугубо нравственной революции.

С ними можно соглашаться или не соглашаться, но их невозможно опровергнуть: за них свидетельствуют более шестидесяти миллионов исчезнувших без следа, расстрелянных и замученных насмерть! Что, кроме безответственной теоретической болтовни, могут противопоставить им душевно оглохшие от пресыщения и праздности юродствующие экзистенциалисты от анархии?

На встрече с корреспондентами в Цюрихе, посвященной выходу сборника «Из-под глыб», Александр Солженицын, кстати сказать, один из основных его участников, напомнил собравшимся слова Достоевского, вложенные последним в уста Дмитрия Карамазова: «Красота (т. е. гармония) есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей».

Можно смело сказать, что в этой битве новый вклад русской мысли в мировую культуру — еще одна победа духа над бездуховностью.



А. Солженицын

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЕН-КЛУБ

Секция писателей в изгнании

Ричмонд Хилл, Нью-Йорк

1 декабря 1974

Дорогой господин Максимов!

Разрешите передать Вам самые сердечные пожелания членов американского отделения секции писателей в изгнании Международного Пен-клуба, в связи с выходом «Континента». За последние три десятилетия в Восточной Европе родилось нечто исключительное и прекрасное — солидарность писателей и художников, закаленная в тоталитарных застенках. Они поняли, что составляют одну общую семью. Теперь Ваш журнал стал голосом и домом этой семьи. Перед «Континентом» стоит очень важная миссия — для Востока и Запада. Мы уверены в ее успехе и обещаем Вам нашу поддержку.

Искренне Ваш
Альгирдас Ландсбергис
Председатель

АССОЦИАЦИЯ ЛИТОВСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
Бруклин, Нью-Йорк

15 декабря 1974

Дорогой господин Максимов!

Ассоциация литовских писателей, объединяющая 95 писателей, проживающих за границами родной страны, приветствует издание «Континента» — журнала восточноевропейских писателей. Как беженцы из тоталитарной части европейского континента, мы особенно хорошо отдаем себе отчет в важности нового журнала для поощрения свободы духа. Мы обещаем Вам поддержку и сотрудничество в Вашем начинании, считая себя его неотрывной частью.

Леонардас Андриекус
Председатель

«ИЗ-ПОД ГЛЫБ»

Сборник статей

Название этого сборника символично.

Это события последнего полустолетия «грудились глыбами», и то оживление русского национального самосознания, которое мы ныне наблюдаем, — как голоса из-под глыб. «Из той темноты и сырости, из-под глыб, мы трогаем теперь первыми слабыми всходами», — пишут составители сборника. Но это преуменьшено: не «слабыми всходами», а свежим и сильным ростком того древа жизни, которое у Пушкина названо:

«Любовь к родному
пепелищу,
Любовь к отеческим
гробам».

Вот порядок статей:

А. И. Солженицын, «На возврате дыхания и сознания»; И. Р. Шафаревич, «Социализм»; М. С. Агурский, «Современные общественно-экономические системы и их перспективы»; И. Р. Шафаревич, «Обособление или сближение»; А. И. Солженицын, «Раскаяние и самоограничение»;

А. Б., «Направление перемен»; Ф. Корсаков, «Русские судьбы»; Е. В. Барabanов, «Раскол Церкви и мира»; В. М. Борисов, «Национальное возрождение и нация-личность»; А. И. Солженицын, «Образованщина»; И. Р. Шафаревич, «Есть ли у России будущее?»

Темы разные, но все объединены одной общей интенцией, одним общим чаянием: авторы сборника зовут нас к духовному перевороту, к тому, что Солженицын так удачно назвал «нравственной революцией».

Не будем входить в содержание отдельных статей. В каждой есть каждому над чем задуматься. Отметим только, что статьи Борисова (год рожд. 1945) и Барabanова (год рожд. 1943) — такой же зрелый плод большой и глубокой мысли, как и статьи их старших соавторов по сборнику.

Статья Борисова «Национальное возрождение и нация-личность», написанная с позиций современного персонализма, не только вводит читателя в метафизические глубины нацио-

нального бытия, но и философски обосновывает призыв Солженицына к национальному раскаянию и самостеснению, а статья Барабанова «Раскол Церкви и мира», предлагая вступить на путь «не к реформации, а к трансформации христианского сознания», напоминает о христианском долге не только по отношению к Церкви, но и к миру, оправдывая ту идею жертвы и жертвенности, которой Шафаревич заканчивает сборник.

Пересмотр не верхних, а именно нижних, безнадежно, казалось, заглубленных пластов нашего бытия по-своему начат каждым автором сборника. Вот почему «Из-под глыб» прежде всего — свидетельство уже идущей в России революции духа.

Изд-во YMCA-PRESS, 1974,
276 стр., цена 30,— фр. фр.

Роберт Конквест
«БОЛЬШОЙ ТЕРРОР»

Автор книги — талантливый английский историк, собравший и обработавший огромный материал прежде чем приступить к обобщениям и выводам. Книга

Конквеста — доказательство силы и убедительности добросовестного исследования.

В центре его — террористическая деятельность И. В. Сталина, достигшая апогея в тридцатых годах, в показательных процессах над Зиновьевым, Каменевым, Пятаковым, Рыковым, Бухариным и др. Военное и послевоенное время рассматривается только в эпилоге, а процессы, предшествовавшие убийству Кирова, — в приложении «Е». За рамками книги лежит и эпоха репрессий, с помощью которой была создана колхозная система. «Большой террор» охватывает, таким образом, отнюдь не всю историю большевистского террора, но лишь сравнительно короткий ее отрезок, который, по мнению автора, в 1934-1938 годы привел диктатуру Сталина к ее вершине, к XVIII съезду ВКП(б).

Соответственно этому, ключевыми главами книги надо считать главы IV, V и XI, «Признания», «Что означали признания» и «Большой спектакль» (Суд над Бухариным и Рыковым). Не будучи прямым свидетелем, но лишь талантливым историком, Конк-

вест, не пройдя через тюрьмы и лагеря, сумел не только увидеть, но и показать читателю, что «искаженный легализм» сталинского террора объясняется не случайной прихотью тирана, не желанием «сохранить форму», но «решимостью вообще уничтожить понятие правды», из которой вырастает «мистическое тяготение» непременно добиться признания обвиняемого (см. стр. 283 и 284).

Конквест по всем доступным ему источникам прослеживает судьбы всех сколько-нибудь выдающихся жертв, всех, кем в той или иной мере занимался лично Сталин. Их имена нетрудно найти в алфавитном указателе в конце книги.

Но Конквест ясно отдает себе отчет и в том, что «все-таки самым главным остается масштаб террора» (стр. 17) и что «на каждого пострадавшего члена партии приходилось 8-10 брошенных за решетку простых граждан» (стр. 521). Глава IX «Вакханалия» (Доносы. Массовый охват. Процедура. Камера. Крупнейшие центры. Обработка. Разбор дела. На культурном фронте) и глава X «Во глубине» (Империя ГУЛага)

занимают более полутора-ста страниц, представляя собой солидно документированное ссылкой на захваченный немцами архив смоленского управления НКВД и свидетельства бывших заключенных описание терроризации народных масс. Приложение же «А»: «Масштаб потерь» — дает хорошо продуманные цифровые предположения о вероятной численности арестованных, расстрелянных, заключенных, погибших преждевременной смертью жертв «большого террора».

Чтение книги Конквеста не назовешь, конечно, приятным или занимательным. Но не прочесть эту книгу, — значит не пожелать прочесть едва ли не самую страшную страницу человеческой истории.

Перевод с английского Л. Владимирова.

Изд-во «Аурора», Флоренция, 1974,
1064 стр., цена 34 н.м.

Н. С. Арсеньев

ДАРЫ И ВСТРЕЧИ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ

Автор сам объясняет читателю, что побудило его написать эту книгу: «...есть

просто потребность: запечатлеть и благодарить и с благодарностью прикасаться в памяти к тому живительному, к тому глубоко своеобразному и неповторимому, с чем приходилось встречаться в жизни».

В наше время это редко бывает: благодарить. А книга Арсеньева в самом деле написана из благодарности, и в этом ее главная прелесть. Автор, пожилой уже человек, потомок древнего дворянского рода, эмигрантский профессор богословия, благодарит Творца за ниспосланные ему дары. За юные годы в фамильном имении в Тульской губернии, за университет в Москве (1906-1910), за встречи с хорошим людьми на родине и за границей, за причастность к науке, к искусству, к вере. За жизнь ума и сердца.

Первая часть, по слову автора, это «очерки», связанные биографической нитью»; вторая — посвящена нескольким образам мыслителей и поэтов, Хомякову и Кожевникову, Киреевскому, С. Н. Трубецкому, С. Л. Франку, с добавлением статей «Что общего у нас со Средними Веками» и «О духовной и культурной традиции русской

семьи». И все изложение согрето, — нет, насквозь прогрето — искренней и глубокой христианской верой, любовью к Творцу и Его творению.

Тем, кто любит жизнь и верит в Бога, книга Арсеньева не может не понравиться. Тем же, кто не любит и не верит... Впрочем, пусть прочтут и они, даже если, пожав плечами, назовут ее «сладенькой».

Изд-во «Посев», 1974,
340 стр., цена 24 н. м.

Сергей Максимов
ДЕНИС БУШУЕВ. Т. I

Большой роман, написанный «не мудрствуя лукаво», по лучшим классическим образцам. Автор — волжанин, и действие (тут и любовь, и убийство, и творческое пробуждение героя) разворачивается на Волге в 1930-х годах, в период времени, мало кем описанный. (Не считая, понятно, расхожих поделок социалистического реализма).

Автору особенно удалось описание провинциального быта села Отважного и соседней Татарской слободы, жизнь которых показана живо и неискаженно, порой с такой выразительностью,

что отдельные сцены, как, например, погром церкви в селе Спасском, надолго врезаются в память.

2-е издание

Изд-во «Посев», 1974,
470 стр., цена 27.80 н.м.

Роман Г у л ь

АЗЕФ

Хорошо известный уже в эмиграции исторический роман, описывающий знаменитую провокацию Азефа. Автор не только рисует характеры Азефа, Бориса Савинкова и других деятелей тогдашнего революционного движения, но старается ввести читателя в атмосферу того, теперь уже отзвука далекого времени.

Это, разумеется, не история, но исторический роман, увлекательный и пробуждающий интерес к истории.

4-е издание

Изд-во «Мост», 1974,
320 стр., цена 18 н.м.

А. С. К а з а н ц е в

ТРЕТЬЯ СИЛА

Эта книга — записанные непосредственно по окончании войны наблюдения и

размышления одного из видных деятелей Власовского движения, редактора его центрального органа «Воля народа». Автор описывает в ней трагическую попытку создания «третьей силы», ту борьбу, которая велась во время войны русскими антибольшевиками за право и возможность сражаться против Сталина, но не за Гитлера, а за Россию.

В книге описана, однако, также встреча первой, «белой», и второй, «власовской», эмиграции. И сейчас, когда появляется новая, «третья эмиграция», книга Казанцева опять становится актуальной.

2-е издание

Изд-во «Посев», 1974,
352 стр., цена 18.80 н.м.

Михаил Н о с т р а д а м у с
ЦЕНТУРИИ

Новый русский перевод, а вернее, стихотворный пересказ знаменитых «Центурий» Нострадамуса — не легкая задача, с которой переводчик Вячеслав Завалишин справился очень умело, снабдив его еще и комментариями, и вводной статьей «Нострадамус как

дальний предтеча футурологов», и библиографической справкой. Переведены также, разумеется, и относящиеся к «Центуриям» послания Нострадамуса к своему сыну Цезарю и к французскому королю Генриху II.

Русскому читателю, склонному к расшифровке таинственных пророчеств прославленного врача и астролога, издание этого

перевода принесет немало волнующих минут. Читателю, любящему историю, оно поможет вжиться во французский XVI век, в миропереживание эпохи Возрождения, в тот судьбоносный перелом от Средневековья к Новому Времени, сыном которого является Нострадамус.

Изд-во Раузен Пабlishерс,
288 стр.

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ: ГОВОРIT МОСКВА!

МОСКВА: ЗАПАДНАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ ПРОТИВ ИЗДАНИЯ НОВОГО ЖУРНАЛА

*Радио Москва на итальянском языке для Италии,
7 октября 1974 года*

Агентства новостей и некоторые газеты Федеративной Республики Германии сообщают, что западно-берлинское издательство Ульштейн-Проппелеен, принадлежащее группе Шпрингера, намерено издавать журнал «Континент». Согласно сообщению Вольфа Зидлера, главы издательства Ульштейн и одного из основных инициаторов публикации нового журнала, «Континент» должен стать органом русских литераторов, покинувших Советский Союз.

И хотя Зидлер объявил, что его издательство вкладывает двести пятьдесят тысяч немецких марок в это предприятие, факты говорят за то, что журнал «Континент» финансируется не этим издательством, а несколькими западными секретными службами, заинтересованными в как можно большем распространении подрывной деятельности в отношении к Советскому Союзу. Другим доказательством этого является то, что они пытаются придать журналу международное значение.

Доказательством присутствия руки секретных служб в издании «Континента» служит также и факт, что сам Шпрингер определенно не стал бы рисковать входить в проект с такими незначительными перспективами, принимая во внимание те финансовые трудности, в которых находится сейчас его концерн.

Кроме того, участие разведок в публикации «Континента» доказывается и местом редакции. Это — здание издательства НТС «Посев», финансирующегося, как нам известно, ЦРУ.

Нужно заметить, что связь с секретными службами не обещает ничего хорошего издательству Ульштейн, которое объявляет себя независимым. Такие связи могут только повредить репутации издательства. Достаточно вспомнить о журнале «Монат», который перестал выходить сразу же, как стали известны его связи с ЦРУ.

Идея публикации журнала «Континент» мертва с самого начала и не обещает ничего, кроме осложнений, которые, разумеется, не служат улучшению отношений между СССР и ФРГ.

ИЗДАНИЕ АНТИСОВЕТСКОГО ЖУРНАЛА В АНГЛИИ

3-4 ноября 1974 года

По сообщению из Лондона Спартака Алексева, английское радио, ссылаясь на статью Николаса Бетелла в газете «Таймс», объявило об издании журнала «Континент» в Англии. Алексеев говорит, что английская пропаганда, «как насадка, высиживает это антисоветское яйцо».

В сообщении Алексева говорится, что все выехавшие из Советского Союза, полны желания вылить побольше грязи на свою страну, приехали в Великобританию, где им предоставлено «широкое поле для своих заявлений и антисоветской деятельности». Николас Бетелл пытается представить факт издания «Континента» в выгодном свете и надеется, что этот «новый акт антисоветского саботажа» не распадется так быстро, как ему подобные предыдущие.

Вопреки словам Бетелла, что Синавский, Максимов, Солженицын и другие оппозиционеры поддерживаются только издательством Ульштейн, журнал на самом деле является «явным продуктом» «небезызвестной» организации НТС. Те, кто поддерживает «Континент», не заинтересованы в диалоге между Востоком и Западом, а хотят лишь помешать делу мира и разрядки напряженности в Европе.

К сожалению, попытки помешать успешному окончанию европейской конференции по вопросам безопасности и сотрудничества опять получили поддержку в Англии. Сомнительно, чтобы издание еще одного антисоветского журнала благоприятно повлияло на развитие добрососедских отношений между СССР и Великобританией.

РАДИО МОСКВА ПРОТИВ СОЛЖЕНИЦЫНА

*(по сообщению Агентства Франс-Пресс,
26 декабря 1974 года)*

В четверг Радио Москва вновь атаковало русского писателя в изгнании, лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына, деятельность которого (согласно радио) все больше и больше выходит из рамок литературы и принимает открытый антикоммунистический характер.

Обильно ссылаясь на статью, напечатанную в югославской газете «Борба» под заголовком «На службе у Шпрингера», советское радио особо подчеркнуло «связи» Солженицына с крайне правыми кругами Федеративной Республики Германии.

Радио добавляет: «Примкнув к своим единомышленникам, тем, кто борется с социализмом и прогрессом, опираясь на общую антикоммунистическую платформу, Солженицын стал членом редколлегии нового

эмигрантского журнала, финансируемого магнатом крайне (ультра) правой прессы Западной Германии Шпрингером, который сгруппировал вокруг этого журнала отбросы эмигрантов» (речь идет о журнале «Континент» под редакцией писателя Владимира Максимова). «Первая статья Солженицына, появившаяся в журнале, вызвала острую реакцию даже среди либеральной интеллигенции Западной Германии», — подчеркнуло Радио Москва, напомнив в связи с этим выступления Гюнтера Грасса и Генриха Бёлля.

«Солженицын, — говорит в заключение Радио Москва, — очень низко пал в моральном смысле. Заявление, сделанное им в Стокгольме, было пронизано антикоммунизмом. Пытаясь дискредитировать социализм и вызвать сомнения в самых позитивных достижениях социалистических стран, Солженицын разоблачил и дискредитировал лишь самого себя.»

СОДЕРЖАНИЕ

Иосиф Богораз — «Наседка»	5
Наум Коржавин — Стихи	71
Александр Суконик — Мой консультант Болотин (Из цикла «Омертвление»)	79

РОССИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Григорий Померанц — «Эвклидовский» и «неэвклидовский» разум в творчестве Достоевского	109
А. Пятигорский — Уход Дандарона	151

ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ

Валентин Мороз — Хроника Сопrotивления	161
Кардинал Иосиф Слипый — Где найти справедливость? (С предисловием Доминика Моравского)	187
Иржи Гохман — Письмо доктору Василию Билаку	197

ЗАПАД — ВОСТОК

Карл-Густав Штрём — Советская политика на Балканах	211
Хорватские интеллектуалы и студенческие руководители в югославских тюрьмах	221
Леопольд Лабедз — Судьба писателей в революционных движениях	223

«ИЗ ГЛУБИНЫ»

Георгий И в а н о в — Стихи (публикация К. Померанцева)	259
Зинаида Ш а х о в с к а я — Бунин	263
Александр Б а х р а х — «По памяти, по записям»: Андрей Белый	288

ИСТОКИ

Франц В а р к о н и - Л е б е р — «Пока однажды...»	323
Кардинал М и н д с е н т и — Перед лицом новых испытаний	362

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Из-под глыб насилия и лжи	399

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	401

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ: ГОВОРIT МОСКВА!	407



Континент

Ежеквартальный журнал, выходящий
на пяти языках:
русском, немецком, французском,
итальянском, английском

В журнале принимают участие:

**Раймон Арон, Иосиф Бродский, Александр Галич,
Ежи Гедройц, Густав Герлинг-Грудзинский, Игорь
Голомшток, Милован Джилас, Эжен Ионеско,
Лешек Колаковский, Роберт Конквест, Наум Кор-
жавин, Леопольд Лабедз, Виктор Некрасов, Лю-
дек Пахман, Андрей Сахаров, Андрей Синявский,
Александр Солженицын, Странник, Иозеф Чап-
ский, Зинаида Шаховская, Александр Шмеман,
Карл-Густав Штрём и другие авторы**

На страницах журнала современная
проза, поэзия, публицистика
авторов Восточной Европы

Главный редактор журнала
Владимир Максимов

Цена номера в розничной продаже - 10 нем. марок
Стоимость подписки на год - 40 нем. марок
Пересылка за счет подписчика



Рисунок М. Примаченко